

Б. А.
БАРАТЫНСКИЙ

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

БИБЛИОТЕКА
ПОСТА

Советская
пресса





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ



*Большая серия
Второе издание*



Л Е Н И Н Г Р А Д * 1 9 5 7

Е.А. БАРАТЫНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Е. Н. Купряновой*

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

1

Евгений Абрамович Баратынский родился в относительно небогатой, но родовитой дворянской семье 19 февраля 1800 года. Детские годы поэта прошли в имении Мара Тамбовской губернии, принадлежавшем его отцу, отставному генерал-лейтенанту, Абраму Андреевичу Баратынскому. Надо думать, что это был человек достаточно высокой для своего времени культуры, не чуждый эстетических интересов и склонностей. Во всяком случае, таким изобразил его впоследствии поэт в стихотворении «Запустение» (1834), посвященном описанию Мары и воспоминаниям детства, навеянными ее посещением:

Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безыменной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоня слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.

Мать поэта Аграфена Федоровна, урожденная Черепанова, в прошлом фрейлина двора, также была женщиной для своего времени образованной и начитанной.

Первоначальное образование Баратынский получил дома под руководством учителя-итальянца Жьячинто Боргезе, эмигрировавшего из Италии после завоевания ее Наполеоном. Кроме прекрасного знания французского языка, Баратынский мало что вынес из домашних занятий.

В 1808 году Баратынские переехали в Москву, очевидно для того,

чтобы дать старшему сыну Евгению более солидное образование. Но вскоре скончался его отец, после чего осиротевшая семья вернулась в Мару. Баратынскому шел тогда одиннадцатый год. На тринадцатом году он был отправлен матерью в Петербург. Здесь, в частном пансионе, мальчик готовится к вступительным экзаменам в Пажеский корпус, куда он и был принят в декабре 1812 года.

Учебная обстановка этого привилегированного, аристократического заведения, очевидно, ни в какой мере не отвечала склонностям и характеру будущего поэта. К своим корпусным занятиям и обязанностям он относился небрежно и в одном из классов остался на второй год.

На третьем году пребывания в корпусе Баратынский сближается с пажами Ханыковым, Приклонским, братьями Креницыными — Владимиром и Александром. Друзья увлекаются «Разбойниками» Шиллера и всякого рода авантюрными «разбойничьими» романами, образуют в подражание им «общество мстителей», изошряются во всякого рода шалостях, направленных против корпусного начальства. Дело кончается катастрофой. В апреле 1816 года один из «мстителей» украл у своего отца золотую табакерку с деньгами. Баратынский участвовал в этой проделке. Он был исключен из корпуса. Исключение сопровождалось личным приказом Александра I, согласно которому Баратынский лишался права служить где-либо, кроме как в армии — рядовым.

Вслед за этим, в состоянии тяжелого нервного потрясения, Баратынский покидает Петербург и живет частью в Мару, частью в Подвойском, смоленском имении своего дяди Богдана Андреевича Баратынского, которому он был отдан на попечение. Родственники пытаются выхлопотать Баратынскому прощение, но безуспешно. Осенью 1818 года Баратынский снова едет в Петербург с намерением определиться на военную службу рядовым. Очевидно, к этому времени его литературные интересы и поэтические способности уже в достаточной мере выявились.

Очень скоро по приезде, через своего корпусного товарища Креницына, Баратынский сближается с поэтами лицейского кружка: Дельвигом, Кюхельбекером, Пушкиным и др. Он становится завсегдаем их дружеских вечеров и пирушек, устраивавшихся по большей части у лицейского «старосты» М. Яковлева. Знакомство с Дельвигом переходит вскоре в тесную дружбу.

Материальные дела Баратынского в это время были плохи. Имение после смерти отца пришло в упадок. Мать поэта, обремененная многочисленными детьми, была стеснена в средствах и не много могла уделять старшему сыну.

В начале 1819 года Баратынский зачисляется в лейб-гвардии Егерский полк рядовым, но с правом жить на частной квартире, и поселяется вместе с Дельвигом. Это избавляет Баратынского от многих тягот солдатской службы. Он по-прежнему проводит время в тесном общении с друзьями-повтами. Излюбленным местом их сборов и встреч был салон Софии Дмитриевны Пономаревой, привлекавшей молодежь живостью ума, красотой и пренебрежением к светским условиям и предрассудкам. В числе других Баратынский был увлечен С. Д. Пономаревой и посвятил ей целый ряд стихотворений.

Дельвиг первый оценил поэтическое дарование Баратынского и ввел его в петербургские литературные круги. Вместе с Дельвигом Баратынский посещает литературные «среды» Плетнева и «субботы» Жуковского, знакомится с Ф. Глинкой, Гнедичем, А. Одоевским и другими поэтами и литераторами. В том же 1819 году стихотворения Баратынского начинают появляться на страницах «Благонамеренного» и других журналов.

Уже к концу 1819 года Баратынский завоевывает в среде молодых поэтов пушкинского круга одно из первых мест.

Но в начале 1820 года в жизни молодого поэта опять наступает резкий перелом. 4 января он производится в унтер-офицеры с переводом в Нейшлотский полк, стоявший в Финляндии. Баратынский принужден вновь покинуть Петербург и отправиться к месту службы в крепость Кюмень, находившуюся в 300 километрах от Петербурга.

В общей сложности Баратынский пробыл в Финляндии четыре года с лишним. Сам поэт и его литературные друзья смотрели на это как на «изгнание», почти ссылку, хотя подневольное положение унтер-офицера и не было для него слишком тягостным. Баратынский жил в доме командира Нейшлотского полка А. Г. Лутковского на правах своего человека и пользовался его уважением, вниманием и заботами. Ротный командир Баратынского поэт Н. М. Коншин вскоре стал его ближайшим другом. Кроме того, Баратынский получал частые и продолжительные отпуска, которые проводил в Петербурге. В 1822 году он провел в Петербурге несколько месяцев, вместе с полком, несшим в это время в столице караульную службу, и опять поселился вместе с Дельвигом на частной квартире.

Петербургские друзья, со своей стороны, неоднократно навещали Баратынского в Финляндии. Таким образом, пребывание в Финляндии не лишало Баратынского ни дружеских, ни литературных связей.

Финляндия, ее суровая и величественная природа, своеобразные нравы и быт обогатили Баратынского яркими впечатлениями, отраженными поэтом в элегиях «Финляндия», «Водопад», «Буря», «Отъезд» и в поэме «Эда».

Вскоре после перевода в Финляндию, 26 января 1820 года, поэт избирается членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности. С этого времени его стихотворения, присланные из Финляндии, постоянно «рассматриваются» и неизменно «одобряются» для печати на заседаниях общества. На некоторых из этих заседаний Баратынский присутствует сам. 28 марта 1821 года член-корреспондент Е. А. Баратынский, особенными трудами и усердием обративший на себя внимание общества... переименован в действительные члены». ¹ По всем своим дружеским и литературным связям, а также и по направлению своей творческой деятельности, Баратынский примыкал к левому крылу Вольного общества, с которым были связаны некоторые будущие участники декабристского движения. В 1823 году Баратынский сближается с К. Ф. Рылевым и А. А. Бестужевым и помещает целый ряд стихотворений в издававшимся ими альманахе «Полярная звезда».

Как поэт Баратынский растет в эти годы необычайно быстро. Современников поразила сила и зрелость его финляндских произведений по сравнению с ранее известными. Первое из них, элегия «Финляндия», принесло ему широкую известность и заставило увидеть в нем не только зрелого, но и самобытного поэта. В 1823 году Рылеев и Бестужев покупают у Баратынского тетрадь его стихотворений и начинают готовить их отдельное издание.

В то же время раннее творчество Баратынского далеко не во всем отвечало насущным задачам того романтического направления, в русле которого оно воспринималось и оценивалось современниками. С точки зрения поэтов-декабристов оно носило излишне интимный, камерный характер и не было до конца свободно от «рассудочных» традиций французского классицизма. Особое неудовольствие вызвало в этом отношении послание «Богдановичу», написанное в духе дидактических посланий Вольтера. В кругу романтиков Баратынского называют «маркизом» и «классиком».

На все эти упреки и недоумения Баратынский ответил поэмой «Эда». Она была начата в Финляндии осенью 1824 года и в начале 1826 года вышла в свет.

В «Эде» Баратынский попытался дать свое, принципиально иное, чем в южных поэмах Пушкина, решение проблемы романтического героя и мотивировал это в предисловии к поэме тем, что «следовать за Пушкиным» ему показалось труднее, «нежели идти новою собственною дорогою».

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 14, № 2, стр. 252.

Героям «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана» — их исключительным характерам и необычайным судьбам — Баратынский противопоставил прозаические судьбы и «обыкновенные» характеры простой крестьянской девушки Эды и ее соблазителя-гусара; пушкинским описаниям экзотической природы Крыма и Кавказа и яркого быта южных народов — суровую северную природу Финляндии и простой быт финского крестьянства. «В поэзии, — писал он в том же предисловии, — две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение».

В сущности этому же принципу следовал Баратынский и в своих элегиях. Приподнятому, исключительности, внешней экспрессии романтического «чувства» Баратынский противопоставил в них внутреннюю сложность и глубину человеческих переживаний. Таким образом, для самого Баратынского замысел «Эды» не являлся «новой дорогой», а означал попытку воплотить присущий его лирике принцип психологического раскрытия внутреннего мира человека в повествовательных формах романтической поэмы. Но Баратынскому не удалось создать в «Эде» нового романтического характера.

«Обыкновенность» образа Эды была воспринята современниками как возврат к сентиментализму «Бедной Лизы» Карамзина. Поэму упрекали в «непоэтичности», «бедности» темы. С другой стороны, отталкивание от Пушкина было слишком прямолинейным и в силу этого заставляло сопоставлять поэму, не в ее пользу, с «Кавказским пленником» Пушкина. «Эда» вызвала и ряд похвал, в частности восторженно была встречена самим Пушкиным. Но она не встала в ряд с пушкинскими поэмами и подверглась упрекам в прямом и неудачном подражании им. Понимая свою неудачу, Баратынский писал: «Я хотел быть оригинальным, а оказался только странным».¹

С выхода «Эды» началось падение поэтической популярности Баратынского. В это же примерно время (конец 1825 — начало 1826 года) он вступает в новую полосу своей жизни.

2

Несмотря на то, что жизнь в Финляндии не препятствовала поэтической деятельности Баратынского и не была обременена служебными обязанностями, поэт чрезвычайно тяготился ею. При активном содействии Жуковского, А. И. Тургенева, П. А. Вяземского, он уси-

¹ «Русский архив», 1866, кн. 1, № 2, стр. 188.

ленно, но долгое время тщетно, хлопочет о снятии с него наложенного Александром I наказания. Только в апреле 1825 года Баратынский получил наконец офицерский чин. Это открывало перед ним долгожданную возможность распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению. В октябре того же года Баратынский едет в Москву в отпуск на четыре месяца. В Финляндию он больше не вернулся и, выйдя 31 января 1826 года в отставку, поселился в Москве в доме своей матери.

Связь Баратынского с Москвой окончательно закрепила его женьтба на Анастасии Львовне Энгельгардт, дочери отставного генерала и подмосковного помещика. Бракосочетание Баратынского состоялось 9 июня 1826 года.

Внешний перелом в жизни Баратынского совпал по времени с тяжелым душевным потрясением, вызванным декабрьскими событиями. Последекабрьские аресты, ссылки и казни коснулись его ближайших литературных друзей — Кюхельбекера, Рыльева, А. Бестужева и др. И несмотря на то, что сам поэт не был членом тайных обществ и был далек от их политической деятельности, он воспринял поражение декабристов и наступившую вслед за тем реакцию как полное крушение всех лучших стремлений и надежд своей юности:

Ко благу пылаюе стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других..

Так писал Баратынский в стихотворении 1827 года «Стансы».

В том же 1827 году вышло собрание «Стихотворений Е. А. Баратынского», явившееся как бы итогом первого, преддекабрьского периода творчества поэта. В целом оно было положительно встречено критикой, но не имело уже того успеха, который сопровождал ранние стихи Баратынского при их появлении в печати.

Первым человеком, с которым Баратынский сблизился в Москве, был П. А. Вяземский. Вяземский ввел Баратынского в круг участников журнала Н. А. Полевого «Московский телеграф» и в дом Зинанды Волконской, являвшийся в это время средоточием литературной и светской жизни Москвы. В доме Волконской у Баратынского завязывается ряд литературных знакомств, в их числе знакомство с Адамом Мицкевичем и молодыми московскими литераторами — «любомудра-

ми» — И. В. Киреевским, С. П. Шевыревым, Д. В. Веневитиновым и др.

Сближение с ними не проходит для Баратынского даром. Вскоре в его творчестве начинают звучать новые мотивы, навеянные идеалистической эстетикой и отвлеченно-философскими интересами «любомудров». Но в то же время в нем сильны еще эстетические устремления и традиции пушкинского круга.

Так, вслед за Пушкиным («Евгений Онегин») Баратынский упорно ищет в эти годы пути к реалистическому отображению действительной жизни и обращается к повествовательной стихотворной форме. В 1828 году появляется его поэма «Бал», не случайно изданная под одной обложкой с «Графом Нулиным» Пушкина; в 1831 году выходит последняя и самая большая из поэм Баратынского «Наложница».

В отличие от «Эды» действие этих поэм разворачивается на фоне светской жизни московского дворянского общества. Образы Нины Воронской («Бал») и Елецкого («Наложница») были задуманы как образы романтических отщепенцев этого общества. Не сумев отойти от традиционно-романтической коллизии семейной драмы с кровавой развязкой, Баратынский пытался по-новому раскрыть эту коллизию, проследив психологию тех бурных, неукротимых страстей, которые вступают в трагическое столкновение с условной светской моралью и приводят их носителей к трагической гибели. Замысел этот не увенчался успехом. Романтический характер, по самой своей природе, не поддавался психологическому раскрытию и не мирился с тем нарочито обыденным, детально выписанным бытовым фоном, которым окружал его в своих поэмах Баратынский.

Если «Бал» имел некоторый успех, то «Наложница» вместе с предпосланным ей предисловием, в котором Баратынский отстаивал право автора на правдивое изображение «низкого» и «грязного», встретила единодушное осуждение. Поэму упрекали в «низости» сюжета, «грубости» языка и неестественности интриги.

В эти годы Баратынский связан с целым рядом журнально-издательских предприятий. В 1828 году он принимает участие в «Московском телеграфе», в 1829 году близок к редакционному кругу журнала «любомудров» «Московский вестник». В том же 1829 году он предполагает вместе с Вяземским издавать нечто среднее между альманахом и журналом. Этот проект, однако, не осуществился. В 1830—1831 годах Баратынский находится в числе участников «Литературной газеты» Дельвига. Однако идейные связи Баратынского с кругом его старых друзей и единомышленников начинают уже ослабевать. Зато отношения с московскими литераторами, и прежде всего

с И. В. Киреевским, все больше укрепляются. В 1832 году поэт активно участвует в журнале Киреевского «Европеец», полностью разделяя его программу, направленную на защиту духовных ценностей дворянской культуры от утилитаризма и меркантилизма буржуазных тенденций общественного развития.

В доме Киреевских Баратынский сближается с приехавшим в 1829 году из Дерпта Н. М. Языковым. Круг московских друзей Киреевского становится постепенно кругом Баратынского. Так, в 1829 году он знакомится с Д. Н. Свербеевым, в 1830 году — с В. Ф. Одоевским, который, живя постоянно в Петербурге, всегда сохранял тесную и дружескую и литературную связь с москвичами. Можно предполагать, что к 1832 году относится знакомство с А. С. Хомяковым. В том же 1832 году Баратынский знакомится с видным и случайно уцелевшим деятелем декабристского движения Михайлом Орловым и другим ярким представителем того же разгромленного поколения — П. Я. Чаадаевым. Именно этот круг новых московских знакомых заставляет Баратынского в письме, посланном из деревни к матери И. В. Киреевского А. П. Елагиной, сожалеть о Москве, где к тому времени «собралось столько людей», ему «знакомых и любезных». ¹

Это были люди высокой интеллектуальной культуры, при всех своих возрастных и идеологических отличиях объединенные неприятием общественно-политического строя николаевской России, тяготившиеся тусклой безыдейной жизнью своей социальной среды — московского «света». Но они стояли также в стороне и от живых устремлений общественной мысли 30-х годов, не принимая ее прогрессивных для того времени буржуазных, а в какой-то мере уже и демократических устремлений.

Вращаясь в этом замкнутом кругу дворянских интеллигентов и в общем разделяя их взгляды и настроения, Баратынский не находит в них достаточно твердой идейной опоры для своей поэтической деятельности. Он чувствует себя на творческом распутье. От стихов поэт обращается к прозе — пишет повесть «Перстень», появившуюся в «Европееце», и комедию, предназначавшуюся также для журнала Киреевского, но до нас не дошедшую. Но все это не приносит Баратынскому удовлетворения и рождает мысль о необходимости оставить литературное поприще. С такими мыслями поэт подготавливает второе издание своих стихотворений, вышедшее в 1835 году и более чем холодно встреченное критикой.

Единственно, что давало Баратынскому в эти годы твердую мо-

¹ Е. А. Баратынский. Сочинения. М., 1869, стр. 517.

ральную опору, — это его семейная жизнь. Она складывалась счастливо, но требовала больших материальных забот. В начале 30-х годов Баратынский часто отлучается из Москвы по хозяйственным делам и по несколько месяцев в году проводит в своем казанском имении Каймары, в самой Казани и Маре.

В 1835 году московские друзья Баратынского предпринимают издание журнала «Московский наблюдатель». Баратынский был в числе организаторов-пайщиков журнала и поместил в первом номере стихотворение «Последний поэт», носившее программный характер для всего издания (см. об этом ниже).

В кругу участников «Московского наблюдателя» Баратынский оставался до конца 30-х годов. В последующие годы Киреевский и его единомышленники утверждаются на позициях воинствующего славянофильства. Эта эволюция не коснулась Баратынского. А когда прежние издатели и участники «Московского наблюдателя» предприняли в 1841 году издание откровенно славянофильского органа «Москвитянин», все отношения с ними, в том числе и с Киреевским, у Баратынского были уже порваны. Положение осложнилось какими-то неясными слухами, ходившими по этому поводу по Москве и заставлявшими Баратынского подозревать по отношению к себе организованную травлю со стороны круга «Москвитянина». Большинство стихотворений Баратынского начала 40-х годов содержит в себе намеки на эти тяжелые для него обстоятельства.

Зиму 1842 года Баратынский по делам провел в Петербурге. Посещая салон Карамзиных, постоянно встречаясь с Вяземским, Плетневым и другими литераторами 10—20-х годов, Баратынский несколько отдохнул от своего московского одиночества. В письмах к жене он с восторгом говорит о преимуществах петербургских салонов и превосходстве петербургских литераторов над московскими литераторами и их салонами. Очевидно, под этим отрадным для него впечатлением, здесь же, в Петербурге, Баратынский начинает готовить к печати третий сборник своих стихотворений «Сумерки», появившийся в 1842 году. Сборник не имел успеха и был встречен критикой с пренебрежением. Только один Белинский откликнулся на «Сумерки» большой статьей, в которой дал развернутую оценку всей поэтической деятельности Баратынского. Отдав должное его поэтическому таланту, Белинский в то же время сурово осудил поэта за его разрыв с современностью и неверие в будущее.

С этого времени Баратынский окончательно замыкается в семейном кругу, отходит от литературы и с головой погружается в хозяйственные заботы по управлению подмосковным имением жены Мураново.

Упрочившееся материальное положение дало Баратынскому возможность осуществить свое давнишнее желание — путешествие по Европе. В сентябре 1843 года Баратынский уехал с семьей через Петербург за границу. В Париже он знакомится с виднейшими литературными и общественными деятелями. В их числе Альфред де Виньи, Мериме, Нодье, Жорж Санд. Однако в парижских салонах Баратынский чувствовал себя «холодным наблюдателем» и тяготился беспокойной жизнью города.

Наибольшее удовлетворение дали ему встречи с молодыми соотечественниками, друзьями Герцена — Н. М. Сатиным, Н. П. Огаревым, Н. И. Сазоновым и др. Они оказали поэту в Париже теплый прием, памятуя о его финляндском «изгнании» и личной близости с некоторыми из декабристов. Баратынский нашел здесь то, от отсутствия чего страдал в России, — сочувственно внимавшую ему аудиторию. Под этими впечатлениями, казавшимися ему залогом лучшего будущего, поэт уехал в апреле 1844 года в Италию. Здесь он предполагал задержаться на два-три месяца, затем посетить Рим и к осени через Вену вернуться в Россию. Эти планы не осуществились. 29 июня (11 июля) того же 1844 года Баратынский скоропостижно скончался в Неаполе.

В августе следующего года тело Баратынского было привезено морем из Неаполя в Петербург и погребено в Александро-Невской лавре возле могил Крылова и Гнедича.

8

С первых шагов своей поэтической деятельности Баратынский зарекомендовал себя достойным продолжателем карамзинистских традиций, стилистической нормой которых была предельная ясность и точность слога.

Как и большинство поэтов пушкинского поколения, Баратынский воспитывался на образцах французской классической и преромантической поэзии и воспринял их сквозь стилистическую и жанровую систему Батюшкова. Жанровый репертуар молодого Баратынского весьма разнообразен. Он включает в себя все популярные среди карамзинистов поэтические формы — элегию, дружеское послание, надписи, мадригалы, эпиграммы и другие стихотворные «мелочи». Однако центральное место в раннем творчестве Баратынского занимает элегия. Именно в этом жанре раньше всего проявилось индивидуальное своеобразие поэтического творчества Баратынского, очень скоро стяжавшего славу первоклассного элегика. Уже в 1822 году Пушкин так отзывался о

Баратынском в письме к Вяземскому: «Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор, — ведь 23 года счастливцу! Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». ¹ При том же мнении Пушкин остался и позднее: «Первые произведения Баратынского, — писал он в 1827 году, — были элегии, и в этом роде он первенствует». ²

Пушкин не случайно сопоставлял Баратынского с Парни и Батюшковым, очень точно отметив тем самым литературную традицию, в русле которой развивалось его поэтическое творчество. От Парни и других французских элегиков конца XVIII — начала XIX века Баратынский воспринял новый и прогрессивный для того времени принцип индивидуального переосмысления элегического жанра.

В отличие от элегий, «внушенных умом, а не чувством», т. е. написанных по обязательным и общим для каждого поэта канонам эстетики французского классицизма, элегии Парни воспринимались современниками во Франции и в России как выражение пережитого самим поэтом, как его поэтическая исповедь. «Стихотворения эротические суть первые его произведения: в них находится верная история его любви», — так охарактеризовано своеобразие элегического творчества Парни в его «Биографии», помещенной в одной из книжек «Соревнователя просвещения и благотворения» за 1821 г. ³ Широко известная и воспетая Парни история его несчастной любви к Элеоноре служила как бы тематическим стержнем, сквозным сюжетом его элегий.

«Истина в чувствах» — таков был девиз и поэтического творчества Батюшкова. Как правило, оригинальные элегии Батюшкова («На развалинах замка в Швеции», «Воспоминание» и «Воспоминания», «Выздоровление», «Мой гений», «Веселый час», «Разлука», «Мечта», «Переход через Рейн» и др.) имеют тот или другой биографический подтекст, так или иначе отражают определенные факты житейской и духовной биографии поэта.

Установка на индивидуальную неповторимость, биографическую подлинность, «истинность» выраженных в элегиях Парни и Батюшкова чувств и переживаний отвечала новым и прогрессивным веяниям эпохи, отражала стремление к освобождению личности от норм авторитарной морали, утверждала эстетическую и этическую ценность неповторимого своеобразия личной жизни и внутреннего мира человека.

¹ Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13. 1937, стр. 34.

² Там же, т. 11, 1949, стр. 50.

³ Ч. 14, № 2, стр. 204.

Однако ключа к поэтическому отображению индивидуального мира личности Батюшков еще не нашел, хотя и стремился к этому. Основная историческая заслуга Батюшкова, равно как и Жуковского, состояла в том, что он создал средства для выражения интимно-лирических переживаний, и прежде всего поэтический язык, гибкий, плавный, гармонический, богатый различными эмоциональными оттенками. Что же касается собственно психологического содержания его элегий, то оно остается еще в пределах того условного изображения душевного мира человека, которое определялось каноничностью, «заданностью» тематического репертуара элегических жанров. Основное в элегиях Батюшкова — это «живопись», пластическое изображение чувства в его общих эмоциональных признаках и проявлениях, а не анализ внутреннего психологического содержания человеческих переживаний, которое значительно глубже раскрыто в элегиях Жуковского.

Опираясь на стилистические достижения Батюшкова, Баратынский с первых же шагов своей поэтической деятельности пошел по пути психологической трактовки элегических тем. Его внимание привлекает уже не общая лирическая характеристика того или другого элегического «чувства» — уныния, печали, радости, любви, разочарованности, — а те различные, изменчивые и подчас весьма противоречивые оттенки, которые оно приобретает в своих конкретно-психологических проявлениях. Соответственно этому и лирическая тема, раскрывавшаяся Батюшковым прямолинейно, в каком-либо одном эмоциональном плане, получает в ранних стихотворениях Баратынского внутреннее движение и психологическое раскрытие. Для примера сравним знаменитую элегию Батюшкова «Мой гений» с родственной ей по теме ранней элегией Баратынского «Поцелуй». Лирическая тема элегии Батюшкова, сформулированная в первых стихах —

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной...

лишена внутреннего движения. Она раскрывается в образе хранимого «памятью сердца» образа любимой, образа, данного описательно и выдержанного в единой эмоциональной тональности:

Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны золотые...
Я помню весь наряд простой...

Элегия написана как бы единым дыханием, от начала и до конца пронизана чувством всепоглощающей любви.

В сущности на ту же тему написана и элегия Баратынского «По-

целуй». Но образа любимой как такового здесь уже нет. Сила любовного чувства выражена в чисто психологическом образе неизгладимого «напечатленья» поцелуя, преследующего «воображение» влюбленного. Кроме того, этот образ дан как иллюзорный, не умиротворяющий, усиливающий любовную тоску:

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленья!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой —
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

Здесь одна эмоциональная тональность силы любви переходит в другую, осложняется темой любовной тоски и страдания.

Большинство «унылых» и любовных («эротических») элегий Баратынского представляют собой мастерски сделанные «психологические миниатюры» (И. Киреевский), в которых схвачены и выражены тончайшие эмоциональные оттенки уже не тех или других элегических чувств вообще, а вполне конкретных человеческих переживаний в определенных психологических ситуациях. Показательны в этом отношении первопечатные заглавия элегий Баратынского: «Безнадежность», «Утешение», «Уныние», «Выздоровление», «Разуверение», «Прощание», «Разлука», «Размолвка», «Оправдание», «Признание», «Ропот», «Бдение», «Догадка» и т. д. Взятые вместе, они выражают психологическое многообразие лирических переживаний элегического «я».

Тонкий анализ самой психологии чувства, его движения и изменчивости и определяет в основном то новое звучание, которое получили в раннем творчестве Баратынского далеко не оригинальные сами по себе элегические темы и жанры. Особенно показательны в этом отношении «Признание» и «Оправдание», являющиеся самыми зрелыми из ранних элегий Баратынского. В «Оправдании» тема неверности как таковая развита в типичном для Батюшкова плане эмоционального нагнетания:

Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой...
Виновен я: я был неверен ей...
Виновен я: я славил жен других...
Виновен я: на балах городских... и т. д.

Но в заключении тема неверности получает новый и неожиданный психологический поворот:

Но к ним ли я любовью пылал?
Нет, милая! когда в уединеньи
Себя потом я тихо поверял,
Их находя в моем воображеньи,
Тебя одну я в сердце обретал!

Этим поворотом мотив виновности героя почти снимается — он только «шалун, а не изменник» своей возлюбленной, черствость которой приводит к разрыву:

Нет! более надменна, чем нежна,
Ты всё еще обид своих полна...
Прости ж навек! но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В моих стихах, в преданиях любовных.

Лирической темой «Признания» является уже не столько традиционная элегическая «разочарованность» сама по себе, сколько детальный психологический анализ самого процесса постепенного охлаждения чувств и противоречивого душевного состояния разочарованного человека.

Значительно углубив и обогатив психологическое содержание элегических тем и мотивов, Баратынский вместе с тем во многом преодолел и условность элегического словоупотребления. Как у Батюшкова и других русских элегиков тех лет, основное смысловое ударение падает в элегиях Баратынского на эпитет. У Батюшкова и его эпигонов этот эпитет стал постоянным, как бы сросся с определяемым понятием. Так, слово «любовь» предполагало эпитеты «страстная», «нежная», «пылкая»; слово «мечта» также требовало эпитетов «сладостная», «тихая», «нежная» или «пылкая» и т. д. Такого рода устойчивые эпитеты подчеркивали наиболее общие свойства и признаки определяемого, входившие в обязательный и постоянный круг связанных с ним ассоциаций. С еще большей очевидностью эта функция устойчивого эпитета обнаруживается в словосочетаниях, рисующих зрительные и другие представления наглядно чувственного порядка: «алые уста», «румяная денница», «зеркальные воды», «сверкающие очи», «мрак густой», «цветущие пажити» или «пустынные поля» и т. д. Во всех этих и других случаях эпитет как бы подсказывается определяемым, выявляет присущие ему качества. Баратынский тоже широко применяет в своих элегиях обязательный эпитет, но наряду с этим у него появляются и принципиально иные словосочетания, продиктованные уже не привычной семантикой и эмоциональной окраской того или другого элегического слова (нежность, любовь, мечтанье, воспоминание), а тем новым и конкретным значением, которое оно получало в общем контексте стихотворения.

«Признание» служит тому одним из наиболее ярких примеров: психология разочарованности раскрывается здесь прежде всего через новый и часто неожиданный с точки зрения элегического словоупотребления эпитет, открывающий новые смысловые и эмоциональные оттенки в традиционных элегических словах:

*Притворной нежности не требуй от меня.
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил...*

«Притворство» не является характерным признаком «нежности», а, наоборот, по своей природе противостоит тем эмоциональным ассоциациям, которые связаны с этим чувством. Точно так же «безжизненность» ни в какой мере не связана с той эмоциональной тональностью, которую имело в элегическом языке слово «воспоминание» (обычно «сладостное» или «горькое»), а скорее противостоит ей. Характерно, что вне своего лирического контекста некоторые из такого рода словосочетаний: «прежние мечтанья», «первоначальная любовь», «поспешные обеты», «напрасный суд» лишаются своей эмоциональной окраски. Но в стихотворении они с наибольшей выразительностью передают движение лирической темы от «прекрасного огня любви первоначальной» к «безжизненным воспоминаньям» об этой любви. В таком словоупотреблении эпитет уже теряет свою устойчивость, приобретает самостоятельное смысловое значение, обогащающее семантику определяемого слова. Такого рода эпитет и явился в элегиях Баратынского одним из основных средств углубления психологического содержания элегической темы.

Той же задаче служило и характерное для раннего Баратынского сопоставление однородных слов в противительном или усилительном смысле. Как-то: «любимым не был я, Ты, может быть, была любима мною»; «Душа любить желает, Но я любить не буду вновь»; «Грущу я, но и грусть минует» («Признание»); «Уж я не верю увереньям» («Разуверение»); «Пусть мнимым счастьем для света мы убоги, Счастливы нас бедней, и праведные боги Им дали чувственность, а чувство дали нам» («Коншину»); «Я всё имел, лишился вдруг всего: лишь начал сон... исчезло сновиденье» («Разлука»); «Не вечный для времен, я вечен для себя»; «Мгновенье мне принадлежит, как я принадлежу мгновенью», «Я, невнимаемый, довольно награжден За звуки звуками, а за мечты мечтами» («Финляндия»); «Под небом лучшим

обрести Я лучшей доли не сумею; Вновь не смогу душой моею В краю цветущем расцвести»; «И на творенье ополчил все силы, данные творенью» («Буря»). В такого рода нарочитых параллелизмах слово становилось подвижным, играло разными смысловыми и эмоциональными оттенками.

В противоположность батюшковскому принципу воплощения чувства в пластических, описательных образах, Баратынский раскрывает психологию и движение чувства изнутри, абстрагированно от его внешних возбудителей. Вместе с тем Баратынский отходит и от присущих Батюшкову декоративных описаний.

Вообще пластические образы в лирике Баратынского, в том числе и в его пейзажных описаниях, — явление довольно редкое. По большей части их место заступают образы более отвлеченных — звуковых, временных и пространственных представлений:

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
Громадам, миру современным. . .

Зримого образа финляндской природы в такого рода пейзаже почти нет. Чрезвычайно скупо даны зрительные представления и в таких элегиях, как «Буря», «Водопад», «Рим». В «Водопаде» основное место занимают образы звуковых представлений:

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отъездом долины!

Я слышу: свищет аквилон,
Качает елию скрипучей, —
И с непогодой ревучей
Твой рев мятежный согласен. . .

В «Буре» пейзажа, в собственном смысле этого слова, нет. Бушевание природы дано здесь преимущественно в отвлеченно-психологизированных образах, символизирующих грозные проявления злобной, поработавшей человека стихии. «Неприяженная сила», «своевольная рука», «бунтующее могущество», «злобный дух, геенны властелин, Что по вселенной розлил горе. . . И на творенье ополчил Все силы, данные творенью. . .» — вот опорные образы этой элегии. В элегии «Рим» облик древнего города опять-таки зрительно неощутим:

За что утратил ты величье прежних дней?
 За что, державный Рим, тебя забыли боги?
 Град пышный, где твои чертоги?
 Где сильные твои, о родина мужей?
 Тебе ли изменил победы мощный гений?
 Ты ль на распутии времен
 Стоишь в позорище племен,
 Как пышный саркофаг погибших поколений?

«Буря», «Рим» и отчасти «Водопад» принадлежат уже к жанру не любовной, а медитативной элегии. Но они несут в себе те же особенности раннего творчества Баратынского, что и его «вротические» элегии, и, восходя к медитативным элегиям того же Батюшкова, знаменуют по сравнению с ними новый шаг в развитии русской повтической мысли. Одним из примеров того служит «Финляндия», одна из самых ранних и в то же время знаменитых элегий Баратынского. Ее лирическая тема, оссиановский колорит и медитативный жанр явно восходят к известной элегии Батюшкова «На развалинах замка в Швеции», навеяны ею. Но у Батюшкова элегический герой, носитель элегического раздумья, не имеет своего индивидуального лица. Это только некий «путник», который «задумчиво», как и всякий элегический герой, «бродит» среди «скал» и,

. . . опершись на камень гробовой,
 Вкушает сладкое мечтанье.

Изображение величественных картин седой оссиановской древности, которое составляет основное содержание элегии, только мотивируется этим условным элегическим героем, только внешне соотносится с ним. Основное место занимает повествование о проводках, подвигах и возвращении на родину некоего воинственного «юноши», одного из «храбрых внуков Одена», о бурных пиршествах, некогда гремевших в его честь среди седых скал, обозреваемых странником. Даже собственно лирическая медитация, заключающая рассказ о бурной жизни «спутников Роальда», ни в какой мере не уточняет образа элегического героя. Он и здесь сохраняет свое эпическое обличье и заставляет говорить за себя автора:

Но всё покрыто здесь угрюмой ночи мглой,
 Всё время в прах преобратило! . .
 Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
 Земель полнощных исполны. . .
 Погибли сильные! — Но странник в сих местах
 Не тщетно камни вопрошает
 И руны тайные, останки на скалах
 Угрюмой древности, читает. . .

Именно к этой лирической концовке описательной элегии Батюшкова и восходит «Финляндия» Баратынского.

В ее основе лежат уже не картины самой «утруемой древности», как в элегии Батюшкова, а лирические образы авторского воображения. Соответственно этому вся элегия написана в форме лирического монолога человека, взволнованного величием окружающей его северной природы и воспоминаниями о приуроченных к ней легендарных преданиях:

Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!..
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышите голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи... и т. д.

Здесь элегический герой сливается с авторским «я» в единый лирический образ. Это заброшенный в «граниты финские, граниты вековые», но мужественно противостоящий превратностям судьбы «певец». Величественная и суровая финская природа пробуждает в нем не только воспоминания о легендарных образах оссиановской древности, но и размышления о судьбе своего «ветреного племени», не только горькое сознание неотвратимости «для всех» «одного закона», жестокого «закона уничтоженья», но и сознание великого блага и безотносительной ценности жизни, своего собственного земного и духовного бытия. Элегическая медитация о непрочности всего существующего разрешается в «Финляндии» эпикурейским мотивом:

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя... и т. д.

Так, восходящая к Батюшкову элегическая тема получает в «Финляндии» новую и более глубокую психологическую трактовку и приобретает в силу этого внутреннее лирическое движение вместо повествовательной формы развития, отличающей элегию Батюшкова. Необходимо при этом заметить, что элегия Батюшкова имеет такой же биографический подтекст, как и элегия Баратынского. Она отражает конкретные факты биографии поэта, побывавшего в Швеции в рядах русской армии, точно так же, как в элегии Баратынского отражено его

вынужденное пребывание с Нейшлотским полком в Финляндии. Но биографический подтекст элегии Батюшкова эстетически неощутим, в то время как в элегии Баратынского он органически включен в образ элегического героя — «финляндского изгнанника».

В свете личной судьбы Баратынского лирический герой его элегий воспринимался как образ вольнолюбивой жертвы самодержавного деспотизма. Соответственно этому и элегические мотивы грусти, разочарования, уныния, понижающие раннее творчество Баратынского, получили в нем не только биографическую, но и общественную мотивировку неравной борьбы глубоко чувствующего и свободно мыслящего человека с гнетущим бездушием и давящей тяжестью окружающей действительности. Тот же лирический образ стоит и за многочисленными посланиями Баратынского к Дельвигу, Коншину, Кюхельбекеру, Гнеди и другим поэтам, так или иначе связанным с декабристскими кругами. Ведущей темой всех этих посланий является тема духовного братства поэтов, стойко противостоящего всем превратностям и гонениям «судбины злой».

Кульм дружбы и любви, силы чувства и независимости мысли, характерный в те годы для творчества Баратынского в той же мере, как и для творчества Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера и других молодых «друзей-поэтов», по-своему выражал дух декабристского вольнолюбия и в этом отношении далеко не случайно подвергался ожесточенным нападкам литературных староверов. Баратынский неоднократно упоминается в доносах В. Н. Каразина в качестве одного из представителей неблагонадежной литературной молодежи. Однако политическая идеология декабризма не получила своего выражения в творчестве Баратынского, за исключением эпиграммы на Аракчеева «Отчизны враг, слуга царя...» и явно бунтарской по своему настроению элегии «Буря».

Лишенное политической целеустремленности, но тем не менее несомненное свободолобие Баратынского наиболее отчетливо прозвучало в поэме «Пирь», написанной в 1820 году в Финляндии. Исполненная глубокого и подлинного лиризма, она ни в какой степени не оправдывала названия «описательной поэмы», данного ей самим Баратынским. «Пирь» — это лирический гимн молодости, свободе мысли и чувства. Однако он завершается грустным элегическим раздумьем о непрочности и превратности человеческого счастья, скорбным сожалением о тщете благородных и свободолобивых порывов молодости. Тем самым «Пирь» не укладывалась в рамки жанровых форм «легкой поэзии», сочетая в себе элементы различных жанров — дружеского послания, унылой элегии и, в какой-то мере, описательной, шуточной поэмы. Это оказалось возможным потому, что основное конструктив-

ное начало в «Пирах» — уже не жанровые признаки и нормы, а индивидуальное лирическое своеобразие авторского «я», «певца пиров и грусти томной», по меткому определению Пушкина.

Это уже не условный носитель тех или других элегических «чувствований», а индивидуальный психологический характер, которым определяется не только сама лирическая тема, но и ее внутреннее, подчас сложное и противоречивое развитие. Это образ человека, много пережившего и перечувствовавшего, подверженного рефлексии, постоянно анализирующего свои чувства, размышляющего над ними и своей судьбой, стремящегося осмыслить свои переживания, свои радости и страдания, увлечения и разочарования в свете общих «извечных» законов человеческого бытия.

То конструктивное значение, которое приобретает в творчестве Баратынского, равно как и в творчестве молодого Пушкина, а еще раньше в лирике Жуковского лирическое «я» и его индивидуальное содержание, вело к постепенному стиранию жанровых разграничений и канонов «легкой поэзии». Наглядным тому примером служит условность жанрового принципа, положенного в основу первого сборника стихотворений Баратынского, вышедшего в 1827 году. На первое место в сборнике выделены «Элегии», разбитые на три «книги», за ними следует отдел «Смесь» и в заключение дан отдел «Послания».

По тому же принципу, восходящему к изданиям стихотворений Парни и других представителей «легкой» французской поэзии конца XVIII — начала XIX века, была построена и стихотворная часть «Опытов» Батюшкова (1817). Но как, в известной мере, в «Опытах» Батюшкова, так и в сборнике стихотворений Баратынского характер многих стихотворений уже не отвечает особенностям тех жанров, к которым они отнесены. Так, например, в третью «книгу» элегий Баратынского включены послания к Коншину и Льву Пушкину, в то время как во многом близкие к жанру элегии стихотворения «Безнадежность», «Когда неопытен я был...», «Весна» («На звук цевницы голосистой...») и некоторые другие отнесены в раздел «Смесь». Характерно, что большинство стихотворений, вошедших в этот раздел, уже не имеет четких жанровых форм.

4

Первым человеком, понявшим и отметившим глубокое индивидуальное своеобразие творческого лица Баратынского, был Пушкин. В своих набросках незаконченной статьи о Баратынском (1830—1831) Пушкин писал: «Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы

оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко». ¹

Отмеченная Пушкиным «оригинальность» творческой мысли Баратынского со всей очевидностью проявилась только в 30—40-е годы, когда он обратился к философской лирике. Однако элемент философского раздумья присущ и раннему творчеству Баратынского.

Среди многочисленных элегий, написанных поэтом в преддекабрьские годы, многие только условно могут быть отнесены к элегическому жанру. Среди них особенно выделяются две: элегия «Две доли», озаглавленная в первоначальном тексте 1823 года «Стансами», а в издании 1827 года включенная в первую книгу элегий, и «Истина» — первоначально, в 1824 году, названная «Одой», а в сборнике 1827 года включенная в ту же книгу элегий. Тема этих двух стихотворений — трагизм человеческой судьбы, обреченной, по мнению поэта, извечными законами бытия на неразрешимое противоречие между чувством и мыслью, между «обманчивостью» радостных надежд и стремлений сердца и «мертвящим холодом» жизненного опыта и познаваемой в нем суровой и жестокой истины.

Это пессимистическое представление о тщете человеческого стремления к счастью, о бессилии человека бороться с «злым роком» и составляет ведущую идейную тенденцию раннего творчества Баратынского. Традиционная элегическая тема личной разочарованности перерастает у Баратынского в скорбное философское раздумье о трагической судьбе современного ему человека, томящегося «жаждой счастья» и обреченного оставаться «рабом самовластного рока» («Дельвигу», 1821).

Трагический характер позднего творчества Баратынского, равно как и пессимистические ноты, отчетливо звучавшие в его ранних стихотворениях, были явлением глубоко органическим для мироощущения поэта и в этом отношении резко противостояли той литературной моде романтической беспредметной разочарованности, против которой боролись Кюхельбекер и другие поэты-декабристы. «К чести г. Баратынского, — писал Белинский в 1842 году, — должно сказать, что элегический (т. е. грустный. — Е. К.) тон его поэзии происходит от думы, от взгляда на жизнь и что этим самым он отличается от многих поэтов, вышедших на литературное поприще вместе с Пушкиным». ² В целом пессимистическое мироощущение Баратынского чуждо декаб-

¹ Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 185.

² В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6. М., 1955, стр. 466.

ристскому духу активного протеста и веры в действительность борьбы с самодержавно-крепостническим строем. Но в то же время мироощущение Баратынского неразрывно было связано с декабризмом и отражало те глубокие объективные противоречия, которые изначально были присущи дворянскому освободительному движению, но не осознавались до конца его непосредственными участниками. Это не значит, что Баратынский видел дальше и глубже, чем сами декабристы. Будучи безусловно захвачен вольнолюбивыми настроениями эпохи, он остался в стороне от деятельности тайных обществ и не был посвящен в их конкретные революционные планы. Именно потому Баратынский при всем своем несомненном и искреннем вольнолюбии не мог разделять декабристской уверенности в близость и реальность освобождения от ненавистного ему, как и большинству передовой дворянской молодежи того времени, аракчеевского режима. Сила освободительных стремлений, охвативших тогда очень широкие слои дворянской интеллигенции, и ограниченность средств и методов освободительной борьбы героических, но далеких от народа дворянских революционеров — таково то объективное историческое противоречие, которое отразилось в сознании Баратынского в форме извечной и неразрешимой коллизии между «чувством» и «мыслью», между «сердцем» и «умом», «надеждой» и «опытом», «желаниями» и «самовластным роком». Ощущением трагической противоречивости внутреннего мира человека определяются не только идейно-философские устремления раннего творчества поэта, но в значительной мере и его стилистическое своеобразие.

В поэтическом слове Баратынский видел средство выражения не непосредственного «чувства», а чувства осознанного, возведенного на степень «мысли». Стилистическая задача сводилась при этом к максимальной точности поэтического выражения, полного соответствия слова и мысли. «Что касается до слога, — писал Баратынский по этому поводу в 1827 году, — надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли: если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно, или вовсе не понимают».¹ Повторяем еще раз, что, говоря о «мысли», Баратынский включал в это понятие все, что доступно поэтическому выражению, и в этом отношении не противопоставлял «мысль» — «чувству». Однако, в противоположность стилистическим принципам романтизма, само «чувство», т. е. не рациональное, а эмоциональное начало, он стремился, в интересах предельной точности выражения, передать в рационалистических формах «мысли», «ума». За этим стояло все то же ощущение противоборства этих

¹ «Московский телеграф», 1827, ч. 13, № 4, стр. 331.

двух начал в человеке и убеждение в том, что «чувство» как таковое, в силу своей иррациональности, не может быть «точно» выражено в поэтическом слове. В основном стремлением с максимальной точностью передать всю сложность человеческих переживаний и диктовалась упорная, многократная переработка молодым Баратынским своих стихотворений уже после опубликования их. «Гордость ума и права сердца, — писал поэт в связи с этим в том же 1827 году, — в борьбе беспрестанной. Иную пресу любишь по воспоминанию чувства, с которым она написана, — переправкой гордишься потому, что победил умом сердечное чувство».¹

На практике «стремление умом победить сердечное чувство» приводило Баратынского к преодолению выработанного Жуковским и Батюшковым свободно-интонационного развития лирической темы. В противоположность своим учителям Баратынский стремится к предельно сжатому, логически стройному выражению темы.

Вот, например, элегия «Разлука» в том виде, как она была напечатана впервые в 1820 году:

На краткий миг пленяет в жизни радость,
Невидимо мелькают счастья дни;
Едва блеснут — и скроются они!
На краткий миг узнал любви я сладость:
О милый друг, тебя уж нет со мной!
Уж он исчез — блаженства сон мгновенный,
И я один, и на груди стесненной
Лежит тоска разлуки годовой.
Где вы, где вы, любви очарованья?
Не вечность ли меж нами протекла?
Ужель на час мне счастьем жизнь была?
Ужель одни остались мне желанья?
Я всё имел, лишился вдруг всего:
Едва уснул — исчезло сновиденье.
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего!

Синтаксическое членение подчинено здесь в основном задаче эмоциональной выразительности. Стихотворение распадается на как бы обособленные эмоционально-смысловые единства, естественными границами которых служит каждый отдельный стих. Связь между стихами осуществляется преимущественно путем параллелизма — типичного для Батюшкова приема.

В окончательной редакции (1827) стихотворение четко распадается на две части, занимающие каждая по четыре стиха. В первом четверостишии формулируется самая тема «разлуки», во втором —

¹ Е. А. Баратынский. Сочинения. Казань, 1884, стр. 531.

раскрывается ее собственно психологическое содержание. Вот эта редакция:

Расстались мы: на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя;
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я всё имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

Смысловое членение стихотворения на две равные части составляет как бы композиционную основу и подчиняет себе отдельные стихи, в первой редакции значительно более самодовлеющие. В результате создается впечатление чисто логической стройности стихотворения, хотя реальных логических связей между его двумя четверостишиями, равно как и между отдельными стихами, здесь и нет.

Если в элегиях Баратынский был связан в этом отношении эмоциональностью лирических тем самого жанра, то в стихотворениях, стоявших по существу за пределами элегических канонов, он достигает уже действительной стройности и четкости логического развития лирической темы. Характерным примером этого служат «Истина» и «Две доли». Но важно отметить, что логизированная конструкция этих, как и некоторых других ранних стихотворений Баратынского, была отнюдь не самоцелью, а особым, найденным им средством эмоционального воздействия, эмоционального выражения философского содержания его раннего творчества. Не случайно, что в целом ряде ранних стихотворений поэта интимно-лирическая, элегическая интонация уступает место размеренному, торжественному тону ораторской речи. В этом отношении стихотворения «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...», «Делии», «Две доли», «Истина» и др. в какой-то мере приближаются к оде. При этом обращает на себя внимание то необычное соотношение, в котором оказываются в этих стихотворениях лирическая тема и средства ее выражения. В оде важность, значительность, выпренность темы подчеркивалась лирическим восторгом, «лирическим беспорядком» ее словесного выражения. У Баратынского же возвышенное, трагическое звучание лирической темы достигается прежде всего строгой последовательностью поэтической мысли, как бы самой логикой своего развития побеждающей живое и трепетное человеческое чувство, которое восстает против «мертвящего холода» этой несокрушимой логики.

То, что существовало в раннем творчестве Баратынского как одна из его тенденций и уживалось с характерными для русской поэзии тех лет интимно лирическими, отчасти эпикурейскими, отчасти «унылыми» мотивами и настроениями, оформилось в определенную поэтическую систему в годы последекабрьской реакции. Хотя и пассивный, но сознательный протест против нее углубил трагизм мироощущения Баратынского и дал ему обильный материал для широких философских обобщений.

Известие о восстании и поражении декабристов застало Баратынского в состоянии тяжелого идейного одиночества, охватившего его после переезда в Москву, осенью 1825 года.

Некоторую идейную поддержку в это тяжелое для него время дало Баратынскому сближение с молодыми московскими литераторами — «любомудрами» (см. выше). Сами по себе философские интересы любомудров, увлекавшихся немецкой идеалистической философией, и прежде всего натурфилософией Шеллинга, были чужды Баратынскому, воспитанному на французской рационалистической культуре. Но выдвинутая любомудрами собственно эстетическая программа философской поэзии до известной степени отвечала его творческим устремлениям. Под влиянием любомудров и в процессе идейного самоопределения поэта по отношению к последекабрьской действительности волновавшая его и до того проблема извечного антагонизма мысли и чувства постепенно перерастает в его творчестве в вопрос об антагонизме «высокого» и прекрасного мира поэзии «низкому» миру реальной действительности.

В конце 20-х — начале 30-х годов Баратынский создает ряд стихотворений, посвященных особо привлекавшей любомудров теме творческого самосознания поэта. Таковы стихотворения «Подражателям», «В дни безграничных увлечений...», «Болящий дух врачует песнопенье...», «Когда исчезнет омраченье...» и некоторые другие.

Поэтическая терминология и основные образы этих стихотворений, как то: поэт, в душе которого заключен «идеал прекрасных соразмерностей», т. е. идея красоты; поэт, жаждущий «даровать жизни согласье (т. е. гармонию) своей лиры», «поэзия святая», дарящая «чистоту и мир причастице своей», «таинственная власть гармонии» и т. п. — явно восходят к идеалистической эстетике и философской поэзии любомудров. Кроме того, в этой эстетике Баратынский нашел и теоретическое обоснование принципа «истины чувств», который был выдвинут самой жизнью еще в преддекабрьские годы, в противовес жанровым канонам классицизма и неоклассицизма, и под знаком кото-

рого, хотя во многом и стихийно, развивалось раннее творчество не только самого Баратынского, но также Пушкина и других молодых романтиков начала 20-х годов. И если объективно Баратынский прокладывал своими элегиями того времени дорогу безжанровой лирике, то это не мешало ему тогда одновременно с этим откровенно следовать образцам Парни, Мильвуа, Вольтера и других французских поэтов, а также и стилистической манере Батюшкова. Это свидетельствует о том, что традиции классицизма, согласно которым такого рода «подражание» высоким поэтическим «образцам» было законной формой поэтической деятельности, далеко не сразу были изжиты поэтом и по-своему уживались в его раннем творчестве с романтическими веяниями и настроениями. И только после сближения с «любомудрами» Баратынский окончательно и безоговорочно отвергает эстетическую правомерность подражательного творчества. Специально этому вопросу он посвятил стихотворение «Подражателям», написанное в 1829 году. Эпиграмматически направленное против эпигонов Пушкина, стихотворение это декларировало в близких поэтической и философской терминологии «любомудров» выражениях («таинство страдания», «познал он меру вышних сил», «нетленными лучами лик песнопевца окружен») теоретически обоснованное «любомудрами» понимание самой природы творческого акта как эстетического выражения «таинства страдания», пережитого самим поэтом. С этих же позиций осуждает Баратынский подражательность, несамостоятельность поэтического творчества и в стихотворении того же 1829 года «Не подражай: своеобразен гений...», обращенном к Адаму Мицкевичу.

В 1832 году Баратынский приступил к подготовке нового, второго по счету, издания своих сочинений, вышедшего в 1835 году. Оно было задумано как более или менее полное собрание всего написанного поэтом и состояло из двух частей. В первую вошли лирические стихотворения, во вторую поэмы. Композиция первой части очень характерна для эстетических воззрений Баратынского начала 30-х годов. По мысли поэта, она должна была представить все его лирическое творчество в виде своего рода поэтической исповеди, поэтической биографии его души. С этой целью он не только отказался от жанровых подразделений сборника 1827 года, но снял с большинства стихотворений их прежние заглавия. Стихотворения шли под сплошной нумерацией, в виде отдельных частей единого лирического целого, которое должно было предстать перед читателем в качестве «верного списка» пережитых поэтом «впечатлений», «страстей, порывов юных лет», как писал он сам в отброшенном впоследствии стихотворном предисловии к изданию (см. «Вот верный список впечатлений...»).

Не считаясь с прямой хронологией и перемежая иногда стихотворения разных лет, Баратынский все же отразил в их расположении общую линию своего поэтического развития. Так, стихотворения из сборника первой половины 20-х годов, преимущественно сгруппированные в начале, постепенно вытеснялись стихотворениями конца 20-х — начала 30-х годов. Стихотворение, напечатанное в заключении, «Бывало, отрок, звонким криком...», носило характер тематической концовки, подытоживающей и завершающей творческий путь поэта.

Несмотря на эту продуманную и, казалось бы, стройную композицию, сборник не получил внутреннего единства. Принцип построения не отвечал его составу. Тема «верного списка впечатлений», призванная служить объединяющим началом, в отношении большей части ранних стихотворений оказалась фикцией. Отсутствие заглавий и какого-либо четкого принципа расположения создавало впечатление полной бессистемности построения.

Издание не имело успеха и было воспринято критикой как свидетельство несомненного упадка поэтического дарования Баратынского. Одним из самых резких отзывов явился отзыв Белинского, заявившего, что «поэзия только изредка и слабыми искорками блещит»¹ в стихотворениях Баратынского.

До некоторой степени поэт предвидел постигшую его неудачу и был готов к этому. Еще только приступая к подготовке издания, он в 1832 году писал Вяземскому: «Кажется, оно и в самом деле будет последним, и я к нему ничего не прибавлю. Время индивидуальной поэзии прошло, другой еще не созрело».² Эти слова свидетельствуют, что, нарочито подчеркивая самым построением издания «индивидуальный» характер своего творчества, Баратынский в то же время отчетливо сознавал его неполноценность. Отвечая в том же 1832 году на отзыв Киреевского о французской политической лирике времени Июльской революции 1830 года, Баратынский писал: «Для создания новой поэзии именно недоставало сердечных убеждений, просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier (Барбье). Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеки от сферы новой деятельности, что весьма неполно ее разумеем и еще менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлеченность. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1953, стр. 324—325.

² «Старина и новизна», кн. 5. СПб., 1902, стр. 54.

старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себя. Вот покамест наше назначение». ¹

Говоря о «европейских энтузиастах», Баратынский имел в виду идеологов и сторонников утопического социализма, к которым он причислял и Барбье. Как видно из письма, Баратынский сознавал, что только прогрессивные общественные идеалы могут оплодотворить современную поэзию и открыть перед ней новые пути. Но в то же время он ощущал себя представителем поколения, идейно обескрыленного николаевской реакцией, и с горечью признавался в этом.

Не принимая николаевскую действительность и потеряв «веру» в реальность освободительных идей и настроений декабризма, Баратынский остался в стороне и от прогрессивных для того времени, уже складывавшихся в 30-е годы, буржуазно-демократических тенденций русской общественной мысли и видел в современности только одно: торжество общественной реакции, оскудение дворянской культуры, идейное убожество и реакционность мещанско-торгашеских стремлений, все настойчивее дававших о себе знать в литературе и жизни. В свете этого однобокого и бесперспективного восприятия русской современности, Баратынский столь же пессимистично смотрел и на судьбы духовной культуры западноевропейских стран, уже прочно ставших на путь капиталистического развития.

В этом вопросе Баратынский полностью разделял воззрения своих московских литературных друзей, бывших «любомудров», философские и эстетические взгляды которых постепенно складывались в идеологию славянофильства. Но ни теперь, ни позднее Баратынский не разделял ее позитивной программы. Шеллингианская философия, в которой ранние славянофилы находили теоретическое обоснование своей общественной и эстетической позиции, сама по себе также была чужда рационалистической культуре мышления Баратынского. Основное, что сближало поэта в эти годы с И. Киреевским и его кругом, — это оппозиция николаевской действительности, ее правительственному курсу и буржуазно-мещанским устремлениям, ощущение того, что николаевская Россия «для нас необитаема», что в ней не может быть места представителям и наследникам той интеллектуальной культуры, которая дала России Пушкина и декабристов.

Сила и искренность неприятия николаевской действительности и не позволили Баратынскому замкнуться в рамках «эгоистической поэзии», вывели его к середине 30-х годов на путь философского обобщения враждебной поэту действительности, на путь философской лирики.

¹ «Татевский сборник». СПб., 1899, стр. 47—48.

Первыми провозвестниками и теоретиками философской поэзии, или, как ее тогда называли, поэзии мысли, явились в России «любомудры». Но сторонникам немецкого идеализма такой поэзии со-здать не удалось. Объявив поэта учителем жизни, глашатаем высоких истин, они не пошли дальше этих общих деклараций. В творческой практике Веневитинова и Шевырева требование глубокого философского содержания поэтического произведения из эстетического принципа превратилось в довольно навязчивую тему, лишенную конкретного жизненного содержания.

В отличие от поэтического творчества «любомудров» и отвлеченного характера философской проблематики некоторых собственных стихотворений Баратынского («Последняя смерть», «Смерть»), написанных в конце 20-х годов под влиянием «любомудров», его поздняя философская лирика явилась прямым и страстным откликом на современность. Баратынский не изрекал в ней отвлеченных философских мыслей ради самих этих мыслей. Он выразил в этой лирике свою, продуманную и выстраданную философско-эстетическую концепцию действительности, свое убеждение в ее непримиримой враждебности всему высокому и прекрасному.

В сущности, собственно философская проблематика позднего творчества Баратынского концентрируется вокруг все тех же, издавна развивавшихся им представлений о трагической коллизии между чувством и мыслью, между искусством и действительностью. Но в том, что раньше представлялось поэту борьбой извечных, метафизических начал человеческого бытия, он увидел теперь выражение конкретно-исторического столкновения идеальных эстетических устремлений человечества с корыстно-утилитарными вожделениями «промышленного», т. е. капиталистического века.

Окончательно эта концепция сложилась у Баратынского к середине 30-х годов и была развернута им впервые в стихотворении «Последний поэт», написанном в 1835 году.

Само заглавие, как и вся образная структура «Последнего поэта», насквозь символично. Что же касается реального содержания их символики, то с наибольшей определенностью оно раскрывается в первой строфе стихотворения:

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы...

Скорбное раздумье о трагических судьбах, приуготовленных искусству «промышленным» веком, вырастает в «Последнем поэте» в более широкою тему духовного одряхления, вырождения человечества, преданного «промышленным заботам», ищущего только «насущного» и «полезного»:

Взятая сама по себе, тема «Последнего поэта» отражала одно из действительных противоречий капиталистического развития, его отрицательное воздействие на некоторые области духовной жизни общества и прежде всего на область искусства. Но вместе с тем она была проникнута и безоговорочным отрицанием относительной прогрессивности капиталистического развития в целом и порожденного им научно-технического прогресса в частности. В этом сказалась историческая ограниченность философской лирики Баратынского, вскрытая Белинским на примере «Последнего поэта». Отдавая должное силе и глубине чувства, проникающего это стихотворение, и его художественному совершенству, Белинский писал: «... видно, что мысль стихотворения явилась в скорбях рождения! Видно, что она вышла не из праздно мечтающей головы, а из глубоко растерзанного сердца... И тем не менее все-таки она — ложная мысль». «Бедный век наш — сколько на него нападок, каким чудовищем считают его! И все это за железные дороги, за пароходы — эти великие победы его, уже не над материею только, но над пространством и временем! Правда, дух меркантильности уже чересчур овладел им; правда, он уже слишком низко поклоняется золотому тельцу; но это отнюдь не значит, чтоб человечество дряхлело и чтоб наш век выражал собою начало этого дряхления... думать, что человечество когда-нибудь умрет и что наш век есть его предсмертный век, — значит не понимать, что такое человечество, значит не иметь высокой веры в его высокое значение».¹

Пессимистической концепцией «Последнего поэта» и определяется в основном идейное содержание поздней лирики Баратынского, ее философская проблематика и безысходный трагизм. В наибольшей мере этот трагизм выражен в замечательном стихотворении «Осень», написанном в 1837 году и до некоторой степени явившемся откликом на гибель Пушкина. Тема стихотворения раскрывается в контрастном противопоставлении жизненных благ, даруемых осенней природой, порой обильной «жатвы» человеческого труда, и горечью разочарований человека и человечества, вступивших в «осень» своих собственных «дней».

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 468—470.

Зима идет, и тощая земля
 В широких лысинах бессилья,
 И радостно блиставшие поля
 Златыми класами обилья,
 Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
 Все образы години бывшей
 Сравняются под снежной пеленой,
 Однообразно их покрывшей, —
 Перед тобой таков отныне свет,
 Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

Эти заключительные строки «Осени» обращены поэтом не только к самому себе, не только к его современникам. В контексте стихотворения они звучат как итог духовного развития всего человечества, как похоронный гимн его лучшим мечтам и надеждам.

Характерно, что многие философские мотивы и представления поздней лирики Баратынского были созвучны философским положениям, выдвигавшимся русскими шеллингианцами конца 30-х — начала 40-х годов (Киреевский, Шевырев, Одоевский) в борьбе с Белинским, Герценом, Бакуниным, опиравшимися на Гегеля. В ходе этой борьбы остро был поставлен вопрос о взаимоотношении искусства и науки, интуитивного и логического начала в человеческом познании и самопознании. Как это было отмечено в свое время Чернышевским, эстетические вопросы в то время были «по преимуществу только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь». ¹ Поднятый в борьбе русских шеллингианцев и гегельянцев спор о сущности искусства и познания был по существу спором между еще только формирующимся демократическим лагерем и идеологами раннего славянофильства о судьбах исторического развития Европы и России.

Идеологи славянофильства измеряли само понятие прогресса состоянием не материальной, а духовной культуры и прежде всего искусства. Само искусство понималось при этом как самая высокая и в то же время иррациональная, интуитивная деятельность человеческого духа, лишенная какой бы то ни было преднамеренной и тем более практической цели.

Противопоставляя благо «ребяческих снов поэзии» «пустоте и суете» науки и «свету просвещения» («Последний поэт»), утверждая глубину интуитивного проникновения первобытного человека в «сердце природы» и «суету» «научных изысканий» современного человечества («Приметы»), говоря в этой связи о неполноценности словесного творчества и его логической природы по сравнению с «чувствен-

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 3. М., 1947, стр. 25.

ным» началом музыки, скульптуры и живописи («Всё мысль да мысль...»), ставя мир поэтической фантазии выше мира действительной жизни («Толпе тревожный день приветен...»), Баратынский выдвигал против утилитарных устремлений современности, ее буржуазного практицизма тот же самый идеалистический аргумент, который выдвигали против нее и ранние славянофилы, оправившиеся в своем философском, историческом и эстетическом романтизме на мистическую философию и эстетику позднего Шеллинга. Но в отличие от славянофильской идеологии, все эти положения философского романтизма несли в позднем творчестве Баратынского чисто негативную функцию. Они не только не служили для него теоретическим обоснованием украшения действительности или бегства от нее, как это имело место у представителей реакционного романтизма, а, напротив того, являлись формой выражения непримиримого неприятия, отрицания этой действительности. Сознание своего разрыва с жизнью и безысходности этого разрыва — вот что составляет основное содержание позднего творчества Баратынского и сообщает ему истинно трагический пафос. Именно сознание своего идейного бессилия перед лицом ненавистной ему николаевской действительности возводится поэтом в объективное и неразрешимое противоречие между мыслью и чувством, между искусством и жизнью, заставляет его видеть в мысли, в науке холодные, губительные силы, разрушающие лучшие надежды человеческого сердца и тем самым обрекающие человека на духовное бессилие. В этом сознании была своя правда, «без покрова» славянофильских иллюзий отражавшая несостоятельность дворянской оппозиции самодержавно-крепостническому строю перед лицом активизирующихся буржуазных и буржуазно-демократических сил.

На историческую обусловленность трагического пафоса мироощущения и творчества Баратынского указывал еще Белинский в статье о «Сумерках» (1842): «Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель счастья — вот откуда проистекает влггический тон поэзии г. Баратынского, и вот в чем ее величайший недостаток». «Этот раздор мысли с чувством, — говорит Белинский далее, — явился у поэта не случайно, — он заключался в его эпохе. Кто не знает и не помнит пушкинского «Демона»? Пушкин, как первый великий поэт русский, которого поэзия выходила из жизни, первый и встретился с демоном... Впрочем, он опасен не тем, что он на самом деле, а тем, чем он может показаться человеку. Люди имеют слабость смешивать свою личность с истиною: усомнившись в своих истинах, они часто перестают верить существованию истины на земле».¹

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 476.

Пушкинский «демон» сомнения и «раздор мысли с чувством» в творчестве Баратынского имеют общий исторический корень, отражая каждый по-своему внутреннюю противоречивость и социальную ограниченность идеологии дворянской оппозиционности.

Разуверившись в последекабрьские годы в ее «истинах», Баратынский не смог приобщиться и к демократическим тенденциям русской общественной мысли 30—40-х годов. В силу этого он оказался, говоря словами Белинского, в числе тех людей, «которых разложение и гниение элементов старой общности, продажность, нравственный разврат и оскудение жизни и доблести в современном заставляют отчаиваться за будущую участь человечества».¹

Будучи подлинным художником, Баратынский жаждал широкого применения своих творческих сил и тяжело переживал положение поэта, утратившего связь с современностью и в силу того лишенного широкой аудитории:

Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форума! . .
Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума?
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль высший дар. . .

Так выразил Баратынский сознание общественной бесперспективности своей поэтической деятельности в стихотворении 1840 года «Рифма».

В 1842 году вышел третий и последний сборник произведений Баратынского «Сумерки». В него вошли только стихотворения 1835—1842 годов, представленные в виде лирического цикла, внутреннее единство которого подчеркивалось символическим заглавием сборника. С одной стороны, оно говорило о «сумерках» жизни и творческой деятельности самого поэта. Но в то же время содержало намек и на нечто большее — на закат духовной жизни всего человечества, прежде всего его эстетической культуры.

Далеко не все стихотворения сборника, равно как и написанные уж после его выхода, отличаются той широтой обобщения, которая присуща «Последнему поэту», «Осени», «Рифме». Но всем им свойствен один и тот же принцип художественного обобщения. Он состоит в том, что отображаемые явления внутреннего мира поэта и современной ему литературной и общественной жизни осмыслиются в их внутренней противоречивости.

¹ Там же, стр. 477.

Именно во внутренней противоречивости отображаемых явлений жизни видит Баратынский их трагическую сущность и воплощает ее в образы, как правило прямо не соотносимые с жизненными реалиями, выражающие только вызванную ими «мысль». Так, например, трагический образ «Афродиты гробовой» (см. «Филида с каждою зимою...»), которая

Подходит, будто к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему... —

непосредственно никак не соотносим с реальным обликом Е. М. Хитрово — светской женщины, страдавшей комической для ее возраста слабостью к большим декольте. Но он возводит эту слабость в символ трагического противоречия жизни и смерти, безобразия старости и женского самообольщения.

Широта обобщения, воплощенного в самодовлеющие, отвлеченные от своего реального подтекста образы, и составляет своеобразие поздней лирики Баратынского, придает ей философский характер. Трудно поверить, что такие замечательные по патетике мысли стихотворения, как «На посев леса», «Люблю я вас, богини пенья...», «Спасибо злобе хлопотливой...», «Коттерие» и некоторые другие, вызваны «пакостями, которые в Москве делали ему юные литераторы». ¹ А между тем — биографически — это так. По сути дела, это своеобразные эпиграммы на литературных недругов поэта. Но, так же как и в эпиграмме на Е. М. Хитрово, Баратынский далеко выходит в них за пределы эпиграмматического жанра, создает свой особый жанр философской эпиграммы, в котором конкретный объект как бы растворяется в своем обобщении, в порожденной им отвлеченной и в то же время взволнованной мысли.

Патетика мысли, выражающей скорбные раздумья поэта о судьбах человека и поэта, человечества и искусства, придает совершенно особую тональность позднему творчеству Баратынского и определяет своеобразие его стилистической системы.

В противоположность характерному для раннего творчества Баратынского стремлению к «четкости и ясности слога», поэт в своих поздних стихотворениях постоянно прибегает к громоздким синтаксическим конструкциям, весьма трудным для восприятия. Примером того может служить хотя бы двенадцатая строфа «Осени». Эта сложность синтаксиса органически сочеталась со сложностью поэтической мысли и в то же время фиксировала внимание на важности и значительности этой мысли. Той же задаче служила и присущая

¹ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2. СПб., 1896, стр. 728.

поздним стихотворениям Баратынского ораторская интонация и архаическая лексика.

К архаизмам Баратынский прибегал и ранее. Но теперь они получают в его стихотворениях совершенно новое звучание, выступая в сочетании со словами нарочито прозаического характера. Частично такого рода слова заимствуются поэтом из языка публицистики 30-х годов. Так, например, такие выражения, как «железный век», «промышленные заботы», «насущенное и полезное» («Последний поэт»), возникают путем прямого внедрения в поэтическую речь слов и понятий, имевших широкое хождение в публицистике того времени, посвященной вопросу о капиталистическом развитии в России и на Западе. Но еще чаще Баратынский прибегает к словам, весь эффект которых составляет контраст между их прозаичностью, обыденностью и торжественностью воплощенного в них поэтического образа: «тощая земля в широких лысинах бессилья» («Осень»), «наготою старушечьих плечей» («Филида с каждою зимою. . .»), «в жару нездравом», «непривычный ум» («Увы! творец не первых сил. . .»), «бессмысленная вечность» («Недоносок»), «ощупай возмущенный мрак» («Толпе тревожный день. . .»), «оно <тело> Бессмысленно глядит, как утро встанет, Без нужды ночь сменя, Как в мрак ночной бесплодный вечер канет, Венец пустого дня» («На что вы, дни! Юдольный мир явленья. . .»).

Вопрос о своеобразии словоупотребления в поздней лирике Баратынского неотделим от вопроса об особенностях построения ее образов.

Как правило, художественный образ у позднего Баратынского строится на соотношении двух его планов — прямого и переносного, в смысловом отношении основного. Представления и ассоциации предметно-чувственного порядка живут в них не сами по себе, а лишь постольку, поскольку за ними стоят какие-то другие, отвлеченные, логически невыразимые представления. В той же последней строфе «Осени» приближающаяся «зима», «тощая земля», «широкие лысины бессилья», «снежная пелена» — все это не столько реальная зима, снежный покров, опустевшая земля, сколько символы умирания, угасания. Именно по этому, второму и до конца не поддающемуся логическому определению смыслу (что именно умирает?) они соотносятся с образами «полей», «радостно блистающих златами класами обилья» и, в свою очередь, символизирующими расцвет, полнокровие жизненных сил.

Этот подразумеваемый смысл настолько преобладает у Баратынского над непосредственно данным в слове, что иногда образ строится в прямом противоречии с предметно-чувственными ассоциациями,

Вот для примера несколько строк из восьмой строфы «Осени»:

Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель...

Туманы и дебри — это символы душевного состояния лирического героя. Если же мы попытаемся воспринять эти слова в их прямом значении, получится бессмыслица: «блестательные туманы» и «бесплодные дебри» реально не представимы.

В других случаях отдельные образы, а иногда и целые стихотворения, почти целиком строятся на отвлеченных представлениях:

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

«Явленья», «повторенья», «грядущее» — все это общие понятия, посредством которых содержание лирического переживания раскрывается в форме отвлеченно-философской мысли. Важно то, что эта мысль выступает в стихотворениях Баратынского в качестве объективного начала человеческого сознания, независимо от его субъективных устремлений обнажающего своим «нагим мечом» безотрадную правду жизни, ее трагические противоречия.

Вопрос об извечной противоречивости человеческого бытия составляет рациональное зерно собственно философской проблематики творчества Баратынского. Поэт не нашел решения этого вопроса. И все же — наряду с Тютчевым — он является одним из крупнейших представителей русской философской поэзии, «поэзии мысли». «Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, — писал Белинский в 1842 году, — первое место бесспорно принадлежит Баратынскому. Несмотря на его вражду к мысли, он, по натуре своей, призван быть поэтом мысли. Такое противоречие очень понятно: кто не мыслитель по натуре, тот о мысли и не хлопочет; борется с мыслию тот, кто не может овладеть ею, стремясь к ней всеми силами души своей». ¹

Е. Куприянова

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 479.

**СТИХОТВОРЕНИЯ,
НАПЕЧАТАННЫЕ
ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА**

**ЖЕНЩИНЕ ПОЖИЛОЙ,
НО ВСЁ ЕЩЕ ПРЕКРАСНОЙ**

Взгляните: свежестью молодой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит — и путь не продолжает!

1818(?)

СЛУЧАЙ

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мне, идти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.

Но, в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
«Послушай, — молвила она, —
Вино советник самый здравый».

Я пил; на что ж решился я
Благим внушеньем полной чаши?
Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши.

1818 или 1819

К АЛИНЕ

Тебя я некогда любил,
И ты любить не запрещала;
Но я дитя в то время был —
Ты в утро дней едва вступала.
Тогда любим я был тобой,
И в дни невинности беспечной
Алине с детской простотой
Я клятву дал уж в страсти вечной.

Тебя ль, Алина, вижу вновь?
Твой голос стал еще приятней;
Сильнее взор волнует кровь;
Улыбка, ласки сердцу внятней;
Блестящих на груди лилей
Все прелести соединились,
И чувства прежние живей
В душе моей возобновились.

Алина! чрез двенадцать лет
Всё тот же сердцем, ныне снова
Я повторяю свой обет.
Ужель не скажешь ты полслова?
Прелестный друг! чему ни быть,
Обет сей будет свято чтимым.
Ах! я могу еще любить,
Хотя не льщусь уж быть любимым.

<1819>

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА

(В альбом)

Любовь и дружбу различают,
Но как же различить хотят?
Их приобрести равно желают,
Лишь нам скрывать одну велят.
Пустая мысль! обман напрасный!
Бывает дружба нежной, страстной,

Стесняет сердце, движет кровь,
И хоть таит свой огонь опасный,
Но с девушкой она прекрасной
Всегда похожа на любовь.

<1819>

ПОРТРЕТ В. . .

Как описать тебя? я, право, сам не знаю!
Вчера задумчива, я помню, ты была,
Сегодня ветрена, забавна, весела;
Во всем, что лишь в тебе встречаю,
Непостоянство примечаю, —
Но постоянно ты мила!

<1819>

ЭПИГРАММА

Дамон! ты начал — продолжай,
Кропай экспромты на досуге;
Возьмись за гений свой: пиши, черти, марай;
У пола нежного в бессменной будь услуге;
Наполни вздохами растерзанную грудь;
Ни вкусу не давай, ни разуму потачки —
И в награждение любимцем куклы будь
Или соперником собачки.

<1819>

ПРОЩАНИЕ

Простите, милые досуги
Разгульной юности моей,
Любви и радости подруги,
Простите! вяну в утро дней!
Не мне стезею потаенной,
В ночь молчаливую, тишком,

Младую деву под плащом
Вести в альков уединенный.
Бежит изменница-любовь!
Светильник дней моих бледнеет,
Ее дыханье не согреет
Мою хладеющую кровь.
Следы печалей, изнуренья
Приметит в страждущем она.
Не смейтесь, девы наслажденья,
И ваша скроется весна,
И вам пленять недолго взоры
Младую пышной красотой;
За что ж в болезни роковой
Я слышу горькие укоры?
Я прежде бодр и весел был,
Зачем печального бежите?
Подруги милые! вздохните:
Он сколько мог любви служил.

<1819>

К КРЕНИЦЫНУ

Товарищ радостей молодых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свиделся с тобой! В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали!
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств и сладость упованья! —
Всё хладный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? — Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей тебе знакомых нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
Рассудок тверже и верней,
Поступки, разговор скромнее;
Он осторожней стал, быть может стал умнее,
Но, верно, счастием теперь стократ бедней.
Не подражай ему! иди своей тропею!
Живи для радости, для дружбы, для любви!

Цветок нашел — скорей сорви!
Цветы прелестны лишь весною!
Когда рассеянно, с унынием внимать
Я буду снам твоим о будущем, о счастье,
Когда в мечтах твоих не буду принимать,
Как прежде, пылкое, сердечное участие, —
Не сетуй на меня, о друге пожалей:
Всё можно возвратить — мечтанья невозвратны!
Так! были некогда и мне они приятны,
Но быстро скрылись от очей!
Я легковерен был: надежда, наслажденье
Меня с улыбкою манили в темну даль,
Я встретить радость мнил — нашел одну печаль,
И сердцу милое исчезло заблужденье.
Но для чего грустить? Мой друг еще со мной!
Я не всего лишен судьбой ожесточенной!
О дружба нежная! останься неизменной!
Пусть будет прочее мечтой!

<1819>

В АЛЬБОМ

Земляк! в стране чужой, суровой
Сошлись мы вновь, и сей листок
Ждет от меня заветных строк
На память для разлуки новой.
Ты любишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали,
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали.
Покинул я предел родной!
Так и с тобою, друг мой милый,
Здесь проведу я день, другой,
И, как узнать? в стране чужой
Окончу я мой век унылый;
А ты увидишь дом отцов,
А ты узришь поля родные
И прошлых счастливых годов
Вспоманешь были золотые.
Но где товарищ, где поэт,

Тобой с младенчества любимый?
Он совершил судьбы завет,
Судьбы, враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи мои найдешь,
Где складу нет, но чувство живо,
Ты их задумчиво прочтешь,
Глаза потупишь молчаливо...
И тихо лист перевернешь.

<1819>

ДЕЛЬВИГУ

Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я муз и граций
Променял на вахтпарад;
Сыну милому Венеры,
Рощам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт веселый
Кивер война тяжелый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днем идет,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает!

Мне ли думать о куплетах?
За свирель... а тут беды!
Марс, затянутый в штиблетах,
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски...
О, судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда — на развод.

Вам, свободные пииты,
Петь, любить; меня же в ряд

Иль камни, иль хариты
В карауле навесят.

Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают
Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,
Извиваясь, ключ прозрачный
Вдохновительно журчит,
Ты, кого зовут к свирели
Соловья живые трели,
Пой, любимец аонид!
В тихой, сладостной кручине
Слушать буду голос твой,
Как внимают на чужбине
Языку страны родной.

1819

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ „ВОСПОМИНАНИЯ“

Посланница небес, бессмертных дар счастливый,
Подруга тихая печали молчаливой,
О память! ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастья мгновенья легкокрылы,
Давно протекшие, в мечтах мне снова милы.
Еще в забвении дышу отрадой их;
Люблю, задумавшись, минувших дней моих
Вспоминать мечты, надежды, наслажденья,
Минуты радости, минуты огорченья.
Не раз, волшебною взлелеянный мечтой,
Я в ночь безмолвную беседовал с тобой;
И, в дни счастливые на час перенесенный,
Дремал утешенный и с жизнью примиренный.
Так, всем обязан я твоим приветным снам.
Тебя я петь хочу; дай жизнь моим струнам,
Цевнице вторь моей; твой голос сердцу внятен,
И резвой радости и грусти он приятен.

Ах! кто о прежних днях порой не вспоминал?
Кто жизнь печальную мечтой не украшал?
Смотрите: вот старик седой, изнеможенный,
На ветхих костылях, под ношей лет согбенный,
Он с жизнью сопряжен страданием одним;
Уже могилы дверь отверста перед ним,
Но он живет еще! он помнит дни златые!
Он помнит резвости и радости младые!
С товарищем седым, за чашей круговой,
Мечтает о былом, и вновь цветет душой;
Светлеет взор его, весельем дух пылает,
И руку друга он с восторгом пожимает.

.
.

Наскучив странствием и жизни суетою,
Усталый труженик под кровлею родною
Вкушает сладостный бездействия покой;
Благодарит богов за мирный угол свой;
Забытый от людей, блажит уединенье,
Где от забот мирских нашел отдохновенье;
Но любит вспоминать он были прежних лет,
И море бурное, и столько ж бурный свет,
Мечтанья юности, восторги сладострастья,
Обманы радости и ветреного счастья;
Милее кажется ему родная сень,
Покой отраднее, приятней рощи тень,
Уединенная роскошнее природа,
И тихо шепчет он: «Всего милей свобода!»

О дети памяти! о Фебовы сыны!
Певцы бессмертные! кому одолжены
Вы силой творческой небесных вдохновений?
— Отзыву прежних чувств и прежних
впечатлений.

Они неопытный развить умели ум,
Зажгли, питали в нем, хранили пламень дум.
Образовала вас природа — не искусство:
Так чувство выражать одно лишь может чувство.
Когда вы кистию волшебною своей
Порывы бурные, волнение страстей
Прелестно, пламенно и верно выражали,
Вы отголоску их в самих себе внимали.

Ах, скольких стоит слез бессмертия венец!

.
.
.

Но всё покоится в безмолвии ночном,
И вежди томные сомкнулись тихим сном.
Воспоминания небесный, светлый гений
К нам ниспускается на крыльях сновидений.
В пленительных мечтах, одушевленных им,
И к играм и к трудам обычным мы спешим:
Пастух берет свирель, владелец — багряницу,
Художник — кисть свою, поэт — свою цевницу,
Потомок рыцарей, взлелеянный войной,
Сверкающим мечом махает над головой,

.
.

Доколе памяти животворящий свет
Еще не озарил туманной бездны лет,
Текли в безвестности века и поколенья;
Всё было жертвою безгласного забвенья:
Дела великие не славились молвой,
Под камнем гробовым незнаем тлея герой.
Преданья свет блеснул — и камни глас

прияли,

Века минувшие из тьмы своей восстали;
Народы поздние урокам внемлют их,
Как гласу мудрому наставников седых.

Рассказы дивные! волшебные картины!
Свободный, гордый Рим! блестящие Афины!
Великолепный ряд триумфов и честей!
С каким волнением внимал я с юных дней
Бессмертным повестям Плутарха, Фукидида!
Я персов поражал с дружиной Леонида;
С отцом Виргинии отмщением пылал,
Казалось, грудь мою пронзил его кинжал;
И, подданный царя, защитник верный трона,
В восторге трепетал при имени Катона.

.
.

Но любопытный ум в одной ли тьме преданий
Найдет источники уроков и познаний? —
Нет; всё вокруг меня гласит о прежних днях.
Блуждая странником в незнаемых краях,
Я всюду шествую, минувшим окруженный.
Я вопрошаю прах дряхлеющей вселенной:
И грады, и поля, и сей безмолвный ряд
Рукою времени набросанных громад.
Событий прежних лет свидетель молчаливый,
Со мной беседует их прах красноречивый.
Здесь отвечают мне оракулы времен:
Смотрите — видите ль, дымится Карфаген!
Полнеба Африки пожарами пылает!
С протяжным грохотом Пальмира упадет!
Как волны дымные бегущих облаков,
Мелькают предо мной события веков.
Печать минувшего повсюду мною зрима...
Поля Авзонии! державный пепел Рима!
Глашатаи чудес и славы прежних лет!
С благословеньем вас приветствует поэт.
Смотрите, как века, незримо пролетая,
Твердьни древние и горы подавляя,
Бросая гроб на гроб, свергая храм на храм,
Остатки гордые являют Рима нам.
Великолепные, бессмертные громады!
Вот здесь висящих рек шумели водопады,
Вот здесь входили в Рим когорты плебеян,
Обременённые богатством дальних стран;
Чертогов, портиков везде я зрю обломки,
Где начертал резец римлян деянья громки.
Не смела времени разрушить их рука,
И возлегли на них усталые века.
Всё, всё вещает здесь уму, воображенью.
Внимайте времени немому поученью!
Познайте тления незыблемый закон!
Из-под развалин сих вещает глухо он:
«Всё гибнет, всё падет — и грады и державы»...
О колыбель наук, величия и славы!
Отчизна светлая героев и богов!
Святая Греция! теперь толпы рабов
Блуждают на берегах божественной Эллады;
Ко храму ветхому Дианы иль Паллады

Шалаш пристроил свой ленивый рыболов!
Ты б не узнал, Солон, страну своих отцов;
Под чуждым скипетром главой она поникла;
Никто не слышит там о подвигах Перикла;
Всё губит, всё мертвит невежества ярем.
Но неужель для нас язык развалин нем?
Нет, нет, лишь понимать умеете их молчанье, —
И новый мир для вас создаст воспоминанье.

.
.

Счастлив, счастлив и тот, кому дано судьбою
От странствий отдохнуть под кровлею родною,
Увидеть милую, священную страну,
Где жизни он провел прекрасную весну,
Провел невинное, безоблачное детство.
О край моих отцов! о мирное наследство!
Всегда присутственны вы в памяти моей:
И в берегах крутых сверкающий ручей,
И светлые луга, и темные дубравы,
И сельских жителей приветливые нравы.
Приятно вспоминать младенческие дни. . .

.
.

Когда, едва вздохнув для жизни неизвестной,
Я с тихой радостью взглянул на мир прелестный, —
С каким восторгом я природу обнимал!
Как свет прекрасен был! Увы! тогда не знал
Я буйственных страстей в беспечности невинной:
Дитя, взлелеянный природою пустынной,
Ее одну лишь зрел, внимал одной лишь ей;
Сиянье солнечных, торжественных лучей
Веселье тихое мне в сердце проливалось;
Оно с природою в ненастье унывало;
Не знал я радостей, не знал я мук доугих,
За мигом не умел другой предвидеть миг;
Я слишком счастлив был спокойствием незнанья;
Блаженства чуждые и чуждые страданья
Часы невидимо мелькали надо мной. . .
О, суждено ли мне увидеть край родной,
Друзей оставленных, друзей всегда любимых,
И сердцем отдохнуть в тени дерев родимых? . .

Там счастье я найду в отрадной тишине.
Не нужны почести, не нужно злато мне;
Отдайте прадедов мне скромную обитель.
Забытый от людей, дубрав безвестных житель,
Не позавидую надменным богачам;
Нет, нет, за тщетный блеск я счастья не отдам;
Не стану жертвовать фортуне своевольной
Спокойной совестью, судьбой своей довольный,
И песни нежные и мирный фимиам
Я буду посвящать отеческим богам.

Так перешедши жизнь незнаемой тропюю,
Свой подвиг совершив, усталою главою
Склонюсь я наконец ко смертному одру;
Для дружбы, для любви, для памяти умру;
И всё умрет со мной! Но вы, любимцы

Феба,

Вы, вместе с жизнью принявшие от неба
И дум возвышенных и сладких песней дар!
Враждующей судьбы не страшен вам удар:
Свой век опередив, заранее слышит гений
Рукоплескания грядущих поколений.

.
.

<1820>

Б** ПРИ ОТЪЕЗДЕ В АРМИЮ**

Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко-скачущей телеге,
От нас, увы! далеко прочь,
О нас, увы! не сожалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском,
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удальцами удальцом!

О милый мой! согласен в том:
Завидно счастье такое!
Не приобщуся невпопад
Я к мудрецам, чрез меру важным.
Иди! воинственный наряд
Приличен юношам отважным.
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,
Люблю красивые смотры,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть, в битве шумной
Летящих в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за ними вслед
Тебя зовет, любовник брани;
Ступай, служи богине бед,
И к ней трепещущие длани
С мольбой подымет твой поэт.

<1820>

РОПОТ

Он близок, близок день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Не мне роптать; но дни печали,
Быть может, поздно миновали:
С тоской на радость я гляжу, —
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Всё мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне.

<1820>

ЭПИГРАММА

Поэт Писцов в стихах тяжеловат,
Но я люблю незлобного собрата:
Ей-ей! не он пред светом виноват,
А перед ним природа виновата.

<1820>

**ДЕВУШКЕ,
КОТОРАЯ НА ВОПРОС: КАК ЕЕ ЗОВУТ?
ОТВЕЧАЛА: НЕ ЗНАЮ**

Незнаю? милая Незнаю!
Краса пленительна твоя.
Незнаю я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я.

<1820>

РАЗЛУКА

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя;
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я всё имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

<1820>

ПОДРАЖАНИЕ ЛАФАРУ

Свободу дав тоске моей,
Уединенный, я недавно
О наслажденьях прежних дней
Жалел и плакал своенравно.

Всё обмануло, думал я,
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердца мертвой тишиной!
Тогда с улыбкою коварной
Предстал внезапно Купидон.
«О чем вздыхаешь, — молвил он, —
О чем грустишь, неблагодарный?
Забудь печальные мечты:
Я вечно юн, и я с тобою!
Воскреснуть сердцем можешь ты;
Не веришь мне? взгляни на Хлою!»

<1820>

К — НУ

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытал его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам.
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливых тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливицы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,

Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? все раны, все недуги,
Всё расслабление души твоей больной;
Забыв и свет и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханьи пить
Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастьем для света мы убоги,
Счастливицы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

<1820>

К БЮХЕЛЬБЕКЕРУ

Прости, Поэт! Судьбина вновь
Мне посох странника вручила;
Но к музам чистая любовь
Уж нас навек соединила!

Прости! Бог весть когда опять,
Желанный друг в гостях у друга,
Я счастье буду воспевать
И негу праздного досуга!

О милый мой! всё в дар тебе —
И грусть и сладость упованья!
Молись невидимой судьбе:
Она приблизит час свиданья.

И я, с пустынных финских гор,
В отчизне бранного Одена,
К ней возведу молящий взор,
Упав смиренно на колена.

Строга ль богиня будет к нам,
Пошлет ли весть соединенья? —
Пушкой пред ней сольются там
Друзей согласные моленья!

18 января 1820

ПОСЛАНИЕ К Б<АРОНУ> ДЕЛЬВИГУ

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?

Ужель душе твоей так скоро чуждым стал
Друг отлученный, друг далекой,
На финских берегах, между пустынных скал,
Бродящий с грустью одинокой?

Где ты, о Дельвиг мой! ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата?

Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,
Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?

«Что в славе? что в молве? на время жизнь
дана!» —

За полной чашей мы твердили
И весело в струях блестящего вина
Забвеньё сладостное пили.

И вот сгустилась ночь, и всё в глубоком сне —
Лишь дышит влажная прохлада;
На стогнах тишина! сияют при луне
Дворцы и башни Петрограда.

К знакомцу доброму стучится Купидон, —
Пусть дремлет труженик усталый!

«Проснися, юноша, отвергни, — шепчет он, —
Покой бесчувственный и вялый.

Взгляни! ты видишь ли: покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
Томленья страстного в душе своей полна,
Счастливица ждет моя Лилета?»

Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!
Блажен, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;

Кто без уныния глубоко жизнь постиг
И, равнодушием богатый,
За царство не отдаст покоя сладкий миг
И наслажденья миг крылатый!

Давно румяный Феб прогнал ночную тень,
Давно проснулись заботы,
А баловня забав еще покоит лень
На ложе неги и дремоты.

И Лила спит еще; любовь горят
Младые свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты.

И где ж брега Невы? где чаш веселый стук?
Забыв друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, пою утрату их,
И вокруг меня скалы суровые,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

1820

Любви веселый проповедник,
 Всегда любезный говорун,
 Глубокомысленный шалун,
 Назона правнук и наследник!
 Дана на время юность нам;
 До рокового новоселья
 Пожить не худо для веселья.
 Товарищ милый, по рукам!
 Наука счастья нам знакома,
 Часы летят! — Скорей зови
 Богиню милую любви!
 Скорее ветреного Мома!
 Альков уютный приготовь!
 Наполни чаши золотые!
 Изменят скоро дни младые,
 Изменит скоро нам любовь!
 Летящий миг лови украдкой, —
 И Гея, Вакх еще с тобой!
 Еще полна, друг милый мой,
 Пред нами чаша жизни сладкой;
 Но смерть, быть может, сей же час
 Ее с насмешкой опрокинет, —
 И мигом в сердце кровь остынет,
 И дом подземный скроет нас!

1820

ВЕСНА

(Элегия)

Мечты волшебные, вы скрылись от очей!
 Сбылися времени угрозы!
 Хладеет в сердце жизнь, и юности моей
 Поблекли утренние розы!

Благоуханный Май воскреснул на лугах,
 И пробудилась Филомела,
 И Флора милая, на радужных крылах,
 К нам обновленная слетела.

Вотще! Не для меня долины и леса
Одушевились красотою,
И светлой радостью сияют небеса!
Я вяну, — вянет всё со мною!

О где вы, призраки невозвратимых лет,
Богатство жизни — вера в счастье?
Где ты, молодого дня пленительный рассвет?
Где ты, живое сладострастье?

В дыхании весны всё жизнь младую пьет
И негу тайного желанья!
Всё дышит радостью и, мнится, с кем-то ждет
Обетованного свиданья!

Лишь я как будто чужд природе и весне:
Часы крылатые мелькают;
Но радости принести они не могут мне
И, мнится, мимо пролетают.

1820

ФИНЛЯНДИЯ

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
Громадам, миру современным;
Подобно им, да будет он
Во все години неизменным!

Как всё вокруг меня пленяет чудно взор!
Там необъятными водами
Слилось море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошел тяжелыми стопами,
Сошел — и смотрится в зеркале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит,
И только что себе в убор
Алмазных звезд ненужный хор

На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!

Умолк призывный щит, не слышен скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развевал буйный ветер торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов;
И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!

И всё вокруг меня в глубокой тишине!
О вы, носившие от берега к берегу бои,
Куда вы скрылись, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышите голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи.
Сыны могучие сих грозных, вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылись в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, всё своей чредой исчезнет в бездне лет!
• Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!

Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

1820

ФИНСКИМ КРАСАВИЦАМ

(Мадригал)

Так — ваш язык еще мне нов,
Но взоры милых сердцу внятны,
И звуки незнакомых слов
Давно душе моей понятны.
Я не умел еще любить —
Опасны сердцу ваши взгляды!
И сын Фрегеи, может быть,
Сильнее будет сына Лады!

1820

Л — ОЙ

Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливый,
Я за любовь любви молил;
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых;
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило, —
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

1820 или 1821

ЭЛИЗИЙСКИЕ ПОЛЯ

Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условие,
Закон последний бытия;
Ты не спасешь меня, Киприда!
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

Простите, ветреные друзья,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Разгульной юности моей!
Я не страшуся новоселья;
Где б не жил я, мне всё равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.
Не изменясь в подземном мире,
И там, на шаловливой лире,
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь, в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты,
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.

Когда из таинственной сени,
От темных Орковых полей,
Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени,
Я навещу, о друзья, вас,
Сыны забавы и веселья!

Когда для шумного похмелья
Вы соберетесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить;
А к вам молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за столом.

Меж тем за тайными брегами
Друзей вина, друзей пиров,
Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам, чрез день или другой,
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть мир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой дружеской толпой;
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!

1820 или 1821

Б . . . НУ

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещаний!
Мы лишены старинных прав .
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век молодой,
Уж сердце опытнее стало;
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.

Пресыгясь буйным наслажденьем,
Пресыгясь ласками цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участие
Беспечно веровал бы я
Случится ль ведро иль ненастье
На перепутье бытия?
Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней,
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей! ..

<1821>

ЭПИГРАММА

В своих стихах он скукой дышит;
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?

<1821>

УНЫНИЕ

Рассеивает грусть пиров веселый шум.
Вчера, за чашей круговую,
Средь братьев полковых, в ней утопив мой ум,
Хотел воскреснуть я душою.

Туман полуночный на холмы возлегал;
Шатры над озером дремали,
Лишь мы не знали сна — и пенистый бокал
С весельем буйным осушали.

Но что же? вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили,
Но я безрадостно с друзьями радость пел:
Восторги их мне чужды были.

Того не приобрести, что сердцем не дано.
Рок злобный к нам ревниво злобен,
Одну печаль свою, уныние одно
Унылый чувствовать способен.

<1821>

РОДИНА

Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пусть другие чтут приличия законы;
Пусть другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастья, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край, всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист и волн мятежный рев,
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,

Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пуускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пуускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
Науке размерять окопы боевые —
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель
и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У берега насажу лесок уединенный,
И липу свежую и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой и мирную цевницу.

<1821>

ЭЛЕГИЯ

Нет, не бывать тому, что было прежде!
Что в счастье мне? Мертва душа моя!
«Надейся, друг!» — сказали мне друзья.
Не поздно ли вверяться мне надежде,
Когда желать почти не в силах я?
Я бременюсь нескромным их участием,
И с каждым днем я верой к ним бедней.
Что в пустоте несвязных их речей?
Давным-давно простился я со счастьем,
Желательным слепой душе моей!
Лишь вслед ему с унылым сладострастьем
Гляжу я вдоль моих минувших дней.
Так нежный друг, в бесчувственном забвеньи,
Еще глядит на зыби синих волн,
На влажный путь, где в темном отдаленьи
Давно исчез отбывший дружний челн.

<1821>

РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

<1821>

ДЕЛЬВИГУ

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Похищенной искрой создание свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он презрел — и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущениям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,
На брэнную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает!..

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,
Томимся мы жаждою счастья.

<1821>

БОЛЬНОЙ

Други! радость изменила,
Предо мною мрачен путь,
И болезнь мне положила
Руку хладную на грудь.
Други! станьте вокруг постели.
Где утех златые дни?
Быстро, быстро пролетели
Тенью легкою они.
Всё прошло; ваш друг печальный
Вянет в жизни молодой,
С новым утром погребальный,
Может быть, раздастся вой, —
И раздвинется могила,
И заснет, недвижимый, он,
И твое лобзанье, Лила,
Не прервет холодный сон.

Что нужды! до новоселья
Поживем и пошалим,
В память прежнего веселья
Шумный кубок осушим.
Нам судьба велит разлуку...
Как же быть, друзья? — вздохнуть,
На распутье сжать мне руку
И сказать: счастливый путь!

<1821>

ПЕСНЯ

Страшно воеет, завывает
Ветр осенний;
По поднёбесью далече
Тучи гонит.

На часах стоит печален
Юный ратник;
Он уносится за ними
Грустной думой.

О, куда, куда вас, тучи,
Ветер гонит?
О, куда ведет судьбина
Горемыку?

Тошно жить мне: мать родную
Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
Я расстался!

«Не грусти! — душа-девица
Мне сказала. —
За тебя молиться будет
Друг твой верный».

Что в молитвах? я в чужбине
Дни скончаю.
Возвращусь ли? взор твой друга
Не признает.

Не видать в лицо мне счастья;
Жить на что мне?
Дай приют, земля сырая,
Расступися!

Он поет, никто не слышит
Слов печальных...
Их разносит, заглушает
Ветер бурный.

<1821>

ЛИДЕ

Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Немногим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Когда под звонкие напевы,
Под звук свирели плясовой,

Среди полей, рука с рукой,
Кружатся юноши и девы, —
Вмешавшись в резвый хоровод,
Хариты, ветренный Эрот,
Дриады, фавны пляшут с ними
И гонят прочь толпу забот
Воскликновеньями своими;
Поодаль музы между тем,
Таясь в сумраке дубравы,
Глядят, не зримые никем,
На их невинные забавы;
Но их собор в то время нем.
Певцу ли ветрено бесславить
Плоды возвышенных трудов
И легкомыслие забавить
Игрою гордою стихов?
И той нередко, чье воззренье
Дарует лире вдохновенье,
Не поверяет он его;
Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.

<1821>

Е . . .

Приятель строгий, ты неправ,
Несправедливы толки злые;
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалось, дышали;
Любили шумные пиры;
Гостей веселых той поры,
Забавы, шалости любили
И за роскошные дары
Младую жизнь благодарили.
Во имя лучших из богов,

Во имя Вакха и Киприды,
Мы пели счастье шалунов,
Сердечно презря крикунов
И их ревнивые обиды.
Мы пели счастье дней младых,
Меж тем летела наша младость;
Порой задумывалась радость
В кругу поклонников своих;
В душе больной от пищи многой,
В душе усталой пламень гас,
И за стаканом в добрый час
Застал нас как-то опыт строгой.
Наперсниц наших, страстных дев
Мы поцелуи позабыли
И, пред суровым оробев,
Утехи крылья опустили.
С тех пор, любезный, не поем
Мы безрассудные забавы,
Смиренно дни свои ведем
И ждем от света доброй славы.
Теперь вопрос я отдаю
Тебе на суд. Подумай, мы ли
Переменили жизнь свою,
Иль годы нас переменяли?

<1821>

ДОБРЫЙ СОВЕТ

(К — ну)

Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шутивый!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждет судьба одна:
Всех чередом поглотит Лета,

И философа-болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролетное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, был умней.
Будь дружен с музою моею,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею?

<1821>

РИМ

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немьм развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеситель.

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?

Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений?

Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?
Или, как призрак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

1821

БДЕНИЕ

Один, и пасмурный душою,
Я пред окном сидел;
Свистела буря надо мною,
И глухо дождь шумел.

Уж поздно было, ночь сгустилась;
Но сон бежал очей.
О днях минувших пробудилась
Тоска в душе моей.

«Увижу ль вас, поля родные,
Увижу ль вас, друзья?
Губя печалью дни младые,
Приметно вяну я!

Дни пролетают, годы тоже;
Меж тем беднеет свет!
Давно ль покинул вас — и что же?
Двоих уж в мире нет!

И мне назначена могила!
Умру в чужой стране,
Умру, и ветреная Лиля
Не вспомнит обо мне!»

Душа стеснилась тоскою;
Я грустно онемел,
Склонился на руку главою,
В окно не зря глядел.

Очнулся я; румян и светел
Уж новый день сиял,
И громкой песнью ранний петел
Мне утро возвещал.

1821

В АЛЬБОМ

Вы слишком многими любимы,
Чтобы возможно было вам
Знать, помнить всех по именам;
Сии листки необходимы;
Они не нужны были встарь:
Тогда не знали дружбы модной,
Тогда, бог весть! иной дикарь
Сердечный адрес-календарь
Почел бы выдумкой негодной.
Что толковать о старине!
Стихи готовы. Может статься,
Они для справки обо мне
Вам очень скоро пригодятся.

1821

К . . . 0

Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить — плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность — прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,
Но лишний пленник вам дороже;
Вам очень мил я, но, увы!
Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.

1821

ВОДОПАД

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзвонком долины.

Я слышу: свищет аквилон,
Качает елию скрипучей,
И с непогодой ревучей
Твой рев мятежный соглашен.

Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею,
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзвонком долины!

1821

ОТЪЕЗД

Прощай, отчизна непогоды,
Печальная страна,
Где, дочь любимая природы,
Безжизненна весна;
Где солнце нехотя сияет,
Где сосен вечный шум,
И моря рев, и всё питает
Безумье мрачных дум;
Где, отлученный от отчизны
Враждебною судьбой,

Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой;
Где, позабыт молвой гремучей,
Но всё душой пиит,
Своею Музою летучей
Он не был позабыт!
Теперь, для сладкого свиданья,
Спешу к стране родной;
В воображеньи край изгнанья
Последует за мной:
И камней мшистые громады,
И вид полей нагих,
И вековые водопады,
И шум угрюмый их!
Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну,
Но где порою, житель неба,
Наперекор судьбе,
Не изменил питомец Феба
Ни музам, ни себе.

1821

ЦВЕТОК

С восходом солнечным Людмила,
Сорвав себе цветок,
Куда-то шла и говорила:
«Кому отдам цветок?»

Что торопиться? мне ль наскучит
Лелеять свой цветок?
Нет! недостойный не получит
Душистый мой цветок».

И говорил ей каждый встречный:
«Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
Отдай мне твой цветок».

Она в ответ: «Сама я знаю,
Прекрасен мой цветок;
Но не тебе, и это знаю,
Другому мой цветок».

Красою яркой день сияет, —
У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает, —
У девушки цветок!

Идет. Услада повстречала,
Он прелестью цветок.
«Ты мил! — она ему сказала. —
Возьми же мой цветок!»

Он что же думе? Он спесиво:
«На что мне твой цветок?»
Ты мне даришь его — не диво:
Увянул твой цветок».

1821

К — ВУ

Ответ

Чтоб очаровывать сердца,
Чтоб возбуждать рукоплесканья,
Я слышал, будто для певца
Всего нужнее дарованья.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвести
Поэмой длинной, громкой одой,
И век того не приобрести,
Чего нам не дано природой.

Когда старик Анакреон,
Сын верный неги и прохлады,
Веселый пел амфоров звон
И сердцу памятные взгляды,
Вслед за толпой молодых забав,
Богини песней, миновав

Певцов усерднейших Эллады,
Ему внимать исподтишка
С вершины Пинда поспешали
И балагура-старика
Венком бессмертья увенчали.

Так своенравно Аполлон
Нам раздает свои награды;
Другому богу Геликон
Отдать хотелось бы с досады!
Напрасно до поту лица
О славе Фофанов хлопочет:
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.
Меж тем, даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали,
И что ж? нечаянно они
Ее в Цитере повстречали.

Пленен ли Хлоей, Дафной ты,
Возьми Тибуллову цевницу,
Воспой победы красоты,
Воспой души своей царицу;
Когда же любишь стук мечей,
С высокой музою Омира
Пускай поет вражды царей
Твоя воинственная лира.
Равны все музы красотой,
Несходство их в одной одежде.
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.

1821(?)

ТОВАРИЩАМ

Так! отставного шалуна
Вы вновь шалить не убеждайте
Иль золотые времена
Младых затей ему отдайте!

Переменяют годы нас
И с нами вместе наши нравы;
От всей души люблю я вас,
Но ваши чужды мне забавы.

Уж Вакх, увенчанный плющом,
Со мной по улицам не бродит
И к вашим нимфам вечерком
Меня, шатаясь, не заводит.

Весельчакам я запер дверь,
Я пресыщен их буйным счастьем
И заменил его теперь
Пристойным, тихим сладострастьем.

В пылу начальном дней молодых
Неодолимы наши страсти:
Проказим мы, но мы у них,
Не у себя тогда во власти.

В своей отваге молодой
Товарищ ваш блажил довольно;
Не видит он нужды большой
Вновь сумасбродить добровольно.

1821 (?)

ДЕЛЬВИГУ

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба,
И тщетно нам за грозною бедой
Беду грозней пошлет судьбины злора.
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал, — ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых муз;
Деля досуг меж ими и тобою,

Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?
Ты сам порой глубокую печаль
В душе носил, но что? не мне ли вверить
Спешил ее? И дружба не всегда ль
Хоть несколько могла ее умерить?
Забывшие фортуною слепой,
Мы ей назвали друг в друге всё имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни,
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!
Так, милый друг! позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
По-прежнему ль ко мне пребудут строги,
Всегда я твой. Судьей души моей
Ты должен быть и в ведро и в ненастье,
Удвоишь ты моих счастливых дней
Неполное без разделенья счастье;
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой;
Чего ж робеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Еще позволь желание одно
Мне произнесть: молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.

Конец 1821(?)

ДЕЛИИ

Зачем, о Делия! сердца молодые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?

Я видел вокруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе,
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Очарованье роковое!
Не опасаясь насмешливых сетей,
Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет, и розы красоты,
Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
К чему, бесчарная Цирцея?
Искусством округлишь ты высохшую грудь,
Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь как-нибудь
Вновь приманить... но не приманишь!
Взамену снов молодых тебе не обрести
Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взорятся на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волнение.

<1822>

ДОГАДКА

Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит
И вздох случайный...

О! я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покоя;
Давным-давно я
Читаю в ней.
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!

<1822>

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рошу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.

<1822>

ПОЦЕЛУЙ

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой —
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

<1822>

ВЕСНА

На звук цевницы голосистой,
Толпой забав окружена,
Летит прекрасная весна;
Благоухает воздух чистый,
Земля воздвиглась ото сна.

Утихли вьюги и метели,
Текут потоками снега;
Опять в горах трубят рога,
Опять эфиры налетели
На обновленные луга.

Над урной мшистою наяда
Проснулась в сумраке ветвей,
Стрясает иней с кудрей,
И, разломав оковы хлада,
Заговорил ее ручей.

Восторги дух мой пробудили!
Звучат и блещут небеса;
Певцов пернатых голоса,
Пастушьи песни огласили
Долины, горы и леса.

Лишь ты, увядшая Климена,
Лишь ты, в печаль облечена,
Весны не празднуешь одна!
Тобою младости измена
Еще судьбе не прощена!

Унынье в грудь к тебе теснится,
Не видишь ты красоты лугов.
О, если б щедростью богов
Могла ко смертным возвратиться
Пора любви с порой цветов!

1822

СЕСТРЕ

И ты покинула семейный мирный круг!
Ни степи, ни леса тебя не задержали;
И ты летишь ко мне на глас моей печали —
О милая сестра, о мой вернейший друг!
Я узнаю тебя, мой ангел-утешитель,
Наперсница души от колыбельных дней;
Не тщетно нежности я веровал твоей,
Тогда еще, тогда достойный твой ценитель! . .
Приди ж — и радость призови
В приют мой, радостью забытый,
Повея отрадою душе моей убитой
И сердце мне согрей дыханием любви!
Как чистая роса живет своей прохладой
Среди нагих степей, — спасительной усладой
Так оживишь мне чувства ты.

1822

ЭПИГРАММА

Везде бранит поэт Клеон
Мою хорошенькую Музу;
Всё обернуть умеет он
В бесславье нашему союзу.
Морочит добрых он людей,
А слыть красоточке моей
У них негодницей обидно.
Поэт Клеон смешной злодей;
Ему же после будет стыдно.

1822(?)

К ЖЕСТОКОЙ

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?

Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитесь вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне, примерно, нежной став,
Вы наслажденья лишены ли
Дурачить пленников других
И строгой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще же нужно размышленья!
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить не трудно мне;
И, ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог —
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.

1822 или 1823

ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Желтел печально злак полей,
Брега взрывал источник мутный,
И голосистый соловей
Умолкнул в роще бесприютной.
На преждевременный конец
Суровым роком обреченный,
Прощался так молодой певец
С дубравой, сердцу драгоценной:

«Судьба исполнилась моя,
Прости, убежище драгое!
О прорицанье роковое!
Твой страшный голос помню я:
— Готовься, юноша несчастный!
Во мраке осени ненастной
Глубокий мрак тебе грозит;
Уж он зияет из Эрева,
Последний лист падет со древа,

Твой час последний прозвучит!
И вяну я: лучи дневные
Вседневно тягче для очей;
Вы улетели, сны златые
Минутной юности моей!
Покину всё, что сердцу мило.
Уж мглою небо обложило,
Уж поздних ветров слышен свист!
Что медлить? время наступило:
Вались, вались, поблеклый лист!
Судьбе противиться бессильный,
Я жажду ночи гробовой.
Вались, вались! мой холм могильный
От грустной матери сокрой!
Когда ж вечернею порою
К нему пустынною тропею,
Вдоль незабвенного ручья,
Придет поплакать надо мною
Подруга нежная моя,
Твой легкий шорох в чуткой сени,
На берегах Стигийских вод,
Моей обрадованной тени
Да возвестит ее приход!»

Сбылось! Увы! судьбины гнева
Покорством бедный не смягчил,
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его могила!
С кручиной тяжкою своей
К ней часто мать приходила...
Не приходила дева к ней!

<1823>

ЭПИЛОГ

Чувствительны мне дружеские пени,
Но искренне забыл я Геликон
И признаюсь: неприхотливой лени
Мне нравится приманчивый закон;

Охота петь уж не владеет мною,
Она прошла, погасла, как любовь.
Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыплением,
Я не хочу притворным исступлением
Обманывать ни юных дев, ни муз.

<1823>

ЛЕТА

Душ холодных упованье,
Неприятный ручей,
Чье докучное журчанье
Усыпляет Элизей!
Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
Погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
Я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.

<1823>

ДВЕ ДОЛИ

Дало две доли провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой.

Верь тот надежде обольщающей,
Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
С судьбой насмешливой знаком.

Надейтесь, юноши кипящие!
Летите, крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие
И сердца пламенные сны!

Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знание бытия приявшие
Себе на тягостную часть!

Гоните прочь их рой прельстительный;
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.

Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов, —

Так вы, согрев в душе желанья,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.

<1823>

РАЗМОЛВКА

Мне о любви твердила ты шутя
И холодно сознаться можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.
Кого жалеть? печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною.

<1823>

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Желанье счастья в меня вдохнули боги;
Я требовал его от неба и земли
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги,
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастье похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу —
И скромно кланяюсь прохожим.

<1823>

Н. И. ГНЕДИЧУ

Так! для отрадных чувств еще я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристип,
И дружбу нежную, и русские Афины!
Не вакховых пиров, не лобызаний Фрины,
В нескромной юности нескромно петых мной,
Не шумной суеты, прославленной толпой, —
Лишенье тяжко мне, в краю, где финну нищу
Отчизна мертвая едва дарует пищу.
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно-отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний
жадный,
И сердцу и уму я пищу находил.

Счастливец! дни свои ты музам посвятил
И бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека;
Искусства нежные и деятельный труд,
Заняв, украсили свободный твой приют.
Живитель сердца — труд, искусства —
наслажденья.

Еще не породив прямого просвещения,
Избыток породил бездейственную лень.
На мир снотворную она нагнала тень,
И чадам роскоши, обремененным скукой,

Довольство бедности тягчайшей было мукой;
Искусства низошли на помощь к ним тогда;
Уже отвыкнувших от грубого труда
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили;
Быть может, счастьем обязаны мы им.

Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпления,
Не постигает он души употребленья;
В дремоту грубую всечасно погружен,
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он,
На собственных пирах вздыхает он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.

Они в углу моем не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не виня
И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать свое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Чужих безбрежных вод свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна —
Недолго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.

Я победил ее, и, не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Всемирных перемен читаю в них причины;
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я своей;
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
То вдохновение, Парнаса благодать,
Мне душу радует восторгами своими;
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободнее, и, лиру взяв свою,
И дружбу, и любовь, и негу я пою.

Осмеливаясь петь, я помню преткновенья
Самолюбивого искусства песнопенья;
Но всякому свое, и мать племен людских,
Усердья полная ко благу чад своих,
Природа, каждого даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью:
Кто блеском почестей пленен в душе своей;
Кто создан для войны и любит стук мечей;
Любезны песни мне. Когда-то для забавы,
Я, праздный, посетил парнасские дубравы
И воды светлые Кастальского ручья;
Там к хорам чистых дев прислушивался я,
Там, очарованный, влюбился я в искусство
Другим передавать в согласных звуках чувство,
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовью моей.

Так, скуку для себя считая бедством главным,
Я духа предаюсь порывам своенравным;
Так, без усилия ведет меня мой ум
От чувства к шалости, к мечтам от важных дум!
Но ни души моей восторги одиноки,
Ни любомудрия полезные уроки,
Ни песни мирные, ни легкие мечты,
Воображения случайные цветы,
Среди глухих лесов и скал моих унылых,
Не заменяют мне людей, для сердца милых,
И часто, грустию невольною объят,
Увидеть бы желал я пышный Петроград,
Вести желал бы вновь свой век непринужденный
В кругу детей искусств и неги просвещенной,
Апелла, Фидия желал бы навещать,
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
За то не в первый раз взываю я к богам, —
Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!

ЛУТКОВСКОМУ

Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы;
Проказы жизни боевой
Никак веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей,
И я люблю, тебе внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.
Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! в веселье диком
Вы мчитесь грозно... дым и гром!
Бегущий враг покрыт стыдом,
И страшный бой, с победным кликом,
Вы запиваете вином!
А Епендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитерей
Ты дружно жил и на войне!
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Ты, воин мой, защитник их;
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.
Ты сна не знаешь; чуть проглянул
День лучезарный сквозь туман,
Уж рыцарь мой на вражий стан
С дружиной быстрою нагрянул, —
Врагам иль смерть, иль строгий плен!
Меж тем красавицы младые
Пришли толпой, с высоких стен
Глядеть на игры боевые;
Сраженья вид ужасен им,
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы:
Да возвратится невредим
Любезный воин с лютой битвы!

О! кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!
Но ты не раз увенчан был
И бранной славой и любовью.
Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселье боя
И заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?

<1823>

ИСТИНА

О счастья с младенчества тоскуя,
Всё счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
В пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,
Не узнаю я свет;
Надежд своих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.

Безумен ты и все твои желанья —
Мне первый опыт рек;
И лучшие мечты моей созданья
Отвергнул я навек.

Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем
Я дольний жребий свой,
Вдруг Истину (то не было мечтаньем)
Узрел перед собой.

«Светильник мой укажет путь ко счастью! —
Вещала. — Захочу —

И, страстного, отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пуškai со мной ты сердца жар погубишь,
Пуškai, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный, разлюбишь
И ближних и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставляю твой;
Я оболую суровым кладом душу,
Но дам душе покой».

Я трепетал, словам ее внимая,
И горестно в ответ
Промолвил ей: «О гостя роковая!
Печален твой привет.

Светильник твой — светильник погребальный
Всех радостей земных!
Твой мир, увы! могилы мир печальный
И страшен для живых.

Нет, я не твой! в твоей науке строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня, кой-как моей дорогой
Один я побреду.

Прости! иль нет: когда мое светило
Во звездной вышине
Начнет бледнеть и всё, что сердцу мило,
Забуть придется мне,

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти».

О своенравная София!
 От всей души я вас люблю,
 Хотя и реже, чем другие,
 И неискренней вас хвалю.
 На ваших ужинах веселых,
 Где любят смех и даже шум,
 Где не кладут оков тяжелых
 Ни на уменье, ни на ум,
 Где, для холопа иль невежды
 Не притворяясь, часто мы
 Браним указы и псалмы,
 Я основал свои надежды
 И счастье нынешней зимы.
 Ни в чем не следуя пристрастью,
 Даете цену вы всему:
 Рассудку, шалости, уму,
 И удовольствию и счастью;
 Свет пренебрегши в добрый час
 И утеснительную моду,
 Всему и всем забавить вас
 Вы дали полную свободу;
 И потому далеко прочь
 От вас бежит причудниц мука,
 Жеманства пасмурная дочь,
 Всегда зевающая скука.
 Иной порою, знаю сам,
 Я вас браню по пустякам.
 Простите мне мои укоры:
 Не ум один дивится вам,
 Опасны сердцу ваши взоры;
 Они лукавы, я слышал,
 И, всё предвидя осторожно,
 От власти их, когда возможно,
 Спасти рассудок я желал.
 Я в нем теперь едва ли волен,
 И часто, пасмурный душой,
 За то я вами недоволен,
 Что недоволен сам собой.

<1823>

ПРИЗНАНИЕ

Притворной нежности не требуй от меня,
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.
Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судбины полную победу надо мной;
Кто знает? мнением сольюсь я с толпой;
Подругу, без любви — кто знает? — изберу я.
На брак обдуманый я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим
снам,

И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами —
Мы жребии свои соединим.
Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;

Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

<1823>

**ГНЕДИЧУ,
КОТОРЫЙ СОВЕТОВАЛ СОЧИНИТЕЛЮ
ПИСАТЬ САТИРЫ**

Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных,
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов.
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде,
не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой жёлчию напитывая строки,
Сатирую восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И, звуки легкие пастушеской свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.

Полезен обществу сатирик беспристрастный;
Дыша любовью к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им;
То укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного слова

Смиряет по́пыхи надутого глупца;
Он нравов опекун и вместе правды воин.

Всё так; но кто владеть пером его достоин?
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки —
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я утрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.

Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд, наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайностям морей;
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных, возвышенный поэт.
Но рвению моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? — я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчицей привесть,
Я благодарность их мечтал бы приобрести,
Но, право, смысла нет во слове «благодарность»,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От дней Фелицыных оставшийся один,
Но смело дух ее хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспаривать царя,
Когда, прекрасному влечению послушный,
Внимать ему любил монарх великодушный,
Из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли? — «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца

От нас не утаит под строгостью лица».
Так лучшим подвигам людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье;
Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унизить до себя;
Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клеветает!

.
.

Нет, нет! разумный муж идет путем иным,
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиною;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

1823

ОПРАВДАНИЕ

Решительно печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других. . .
Так! но когда их слух предубежденный
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча

· То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан; — так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
· Но к ним ли я любовь пылал?
· Нет, милая! когда в уединеньи
Себя потом я тихо поверял,
Их находя в моем воображеньи,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости младой,
Из-за угла пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.
Нет! более надменна, чем нежна,
Ты всё еще обид своих полна...
Прости ж навек! но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

<1824>

К ...

Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.

Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю, — пишет он, — итак,
Я несомненно существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь, — я пойму
Скорее истину такую.
Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын (гласит преданье)
Одушевил свое создание,
И наказал его Зевес
Неумолимый, Прометея
К скалам Кавказа приковал,
И сердце вран ему клевал;
Но, дерзость жертвы разумея,
Кто приговор не осуждал?
В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое;
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

ЧЕРЕП

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он;
Я зрел на нем ход постепенный тленья.
Ужасный вид! как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала;
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом
Все истины, известные гробам,
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший;
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное создание,
О человек! уверься наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит;
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

<1824>

ЛЕДА

В стране роскошной, благодатной,
Где Евротейский древний ток
Среди долины ароматной
Катится светел и широк,
Вдоль берега Леда молодая,
Еще не мысля, но мечтая,
Стопами тихими брела.
Уж близок полдень; небо знойно;
Кругом всё пусто, всё спокойно;
Река прохладна и светла;
Берега стрегут кусты густые...
Покровы пали на цветы,
И Леды прелести нагие
Прозрачной влагой приняты.
Легко возлегшая на волны,
Легко скользит по ним она;
Роскошно пенясь, перси полны
Лобзает жадная волна.
Но зашумел тростник прибрежный,
И лебедь стройный, белоснежный
Из-за него явился ей.
Сначала он, чуть зримый оком,
Блуждает в оплыве широком
Кругом возлюбленной своей;
В пучине часто исчезает,
Но, сокрываясь от глаз,
Из вод глубоких выплывает
Всё ближе к милой каждый раз.
И вот плывет он рядом с нею.
Ей смелость лебедя мила,
Рукою нежною своею
Его осанистую шею
Младая дева обняла;
Он жметя к деве, он украдкой
Ей перси нежные клюет;
Он в песне радостной и сладкой
Как бы красы ее поет,
Как бы поет живую негу!
Меж тем влечет ее ко берегу.
Выходит на берег она;

Устав, в тени густого древа,
На мураву ложится дева,
На длань главою склонена.
Меж тем не дремлет лебедь страстный:
Он на коленях у прекрасной
Нашел убежище свое;
Он сладкозвучно вздыхает,
Он влажным клевом вопрошает
Уста невинные ее. . .
В изнемогающую деву
Огонь желания проник:
Уста раскрылись; томно клеву
Уже отвечает язык;
Уж на глаза с живым томленьем
Набросив пышные волосы,
Она нечаянным движеньем
Раскрыла все свои красы. . .
Приют свой прежний покидает
Тогда нескромный лебедь мой;
Он томно шею обвивает
Вкруг шеи девы молодой;
Его напрасно отклоняет
Она дрожащею рукой:
Он завладел —
Затрепетал крылами он, —
И вырывается у Леды
И детства крик и неги стон.

<1824>

ЛЮБОВЬ

Мы пьем в любви отраву сладкую;
Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви — огонь живительный,
Все говорят; но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им!

Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов золотых цветущей младости
Тебе открыл бы душу вновь.

<1824>

БОГДАНОВИЧУ

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,
Где благоденствуют отжившие поэты,
О Душенькин поэт, прими мои стихи!
Никак в писатели попал я за грехи
И, надоев живым посланьями своими,
Несчастливым мертвецам скучать решаюсь ими.
Нет нужды до того! хочу в досужный час
С тобой поговорить про русский наш Парнас,
С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты,
И часто, наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли всё как-то не по ним.
Ну что ж? поклон, да вон! увы, не в этом дело;
Ни жить им, ни писать еще не надоело,
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к музам их немецких муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! — Но что же! все мараки

Ударилась потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделось чело,
Душа увянула и сердце отпвело.
Как терпит публика безумие такое? —
Ты спросишь. Публике наскучило простое,
Мудреное теперь любезно для нее:
У века дряхлого испортилось чутье.

Ты в лучшем веке жил. Не столько
просвещенный,
Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный,
Венцы свои дарил, без вычур толковит,
Он только истинным любимцам Аонид.
Но нет явления без творческой причины:
Сей благодатный век был век Екатерины!
Она любила муз, и ты ли позабыл,
Кто «Душеньку» твою всех прежде оценил?
Я думаю, в садах, где свет бессмертья блещет,
Поныне тень твоя от радости трепещет,
Вспоминая день, сей день, когда певца,
Еще за милый труд не ждавшего венца,
Она, друзья ее достойно наградила
И, скромного, его так лестно изумили,
Страницы «Душеньки» читая наизусть.
Сердца завистников стеснила злая грусть,
И на другой же день расспросы о поэте
И похвалы ему жужжали в модном свете.

Кто вкуса божеством теперь служил бы нам?
Кто в наши времена, и прозе и стихам
Провозглашая суд разборчивый и правый,
Заведовать бы мог парнасскою управой?
О, добрый наш народ имеет для того
Особенных судей, которые его
В листах условленных и в цену приведенных
Снабжают мнением о книгах современных!
Дарует между нас и славу и позор
Торговой логикимышленный приговор.
О наших судиях не смею молвить слова,
Но слушай, как честят они один другого:
Товарищ каждого — глупец, невежда, враль;
Поверить надо им, хотя поверить жаль.

Как быть писателю? В пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатный,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники kota и петуха,
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!

Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладкопоющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописный,
Неподражаемый и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Всё под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут победить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!

А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья.
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зреее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных муз беспечного питомца
Прими, философ мой, как старого знакомого.

НЕВЕСТЕ

(А. Я. В.)

Не раз Гимена клеветали:
Его бездушным торговцом,
Брюзгой, ревнивцем и глупцом
Попеременно называли.
Как свет его ни назови,
У вас он будет, без сомненья,
Достойным сыном уваженья
И братом пламенной любви!

1824

Рончельсам

БУРЯ

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пенясь, в прибрежные скалы.

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной розлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.

Когда придет желанное мгновенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран

СТИХОТВОРЕНІЯ

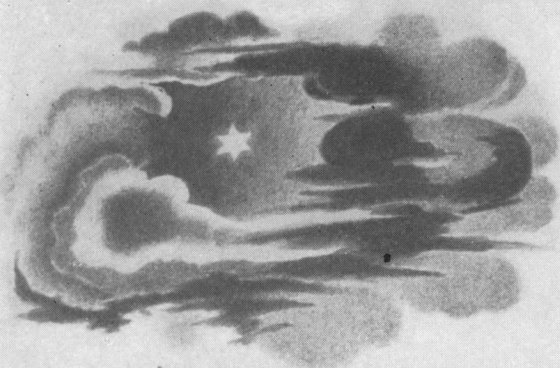
ЕВГЕНІЯ БАРАТЫНСКАГО.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ.

1827.



Звезда

Велани на звезде: много звезде
Въ темномъи кожномъ
Горитъ, блестятъ кругомъи луны
На небеи волубомъи.

Вземени на звезде: междуи нихъ
Какъи всьихъи одна

Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.
Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре молодого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

1824

ЗВЕЗДА

Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна!
За что же? Ранее встает,
Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,
Но с думою глядит,

Но взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверх
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови.

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит.

1824

УВЕРЕНИЕ

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

1824

В АЛЬБОМ СОФИИ

Мила, как грация, скромна,
Как Сандрильона;
Подобно ей, красой она
Достойна трона.
Приятна лира ей моя;
Но что мне в этом?
Быть королем желал бы я,
А не поэтом.

1824(?)

. ЭПИГРАММА

Свои стишки Тощев-пиит
Покроем Пушкина кроит,
Но славы громкой не получит,
И я котенка вижу в нем,
Который, право, непутем
На голос лебедя мяучит.

1824(?)

К ...

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!

1824—1825



Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью
Какой-то адскою любовью горя,
Он незнаком с другою страстью.
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней.
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.

1824—1825

ВЕСЕЛЬЕ И ГОРЕ

Рука с рукой Веселье, Горе
Пошли дорогой бытия;
Но что? поссорилися вскоре
Во всем несходные друзья!
Лишь перекресток улучили,
Друг другу молвили: «прости!»
Недолго розно побродили,
Через день сошлись — в конце пути!

<1825>

Д — ГУ

Я безрассуден — и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
«Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивую забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И пронизательность твоя

Хвалы достойна, верю я;
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор,
И полный неги, полный муки
На мне покоившийся взор;
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она,
И говорю в тоске глубокой:
«Ужель обманут я жестокой?
Или всё, всё в безумном сне
Безумно чудилось мне?»
О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я...»

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: «Горюн неловкой!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?»

Я об обманщице тоскую.
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?»

<1825>

СТАНСЫ

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно;
Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдались отныне!
Готов я с бодрою душой
На всё угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

<1825>

АВРОРЕ Ш.....

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

<1825>

ЗАПРОС М — ВУ

Что скажет другу своему
Любовник пламенный Авроры?
Сияли ль счастьем ему
Ее застенчивые взоры?
Любви заботою полна,
Огнем очей, ланит пыланьем
И персей томных волнованьем
Была ль прямой зарей она,
Иль только северным сияньем?

<1825>

ДОРОГА ЖИЗНИ

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас.
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми роковые
Прогоны жизни платим мы.

<1825>

К* ПРИ ПОСЫЛКЕ
ТЕТРАДИ СТИХОВ**

В борьбе с тяжелою судьбой
Я только пел мои печали, —
Стихи холодные дышали
Души холодною тоской;
Когда б тогда вы мне предстали,
Быть может, грустный мой удел
Вы облегчили б. Нет! едва ли!
Но я бы пламеннее пел.

<1825>

ОЖИДАНИЕ

Она придет! к ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье;
Мы ими счастью вредим
И сокращаем наслажденье.

<1825>

К Д***

На другой день после его женитьбы

Ты распрощался с братством шумным
Бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов,
С бесчинством дружеским веселых их пиров
И с нашим счастьем вольнодумным.
Благовоспитанный, степенный Гименей
Пристойно заменил проказника Амура,
И ветреных подруг, и ветреных друзей,
И сластолюбца Эпикура.

Теперь для двух коварных глаз
Воздержным будешь ты, смешным
и постоянным;
Спасайся, милый!.. Но, подчас,
Не позавидуя окаянным!

1825

Л. С. II — НУ

Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет —
На утренней заре ты юности прекрасной.
Живого чувства полный взгляд,
Уста цветущие, румяные ланиты
Влюбленных песенок сильнее говорят
С душой догадливой Хариты.
Когда с тобой наедине
Порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно печалит
Ее внимание ко мне:
Она торопит пробужденье
Младого сердца твоего
И вынуждает у него
Свидетельство любви, ревнивое мученье.
Что доброго в моей судьбе,
И что я приобрел, красавиц воспевая?
Одно: моим стихом Харита молодая,
Быть может, выразит любовь свою к тебе!
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней,
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умеи!
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспаривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.

1825(?)

ЭПИГРАММА

Что ни болтай, а я великий муж!
Был воином, носил недаром шпагу;
Как секретарь, судебную бумагу
Вам начерню, перебелю; к тому ж
Я знаю свет, — держусь Христа и беса,
С ханжой ханжа, с повесою повеса;
В одном лице могу все лица я
Представить вам! Хотя под старость века,
Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,
Представь лицо честного человека.

<1826>

К АННЕТЕ

Когда Климена подарила
На память это мне кольцо,
Ее умильное лицо,
Ее улыбка говорила:
«Оно твое; когда-нибудь
Сама и вся твоей я буду;
Лишь ты меня не позабуди,
А я тебя не позабуду!»
И через день я был забыт.
Теперь кольцо ее, Аннета,
Твой вечный друг тебе дарит.
Увы, недобрая примета
Тебя, быть может, поразит!
Но неспособен я к измене, —
Носи его и не тужи,
А в оправдание Климене
Ее обеты мне сдержи!

<1826>

НАДПИСЬ

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем бывлых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

<1826>

Д. ДАВЫДОВУ

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!

<1826>

К АМУРУ

Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил,
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскую?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так! спасибо и за то.

<1826>

ЭПИГРАММА

Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье:
«Всё та же песня: ветра свист,
Листов древесных увяданье...»
Понятно нам твоё страданье:
И без того освистан ты,
И так, подвалов достоянье,
Родясь, гниют твои листы.

<1826>

А. А. В — ОЙ

Очарованье красоты
В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
Священной тишиной.

<1826>

НАЯДА

Есть грот: Наяда там в полдневные часы
Дремоте предаёт усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая,
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую, под говор ключевой,
Склоняясь челом, венчанным осокой.

Конец 1826

ЭПИГРАММА

Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их летийские струи —
На пальчиках чернила остаются.

1826

ПЕСНЯ

Когда взойдет денница золотая,
Горит эфир,
И ото сна встает, благоухая,
Цветущий мир,
И славит всё существованья сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи, живая радость,
Тоска ли в ней?

Когда на дев цветущих и приветных,
Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
Глядишь порой,
Глядишь и пьешь их томных взоров сладость;

С душой твоей
Что в пору ту? скажи, живая радость,
Тоска ли в ней?

Страдаю я! Из-за дубравы дальней
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор..
Обманчив он! его живая сладость
Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
То в муку ей.

<1827>

ЭПИГРАММА

И ты поэт, и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Твои стихи в печать выходят,
Его стихи — выходят в свет.

<1827>

К***

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы, —

Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк!
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

<1827>

ЭПИГРАММА

Окогченная летунья,
Эпиграмма-хохотунья,
Эпиграмма-егоза
Трется, вьется средь народа,
И завидит лишь уroda —
Разом вцепится в глаза.

. <1827>

В АЛЬБОМ

Перелетай к веселью от веселья,
Как от цветка бежит к цветку дитя;
Не успевай, за суетой безделья,
Задуматься, подумать и шутя.
Пускай тебя к Кориннам не причислят,
Играй, мой друг, играй и верь мне в том,
Что многие о милой Лизе мыслят,
Когда она не мыслит ни о чем.

<1827>

ЭПИГРАММА

Идиллик новый на искус
Представлен был пред Аполлона.
«Как пишет он? — спросил у муз
Бог беспристрастный Геликона. —
Никак негодный он поэт?»
— Нельзя сказать. — «С талантом?» — Нет;
Ошибок важных, правда, мало;
Да пишет он довольно вяло. —
«Я понял вас; в суде моем
Не озабочусь я нисколько;
Вперед ни слова мне о нем.
Из списков выключить — и только»

<1827>

ЭПИГРАММА

Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другого.
Он всем превратно поражен,
И всё навыворот он видит:
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.

<1827>

В АЛЬБОМ

Когда б избрать возможно было мне
Любой удел, любое счастье в мире,
Я б не хотел быть славным на войне,
Я б не хотел играть на громкой лире,
Я злата бы себе не пожелал;
Но блага все единым именуя,
То дайте мне, богам бы я сказал,
Чем Д. понравиться могу я.

<1827>



ОНА

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластной
Земной любви и прелести земной.

Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.

Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.

Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой —
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.

<1827>

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятия своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон,
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты,
Иль дерзкого ума соображенье,

Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуясь подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.

Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он.
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Всё на земле движением дышало,
Всё на земле как будто ликовало.

Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,
И в бездне вод, сраженный человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещение!

Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом

Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На всё они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всеильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крыльях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? Скрывались в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглухнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье;
Мне слышалось их гладное бляенье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,

Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синяя, вился
И жертвою очистительной дымился.

<1827>

ЖУРНАЛИСТ ФИГЛЯРИН И ИСТИНА

Он точно, он бесспорно,
Фиглярин-журналист,
Марающий задорно
Свой оглашенный лист.
А это что за дура? —
Ведь Истина, ей-ей!
Давно ль его конура
Знакома стала ей?
На чепуху и враки
Чутьем наведена,
Занятиям мараки
Мешать пришла она.

1827

СТАНСЫ

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов

И скромный дом в садовой чаше —
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно? ..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах —
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.

1827

СМЕРТЬ

Смерть дочерью тьмы не назову я
И, раболепную мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косою.

О дочь верховного эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое хранение всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем прохладным дуновеньем
Смирная буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

<1828>

ИЗ А. ШЕНЬЕ

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Всё обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

<1828>

СТАРИК

Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век молодой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня...
Но пролетели дни молодые;
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.

Пускай венок, сплетенный Лелем,
Не обновится никогда, —
Года, увенчанные хмелем,
Еще прекрасные года.

<1828>

ДЕРЕВНЯ

Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь — пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!

<1828>

* * *

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем.
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? — точный смысл народной поговорки.

<1828>

* * *

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник —
Досаден ты: не любят повторений.

С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя. Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

<1828>

* * *

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

<1828>

* * *

Глупцы не чужды вдохновенья;
Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.

<1828>

* * *

Как ревностно ты сам себя дурачишь!
На хлопоты вставая до звезды,
Какой-нибудь да пакостью обозначишь

Ты каждый день без цели, без нужды!
Ты сам себя, и прост и подел вкупе,
Эпитимьей затейливой казнишь,
Заботливо толчешь ты уголь в ступе
И только что лицо свое пылишь.

<1828>

БЕСЕНОК

Слышал я, добрые друзья,
Что наши прадеды в печали,
Бывало, беса призывали;
Им подражаю в этом я.
Но не пугайтесь: подружился
Я не с проклятым сатаной,
Кому душою поклонился
За деньги старый Громобой;
Узнайте: ласковый бесенок
Меня младенцем навещал
И колыбель мою качал
Под шепот легких побасенок.
С тех пор я вышел из пеленок,
Между мужами возмужал,
Но для него еще ребенок.
Случится ль горе, иль беда,
Иль безотчетно иногда
Сгрустнется мне в моей конурке —
Махну рукой: по старине
На сером волке, сивке-бурке
Он мигом явится ко мне.
Больному духу здравьем свистнет,
Бобами думу разведет,
Живой водой веселье вспрыснет,
А горе мертвою зальет.
Когда в задумчивом совете
С самим собой, из-за угла
Гляжу на свет, и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон,
Я слабым сердцем возмущен, —

Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он,
Или, в мгновение зеницы,
Чудесный коврик-самолет
Он подо мною развернет,
И коврик тот в сады жар-птицы,
В чертоги дивной царь-девицы
Меня по воздуху несет.
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель,
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.

Ноябрь 1828

ПРИ ПОСЫЛКЕ „БАЛА“ С. Э.

Тебе ль, невинной и спокойной,
Я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображен преступный жар?

И безобразный и мятежный,
Он не пленит твоей мечты;
Но что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.

Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
От путешественника-друга
Пустыни дальней дикий цвет.

1828

ФЕЯ

Порою ласковую Фею
Я вижу в обаяньи сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;

Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

<1829>

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА

Хвала, маститый наш Зоил!
Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,
Вот Пушкин бесит. Как любим,
Как отличен ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодование приводили;
Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем,
Другие три тебя бесили.

<1829>

* * *

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков,
Но лишь ветер его коснется,
Он исчезнет без следов.

Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.

<1829>

В АЛЬБОМ

Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище,
Он также множеством имен
Самолюбиво испещрен.
Увы! народ добросердечный
Равно туда или сюда
Несет надежду жизни вечной
И трепет страшного суда.
Но я, смиренно признаюся,
Я не надеюсь, не страшуся,
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю.
Философ я; у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.

<1829>

ПОДРАЖАТЕЛЯМ

Когда, печалью вдохновенный,
Певец печаль свою поет,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий кладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет —
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.

В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружен,
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечта
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.

<1829>

МУЗА

Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почитит небрежной похвалой.

<1829>

ЭПИГРАММА

Поверьте мне, Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
«Не должно красть: кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед богом;

Не надобно в суде кривить душой,
Нехорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!»
Ну что ж? Бог с ним! всё это к правде близко,
А может быть, и ново для него.

1829

ЭПИГРАММА

Что пользы вам от шумных ваших прений?
Кипит война; но что же? никому
Победы нет! Сказать ли, почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустыки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски.

1829

Б. А. СВЕРБЕЕВОЙ

В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.

Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?

Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!

1829

ЭПИГРАММА

В восторженном невежестве своем
На свой аршин он славу нашу мерит;
Но позабыл, что нет клейма на нем,
Что одному задору свет не верит.
Как дружеским он вздором восхищен!
Как бешено своим доволен он!
Он хвалится горячею душою.
Голубчик мой! уверься наконец,
Что из глупцов, известных под луною,
Смешнее всех нам пламенный глупец.

1829

ВНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон —
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,

Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.

1829

ЭПИГРАММА

Хотя ты малый молодой,
Но пожилую мудрость кажешь:
Ты слова лишнего не скажешь
В беседе самой распашной;
Приязни глупой с первым встречным
Ты сторяча не заведешь,
К ногам вертушки не падешь
Ты пастушком простосердечным;
Воздержным голосом твоим
Никто крикливо не хвалим,
Никто сердито не осужен.
Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен,
Довольно дюжинной души.

<1830>

Люблю я красавицу
 С очами лазурными:
 О! в них не обманчиво
 Душа ее светится!
 И если прекрасная
 С любовью томною
 На милом покоит их,
 Он мирно блаженствует,
 Вовек не смутит его
 Сомненье мятежное.
 И кто не доверится
 Сиянью их чистому,
 Эфирной их прелести,
 Небесной души ее
 Небесному знамению?

Страшна мне, друзья мои,
 Краса черноокая;
 За темной завесою
 Душа ее кроется,
 Любовник пылает к ней
 Любовью тревожною
 И взорам двусмысленным
 Не смеет довериться.
 Какой-то недобрый дух
 Качал колыбель ее:
 Одедася тьмой она,
 Вспылала причудою,
 Закралося в сердце к ней
 Лукавство лукавого.

<1830>

ЭПИГРАММА

«Он вам знаком. Скажите, кстати,
 Зачем он так не терпит знати?»
 — Затем, что он не дворянин. —
 «Ага! нет действий без причин.

Но почему чужая слава
Его так бесит?» — Потому,
Что славы хочется ему,
А на нее бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он. — «Вот что!»

1830

ЭПИГРАММА

Писачка в Фебов двор явился.
«Довольно глуп он! — бог шепнул. —
Но самоучкой он учился, —
Пускай присядет; дайте стул».
И сел он чванно. Нектар носят,
Его, как прочих, кушать просят;
И нахлебался тотчас он,
И загорланил. Но раздался
Тут Фебов голос: «Как! зазнался?
Эй, Надоумко, выведь вон!»

1830

* * *

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра золотая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но всё проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

1831

МОЙ ЭЛИЗИЙ

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущий старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

1831

ОТРЫВОК

Он

Под этой липою густою
Со мною сядь, мой милый друг;
Смотри, как живо всё вокруг!
Какой зеленой пеленою
К реке нисходит этот луг!
Какая свежая дуброва
Глядится с берега другого
В ее веселое стекло!
Как небо чисто и светло!
Всё в тишине; едва смущает
Живую сень и чуткий ток
Благоуханный ветерок, —
Он сердцу счастье навевает!
Молчишь ты?

Она

О любезный мой!
Всегда я счастлива с тобой
И каждый миг равно ласкаю.

Он

Я с умиленною душой
Красу творенья созерцаю.
От этих вод, лесов и гор
Я на эфирную обитель,
На небеса подъямлю взор
И думаю: велик зиждитель,
Прекрасен мир! Когда же я
Вспомню тою же порою,
Что в этом мире ты со мною,
Подруга милая моя. . .
Нет сладким чувствам выраженья,
И не могу в избытке их
Невольных слез благодаренья
Остановить в глазах моих.

Она

Воздай тебе создатель вечный!
О чем еще его молить!
Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.

Он

Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренье
Пленяет свет веселый дня,
Пленяет божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю. . .
А завтра. . . завтра. . . как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный! . . Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!
Вотще к устам моим прильнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовешь —
Я не проснусь! И что мы знаем?
Не только завтра, сей же час

Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве не смущаем
Такою думой?

Она

Что с тобой?

Зачем твое воображенье
Предупреждает провиденье?
Бог милосерд, друг милый мой!
Здоровы, молоды мы оба,
Еще далеко нам до гроба.

Он

Но всё ж умрем мы наконец,
Все ляжем в землю.

Она

Что же, милый?

Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его творец.
Спокойны будем: нет сомненья,
Мы в жизнь другую перейдем,
Где нам не будет разлученья,
Где все земные опасенья
С земною пылью отряхнем.
Ах! как любить без этой веры!

Он

Так, всемогущий без нее
Нас искушал бы выше меры;
Так, есть другое бытие!
Ужели некогда погубит
Во мне он то, что мыслит, любит,
Чем он созданье довершил,
В чем, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил он отраженьем
И сам себя изобразил?
Ужели творческая сила
Лукавым светом бытия
Мне ужас гроба озарила,
И только?.. Нет, не верю я.
Что свет являет? Пир нестройный!

Презренный властвует; достойный
Поник гонимую главой;
Несчастлив добрый, счастлив злой.
Как! не терпящая смешенья
В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость божества?
Как! между братьями своими
Мы видим правых и благих,
И, превзойден детьми людскими,
Неправ, не благ создатель их? ..
Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья;
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается незримый
Пред нашим сердцем и умом.

О н а

Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?
Премудрость высшего творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдем; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.

1831

* * *

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.

Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал;
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласие захотел.

1831

Н. М. ЯЗЫКОВУ

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда от бурных увлечений
Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;

Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит всё своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастья поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы музы молодой.

1831

ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, счастливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятым божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вождельенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает;
Лишь для любовника она
Наряд Менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру,
Наперснице души твоей
Дай диадиму и порфиру;

Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познаёт
Мою царицу и свою.

1831

* * *

Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыв холмы,
Луга и доли.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Всё цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушующий,
И небо кроет
Седую мглой.

Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лёта?
Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.

В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой,
И забываю
Я бури вой.

О провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бури бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней,
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Ее согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,
Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.

1831(?)

* * *

Мой неискусный карандаш
Набросил вид суровый ваш,
Скалы Финляндии печальной;
Средь них, средь этих голых скал,
Я, дни весны моей опальной
Влача, душой изнемогал.
В отчизне я. Перед собою
Я самовольною мечтою
Скалы изгнанья оживил
И, их рассеянно рисуя,

Теперь с улыбкою шепчу я:
Вот где унылый я бродил,
Где, на судьбину негодуя,
Я веру в счастье отложил.

1831(?)

ЭПИГРАММА

Кто неприменный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?
Завистник неприменный мой?
Тут думать нечего: — родной!
Нам чаще друга враг полезен, —
Подлунный мир устроен так;
О, как же дорог, как любезен
Самой природой данный враг!

1832

НА СМЕРТЬ ГЕТЕ

Предстала, и старец великий смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном всё земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалея,
Что гения череп — наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На всё отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Всё дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья;

Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведен, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век,
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждет ничего, —
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзвуках сполна
Всё дольное долу отдавший,
К предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.

1832

А. А. ФУКСОВОЙ

Вы ль дочь Евы, как другая,
Вы ль, перед зеркалом своим
Власы роскошные вседневно убирая,
Их блеском шелковым любясь перед ним,
Любуясь ясными очами,
Обворожительным лицом
Блестящей грации, пред вами
Живописуемой услужливым стеклом, ·
Вы ль угадать могли свое предназначенье?
Как, вместо женской суеты,
В душе довольной красоты
Затрепетало вдохновенье?

Прекрасный, дивный миг! Возликовал Парнас,
Хариту, как сестру, камни окружили,
От мира мелочей вы взоры отвратили:

Открылся новый мир для вас.

Мы встретились в нем. Блестящими стихами
Вы обольстительно приветили меня.
Я знаю цену им. Дарована судьбами

Мне искра вашего огня.

Забуду ли я вас? забуду ль ваши звуки?
В душе признательной отозвались они.

Пусть бездну между нас раскроет дух разлуки,

Пускай летят за днями дни —

Пребудет неразлучна с вами

Моя сердечная мечта,

Пока пленяюся я лирными струнами,
Покуда радуется мне душу красота.

1832

МАДОННА

В Италии где-то, но в поле пустом
(Не зрелось жилья на полмили кругом)

Меж древних развалин стояла лачужка,
С молоденькой дочкой жила в ней старушка.

С рассвета до ночи за тяжким трудом,
А все-таки голод им часто знаком.

И дочка порою душой унывала;
Терпеньем скудея, на бога роптала.

«Не плачь, не кручинься ты, солнце мое! —
Тогда утешала старушка ее. —

Не плачь, переменится доля крутая:
Придет к нам на помощь Мадонна святая.

Да лик ее веру в тебе укрепит,
Смотри, как приветно с холста он глядит!»

Старушка смиренная с речью такою,
Бывало, крестилась дрожащей рукою,

И с теплою верою в сердце простом
Она с умиленным и кротким лицом

На живопись темную взор подымала,
Что угол в лачужке без рам занимала.

Но больше и больше нужда их теснит;
Дочь плачет и ропщет, старушка молчит.

С утра по руинам бродил любопытный:
Забывая, красе их дивясь, ненасытный.

Кров нужен ему от полдневных лучей:
Стучится к старушке, и входит он к ней.

На лавку садился пришлец утомленный,
Но вспрянул, картиною вдруг пораженный.

«Божественный образ! чья кисть это, чья?
О, как не узнать мне! Корреджий, твоя!

И в хижине этой творенье таится,
Которым и царский дворец возгордится!

Старушка, продай мне картину свою,
Тебе за нее я сто пиастров даю».

— Синьор, я бедна, но душой не торгую;
Продать не могу я икону святую. —

«Я двести даю, согласися продать».

— Синьор, синьор! бедность грешно искушать. —

Упрямота не мог победить он в старушке,
Осталась картина в убогой лачужке.

Но вскоре потом по Италии всей
Летучая весть разнеслася о ней.

К старушке моей гость за гостем стучится,
И, дверь отворяя, старушка дивится.

За вход она малую плату берет
И с дочкой своею безбедно живет.

Так, веру и гений в едино сливая,
Равно оправдала их дева святая.

1832(?)

КОЛЬЦО С. Э — Т

«Дитя мое, — она сказала, —
Возьмешь иль нет мое кольцо? —
И головою покачала,
С участием глядя ей в лицо. —

Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое,
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.

Но договор судьбой ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,
И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.

Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.

Вотще ей разум, дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским

Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.

Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:
Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо».

Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою веселой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелый
Всезабывающей любви.

И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.

<1833>

* * *

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных берегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветер не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем,
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желанья со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля

Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

<1833>

* * *

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала;
Она словам моим внимала
С тупым, бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил...
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалась глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девою идеальной!
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.

<1833>

* * *

Наслаждайтесь: всё проходит!
То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и к бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красоты,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.

Не ропщите: всё проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит

Нас суровая беда.
И веселью и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

<1834>

* * *

Храни свое неопасенье,
Свою неопытность лелей;
Перед тобою много дней,
Еще уловишь размышленье.
Как в Смольном цветнике своем,
И в свете сердцу будь послушной,
И монастыркой благодушной
Останься долго, долго в нем.
Пусть, для тебя преобразуем
Игрой младенческой мечты,
Он век не рознит с тихим раем,
В котором расцвела ты.

<1834>

* * *

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

<1834> .

* * *

Я не любил ее, я знал,
Что не она поймет поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа;
Чего ж, безумец, в ней искал?
Зачем стихи мои звучали
Ее восторженной хвалой
И малодушно возвещали
Ее владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умилением
Ей все мечты души моей? ..
Туман упал с моих очей,
Ее бегу я с отвращеньем!
Так, омраченные вином,
Мы недостойному порою
Жмем руку дружеской рукою,
Приветствуем его с ослабленным лицом,
Красноречиво изливаем
Все думы сердца перед ним;
Ошибки темное сознание храним,
Но блажь досадную напрасно укрощаем
Умом взволнованным своим.
Очнувшись, странному забвению дивимся,
И незаконного наперсника стыдимся,
И от противного лица его бежим.

<1834>

* * *

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

<1834>

* * *

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне;
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу;
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.

<1834>

* * *

О мысль! тебе удел цветка:
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,
И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек —
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забывт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.

<1834>

Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были — средь буйственного
стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана, —
Всегда уносимся мы думою своей;
Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
И вежды старые сомкнуть
Последним, вечным сном желаем.

.
.
.
.
.
.
.
.

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж роц своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах
шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг
широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не кладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на всё, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дерном гробовым:
Воспоминанием живым
Не разлучимся мы с тобою!

Мы плачем. . . но прости! Печаль любви сладка.
Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
Сухая скорбь разуверенья.

<1834>

К. А. ТИМАШЕВОЙ

Вам всё дано с щедротою пристрастной
Благоволительной судьбой:
Владеете вы лирой сладкогласной
И ей созвучной красотой.
Что ж грусть поет блестящая певица?
Что ж томны взоры красоты?
Печаль, печаль — души ее царица,
Владычица ее мечты.
Вам счастья нет, иль на одно мгновенье
Блеснувши, луч его погас;
Но счастлив тот, кто слышит ваше пенье,
Но счастлив тот, кто видит вас.

<1834>

* * *

Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет

На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!

Зачем так радует ее
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он, дивный, унесет!

<1834>

* * *

Своенравное прозвание
Дал я милой в ласку ей,
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.

Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милый,
Здесьних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.

<1834>

ЗАПУСТЕНИЕ

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень,
 Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов, —
 Под очарованный твой кров
 Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли деревья
 И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые, волнуясь, шумели;
 С прохладой резко дышал
 В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
 А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы, рука его изглажена годами!

Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады;
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней. . .
Вотще! лишенные хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травой,
Приют хозяйственный в нем улья обрели,
И легкая тропа исчезла предо мною.
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот по-прежнему, лесистым косогором,
Дорожка смелая ведет меня. . . обвал
Вдруг поглотил ее. . . Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут оазрушеньем
И угрожаешь уж паденьем,
Бывало, в летний зной прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безыменной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне;

Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
 Где разрушения следов я не примечу,
 Где в сладостной тени невянущих дубров,
 У нескудеющих ручьев,
 Я тень, священную мне, встречу.

ВНЯЗЮ ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ВЯЗЕМСКОМУ

Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия.
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя,
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви добра и красоты.

Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, —
Еще, порою, покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.

Ищу я вас; гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами
И светом высшего огня?
Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благодати молю,
От вас отвлекь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

1834

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла;
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз,
Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы —
Возник Поэт, — идет он и поет.

Воспеваает, простодушный,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей;
Как пажити Эол бурнопогодный,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подымается от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Жарким сердцем покоримся
Думам хладным, а не им!
Верьте сладким убеждениям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!

Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста вещать полуотверсты,
Но гордые главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет

Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет!

Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. голос волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И по-прежнему блистает
Хладной роскошью свет,
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

<1835>

* * *

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,

Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.

<1841>

НОВИНСКОЕ

А. С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви — для вдохновенья.

1826, 1841

ПРИМЕТЫ

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;

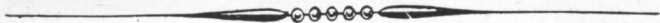
Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала,
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирьсь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.

СУМЕРКИ.

СОЧИНЕНІЕ

Евгенія Боратынскаго.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФИИ А. СЕВЕРНА,
ПРИ Императорской Медико-Хирургической Академіи
1842

На путь ему выбежав из лесу волк,
Крутясь и подъявля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним,
Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но, чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий. . .
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

<1839>

* * *

Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!

<1840>

* * *

Увы! Творец не первых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописание!

Неаполь возмутил рыбарь,
И, власть прияв, как мудрый царь,
Двенадцать дней он градом правил;
Но что же? — непривычный ум,
Устав от венценосных дум,
Его в тринадцатый оставил.

1838(?)

НЕДОНОСОК

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Блещет солнце — радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко;
Пью счастливо воздух тонкой,
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.

Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный
Омрачивших, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!

Обращусь ли к небесам,
Оглянусь ли на землю —
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъямлю.

Смутно слышу я порой
Клич враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!

Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

<1835>

АЛКИВИАД

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
Дланью слегка приподняв кудри золотые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;

И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

1838(?)

БОКАЛ

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл. . .
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин, —
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,
Всё твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струю вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой.

Мой восторг неосторожный
Не обидит никого;
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего;
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй
Иль отравы бытия;

Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой;
Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк —
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченьи
Общежительных страстей —
В одиноком упоеньи
Мгла падет с его очей!

<1835>

* * *

Были бури, непогоды,
Да молодые были годы!

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;

Вольной песнью разольется,
Скорбь-невзгода распоеется!

А как век-то, век-то старый
Обручится с лютой карой,

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый,

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

1839

* * *

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

<1840>

КОТТЕРИЕ

Братайтесь, к взаимной обороне
Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в притоне,
Бездарные писцы-хлопотуны!

Наоборот, союзным на благое,
Реченного достойные друзья,
«Аминь, аминь, — вещал он вам, — где трое
Вы будете — не буду с вами я».

1842

АХИЛЛ

Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту
И кипящего Ахилла
Бою древнему явила
Уязвимым лишь в пятю.

Обречен борьбе верховной,
Ты ли, долею своею
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!

<1841>

* * *

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;

Болтунья старая, затем
Она, подъяема крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

<1837>

* * *

Еще, как патриарх, не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложение!
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменьи ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,
В залог румяных дней и доли благодатной.

1839

* * *

Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы,
Людских сует, забот юдольных.

Ощупай возмущенный мрак —
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак,
И заблужденыю чувств твой ужас улыбнется.

О сын фантазии! ты благодатных фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей!
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:

Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обитатели духов откроются врата.

<1839>

* * *

Здравствуй, отрок сладкогласный!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему пииту!
Малолетнюю хариту
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жавронок живой,
Чуткой грудью своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!

<1841>

* * *

Что за звуки? Мимходом
Ты поешь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз Камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безымянной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! слышу чувство
В сильной песни... Но искусство...
Старцев старее оно;
Эти радости, печали —
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горном клире,
Звучен будет голос твой!

<1841>

* * *

Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным; за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

<1840>

СКУЛЬПТОР

Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожденный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный

Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

<1841>

ОСЕНЬ

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зеркале выбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла вьется вокруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои серебристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол;
Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист ее падучий,

И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

8

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

4

А между тем досужий селянин
Плод годовых трудов собирает;
Сметав в стога скошенный злак долин,
С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
Снопы стоят в копнах блестящих
Иль тянутся, вдоль жнивы, на возах,
Под тяжелой ношею скрипящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

5

Дни сельского, святого торжества!
Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова
Ожившей мельницы крутятся.
Иди, зима! на строги дни себе
Припас орадай много блага:
Отрадное тепло в его избе,
Хлеб-соль и пенистая брага;
С семьей своей вкусит он без забот
Своих трудов благословенный плод!

А ты, когда вступаешь в осень дней,
 Оратай жизненного поля,
 И пред тобой во благостыне всей
 Является земная доля;
 Когда тебе житейские бразды,
 Труд бытия вознаграждая,
 Готовятся подать свои плоды
 И спеет жатва дорогая,
 И в вернах дум ее собираешь ты,
 Судеб людских достигнув полноты, —

7

Ты так же ли, как земледел, богат?
 И ты, как он, с надеждой сеял;
 И ты, как он, о дальнем дне наград
 Сны позлащенные лелеял...
 Любишь же, гордишь восставшим им!
 Считаешь свои приобретения!..
 Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
 Тобой скопленные презренье,
 Язвительный, неотразимый стыд
 Души твоей обманов и обид!

8

Твой день взошел, и для тебя ясна
 Вся дерзость юных легковерий;
 Испытана тобою глубина
 Людских безумств и лицемерий.
 Ты, некогда всех увлечений друг,
 Сочувствий пламенный искатель,
 Блестательных туманов царь — и вдруг
 Бесплодных дебрей созерцатель,
 Один с тоской, которой смертный стон
 Едва твоей гордыней задушен.

9

Но если бы негодованья крик,
 Но если б вопль тоски великой

Из глубины сердечныя возник
Вполне торжественный и дикой, —
Костями бы среди своих забав
Содроглась ветреная младость,
Играющий младенец, зарыдав,
Игрушку б выронил, и радость
Покинула б чело его навек,
И живо б в нем умер человек!

10

Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спеши, хозяин тороватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!
Каким разнообразьем брашен
Блестает он! . . . Но вкус один во всех,
И, как могила, людям страшен;
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

11

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревание —
Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум бесполезный сердца трепет
Угломнит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад.

12

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя невдали,
Цветущий брег за мглою черной,
Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным,

И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий, как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой, —

18

Пред промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем, —
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

14

Вот буйственно несется ураган,
И лес подьметлет говор шумный,
И пенится, и ходит океан,
И в берег бьет волной безумной;
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

15

Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая;
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в высотах эфира

Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

16

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
Все образы години бывшей
Сравниются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей, —
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

1836—1837

* * *

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердце людских пред нами обнаживший.
Две области — сияния и тьмы —
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

<1839>

РИФМА

Когда на играх олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец муз, он пел среди валов
Народа, жадного восторгов мусикийских, —
В нем вера полная в сочувствие жила.

Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.

Толпа вниманием окована была,
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца
И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем.
Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил, и славословил он
Или оплакивал народную фортуна,
И устремлялися все взоры на него,
И силой слова своего

Вития властвовал народным произволом, —
Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форум!..
Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума.
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый!
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного берега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

ЗВЕЗДЫ

Мою звезду я знаю, знаю,
И мой бокал
Я наливаю, наливаю,
Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
Смеюся я:
Живет не здесь — в звездах Моэта
Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
Уста мои,
Не нужно мне ни звезд небесных,
Ни звезд Аи!

<1839>

ОБЕДЫ

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
Привел обед в счастливое брожение,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтесь, чтоб гости за столом,
Не менее харит своим числом,
Числа камен у вас не превышали.

<1839>



На всё свой ход, на всё свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха непутем:
Салоны есть, — но этот смотрит детской,
А тот, увы! глядит гошпиталем.

1840(?)

С КНИГОЮ „СУМЕРКИ“

С. Н. К.

Сближеньем с вами на мгновенье
Я очутился в той стране,
Где в оны дни воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный сумерки мои.

1842



Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я, не усталый, но ленивый,
Уж пил летийские струи.

Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,
Остановили на закате
Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,
И человеческим сынам
Досель безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!

1842(?)

МОЛИТВА

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

1842 или 1843

* * *

Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках
остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит, —

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудью восстонет,

И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто! — но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.

<1843>

НА ПОСЕВ ЛЕСА

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей молодой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольный мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит, —
К ее сынам еще взывает лира.

Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос,
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!

И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети.

1843(?)

* * *

Люблю я вас, богини пенья,
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья, —
Предтечей жизненных невзгод.

Любовь камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! Боюсь я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили вновь перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От музыки, ласковой ко мне.
И говорю: до завтра, звуки,
Пусть день угаснет в тишине.

<1844>

* * *

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,
В нем таинство печали полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нем чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.

1844

ПИРОСКАФ

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роят волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилища,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбацья качается в море, —
С берегом набережное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных вол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,

Кротко шадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

1844

ДЯДЬКЕ-ИТАЛЬЯНЦУ

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлечшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на всё пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе коё-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Ты дал мне благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
Ментора моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,
Где волею небес узнал я бытие,

О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,
Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.

Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнью ее сливая жизнь свою,
Ее событиями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.
Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал;
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее, порой, с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет
И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра,
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатом,
Входящих (вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов),
В густой пыли побед, в грозе небритых бород,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где год спустя тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный кондотьер,
Уж зиждущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революционных фраз.
Народ ему зажег приветственные площадки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес;
Едва ты узнику печальному британца
Простил военную систему корсиканца.

Что на твоём веку, то ль благо, то ли зло,
Возникло, при тебе — в преданье перешло:
В Альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталый,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненной чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей!
Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой, — амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов,
И ужасов и нег взлелеял эпопею,
Где в мраки Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволенья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.

Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдохов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный, среди твоих красот
Не жаждал в их раю обрести навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для
тревоги,

Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном.

И в сей Италии, где всё — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безымянный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно, —
Всё беззаботному блаженству благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших व्यюг,
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крыльях зефира!

О тайны душ! меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,
Напрасно! (уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала) —
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна гоших мхов, степей и древ иглистых!
О, спи! безгрешно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем.

**СТІХОТВОРЕННЯ,
ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА
НЕ ПЕЧАТАВШІСЯ**

**ХОР, ПЕТЫЙ В ДЕНЬ ИМЕНИИ
ДЯДЕНЬКИ БОГДАНА АНДРЕЕВИЧА
ЕГО МАЛЕНЬКИМИ ПЛЕМЯННИЦАМИ
ПАНЧУЛИДЗЕВЫМИ**

Родству приятни нежной
Мы глас приносим сей,
В ней к счастью путь надежный,
Вся жизнь и сладость в ней.

Хоть чуждо нам искусство
С приятством говорить,
Но сердца могут чувства
Дар тщетный заменить.

Из благ богатых света
Усердьем лишь одним,
Чем можем в детски лета,
Мы праздник сей почтим.

Весны в возобновленьи!
Средь рощей, средь полей
Так птички возвращенье
Поют цветущих дней!

Увы! теперь природы
Уныл, печален вид;
Хлад зимней непогоды
Небесный кров мрачит.

И в вѣдро и в ненастье
Гнетут печаль злых, —

Но истинное счастье
Нигде, как в нас самих.

Смотрите, как сияет
Во всех усердья дух,
Как дышит всё, блистает
Веселостью вокруг.

Средь грозных бурь смятений,
Хоть гром вдали шумит,
Душевных наслаждений
Ничто не возмутит.

Хоть время неозвратно
Всех благ лишает нас,
Увы! хоть слишком внятно
Судеб сей слышен глас, —

О, пусть всегда меж нами
Жизнь ваша лишь течет,
И дружба под цветами
Следы сокроет лет.

Начало 1810-х годов (?)

МОЯ ЖИЗНЬ

Люблю за дружеским столом
С моей семьею домовитой
О настоящем, о былом
Поговорить душой открытой.

Люблю пиров веселый шум
За полной чашей райской влаги,
Люблю забыть для сердца ум
В пылу вакхической отваги.

Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости младой
Разнообразить наслажденья.

1818—1819(?)

- * * *

Полуразрушенный, я сам себе не нужен,
И с девой в сладкий бой вступаю безоружен.

1818—1819(?)

* * *

Мы будем пить вино по гроб
И верно попадем в святые:
Нам явно доказал потоп,
Что воду пьют одни лишь злые.

1818—1819(?)

* * *

Здесь погребен армейский капитан.
Он честно жил и грешен не во многом:
Родился, спал и умер пьян —
Вот весь ответ его пред богом.

1818—1819(?)

* * *

В пустых расчетах, в грубом сне
Пускай другие время губят.
Честные люди, верьте мне,
Меня и жизнь мою полюбят.

1818—1819(?)

* * *

Так, он ленивец, он негодник,
Он только что поэт, он человек пустой;
А ты, ты ябедник, шпион, торгаш и сводник...
О! человек ты деловой.

1820(?)

* * *

Я унтер, други! Точно так,
Но не люблю я бить баклуши,
Всегда исправен мой тесак,
Так берегите уши!

1822(?)

В АЛЬБОМ

Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы...
Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал цитерский бог, —
Тогда я дал бы сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участию
Мне тайный голос не велит...
И удивление, по счастью,
От стрел любви меня хранит.

1822(?)

НА СМЕРТЬ СОБАКИ

Мой добрый пес, ты кончил уж свой век!
Я в жизни знал тебя мошенником и вором.
Когда б ты был не пес, а человек,
Ты б окошел наверно

1822(?)

* * *

Младые грации сплели тебе венок
И им стыдливую невинность увенчали.
В него вплести и мне нельзя ли
На память миртовый листок?
Хранимый дружбою, он, верно, не увянет,
Он лучших чувств моих залогом будет ей;
Но друга верного и были прежних дней
Да поздно милая вспомянет.
Да поздно юных снов упратит легкий рой
И скажет в тихий час случайного раздумья:
«Не другом красоты, не другом остроумья —
Он другом был меня самой».

1823—1824(?)

* * *

Когда придется как-нибудь
В досужный час вспомянуть
Вам о Финляндии суровой,
О финских чудных щеголях,
О их безужинных балах
И о Варваре Аргуновой —
Не позабудьте обо мне,
Поэте сиром и безродном,
В чужой, далекой стороне,
Сердитом, грустном и голодном.
А вам, Анеточка моя,
Что пожелать осмелюсь я?
О! наилучшего, конечно:
Такой пребыть, какою вас
Сегодня вижу я на час,
Какою помнить буду вечно.

1824

* * *

Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои.
Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов — еще любил кулачные бои?

1825

* * *

Простите, спору невпопад
Я с вашей музою прелестной;
Но мне Парни ни сват, ни брат,
Совсем не он отец мой крестный.
Он мне, однако же, знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, не спору в том,
Был вместе с вами мой учитель.

1825

* * *

Я был любим, твердила ты
Мне часто нежные обеты,
Хранят бесценные мечты
Слова, душой твоей согреты;
Нет, не могу не верить им,
Я был любим, я был любим!

Всё тот же я, любви моей
Судьба моя не изменила;
Я помню счастье прежних дней,
Хоть, может быть, его забыла,
Забыла милая моя, —
Но тот же я, всё тот же я!

К свиданью с ней мне нет пути.
Увы! когда б предстал я милой, —

Конечно, в жалость привести
Ее бы мог мой взор унылый.
Одна мечта души моей —
Свиданье с ней, свиданье с ней.

Хитра любовь: никак она
Мне мой романс теперь внушает;
Ее волнения полна,
Моя любезная читает,
Любовью прежней дышит вновь.
Хитра любовь, хитра любовь!

1825

* * *

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья и сказанья,
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод:
«Срамец! срамец! — все шепчут, — вот
извесье!»

— Эх, не тужи! уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье.

1826

* * *

Откуда взял Василий непотешный
Потешного Буянова? Хитрец
К лукавому прибег с мольбою грешной.
«Я твой, — сказал, — но будь родной отец,
Но помоги». — Плодятся без усилья,
Горят, кипят зазорные стихи,
И складные страницы у Василья
Являются в тетрадах чепухи.

1826

* * *

Хотите ль знать все таинства любви?
Послушайте девицу пожилую:
Какой огонь она родит в крови!
Какую власть дарует поцелую!
Какой язык пылающим очам!
Как миг один рассудок побеждает, —
По пальцам всё она расскажет вам.
— Ужели всё она по пальцам знает?

1826

* * *

Убог умом, но не убог задором,
Блестящий Феб, священный идол твой
Он повредил: попачкал мерным вздором
Его потом и восхищен собой.
Чему же рад нахальный хвастунишка?
Скажи ему, правдивый Аполлон,
Что твой кумир разбил он, как мальчишка,
И, как щенок, его загадил он.

1826

* * *

Прости, мой милый! так создать
Меня умела власть господня:
Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!

1827

С. Л. ЭНГЕЛЬГАРТ

Нежданное родство с тобой даруя,
О, как судьба была ко мне добра!
Какой сестре тебя уподоблю я,
Ее рукой мне данная сестра!

Казалось, любовь в своем пристрастии
Мне счастье дала до полноты;
Умножила ты дружбой это счастье,
Его могла умножить только ты.

1830 (?)

* * *

Не растравляй моей души
Воспоминанием былого;
Уж я привык грустить в тиши,
Не знаю чувства я другого.
Во цвете самых пылких лет
Всё испытать душа успела,
И на челе печали след
Судьбы рука запечатлела.

1832(?)

Н. Е. Б. . . .

Двойною прелестью опасна,
Лицом задумчива, речами весела,
Как одалиска, ты прекрасна,
И, как пастушка, ты мила.
Душой невольно встрепется,
Кто на красавицу очей ни возведет:
Холодный старец улыбнется,
А пылкий юноша вздохнет.

1832(?)

* * *

Вот верный список впечатлений
И легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.

Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Всё, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя и ото света...
Но уж свое они рекли,
А что прошло, то непреложно.
Года волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытие.
Одно желание мое —
Покой, домашние отрады.
И, погружен в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? с бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

1834(?)

НА ***

В руках у этого педанта
Могильный заступ, не перо,
Журнального негоцианта
Как раз подроеет он бюро.
Он громогласный запевала,
Но запевала похорон...
Похоронил он два журнала,
И третий похоронит он.

1840

* * *

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упавших чертогов колонны!

1843(?)

ПОЭМЫ

ПИРЫ

Друзья мои! я видел свет,
На всё взглянул я верным оком.
Душа полна была сует,
И долго плыл я общим током...
Безумству долг мой заплачён,
Мне что-то взоры прояснило;
Но, как премудрый Соломон,
Я не скажу: всё в мире сон!
Не всё мне в мире изменило:
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком,
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.

Признаться каждый должен в том,
Любовник, иль поэт, иль воин, —
Лишь беззаботный гастронм
Названья мудрого достоин.
Хвала и честь его уму!
Дарами нужными ему
Земля усеяна роскошно.
Пускай герою моему,
Пускай, друзья, порою тошно,
Зато не грустно: горя чужд
Среди веселостей вседневных,
Не знает он душевных нужд,
Не знает он и мук душевных.

Трудясь над смесью рифм и слов,
Поэты наши чуть не плачут;
Своих почтительных рабов
Порой красавицы дурачат;
Иной храбрец, в отцовский дом
Явясь уродом с поля славы,
Подозревал себя глупцом;
О бог стола, о добрый Ком,
В твоих утехах нет отравы!
Прекрасно лирою своей
Добиться памяти людей;
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться; но, ей-ей,
Друзья, обедать безопасней!

Как не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольный,
Не золоченые главы,
Не гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленили своевольный.
Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство
Их продолжительных пиров,
Богатой знати хлебосольство
И дарованья поваров.
Там прямо веселы беседы;
Вполне уважен хлебосол;
Вполне торжественны обеды;
Вполне богат и лаком стол.
Уж он накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен
И беззаботными гостями
С благоговеньем окружен.
Еще не сели; всё в молчаньи;
И каждый гость вблизи стола
С веселой ясностью чела
Стоит в роскошном ожиданьи,
И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюда,
Златых плодов, десерта груды...
Зачем удел мой слабый дар!

Но так весной ряды курганов
При пробужденных небесах
Сияют в пурпурных лучах
Под дымом утренних туманов.
Садятся гости. Граф и князь —
В застольном деле все удалы,
И осушают, не лентясь,
Свои широкие бокалы;
Они веселье в сердце льют,
Они смягчают злые толки;
Друзья мои, где гости пьют,
Там речи вздорны, но не колки.
И начались чудеса:
Смешались быстро голоса;
Собрание глухо зашумело;
Своих собак, своих друзей,
Певцов, героев хвалят смело;
Вино разнежило гостей
И даже ум их разогрело.
Тут всё торжественно встает,
И каждый гость, как муж толковый,
Узнать в гостиную идет,
Чему смеялся он в столовой.

Меж тем одним ли богачам
Доступны праздничные чаши?
Немудрены пирушки наши,
Но не уступят их пирам.
В углу безвестном Петрограда,
В тени деревьев, во мраке сада,
Тот домик помните ль, друзья,
Где наша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным богом
Делила радостный досуг?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блески острых слов,
И веки сердце проживало
В немного пламенных часов.
Стол покрывала ткань простая;
Не восхищались на нем

Мы ни фарфорами Китая,
Ни драгоценным хрусталем;
И между тем сынам веселья
В стекло простое бог похмелья
Лил через край, друзья мои,
Свое любимое Аи.
Его звездащаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена,
Рвет пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.
Мы в ней заботы потопляли,
И средь восторженных затей
«Певцы пируют! — восклицали, —
Слепая чернь, благоговей!»

Любви слепой, любви безумной
Тоску в душе моей тая,
Насилу, милые друзья,
Делить восторг беседы шумной
Тогда осмеливался я.
«Что потакать мечте унылой, —
Кричали вы. — Смелее пей!
Развеселись, товарищ милый,
Для нас живи, забудь о ней!»
Вдохнув, рассеянно послушный,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывались печали,
И задрожавшие уста
«Бог с ней!» невнятно лепетали.

И где ж изменница-любовь?
Ах, в ней и грусть — очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!

Разлучены судьбою строгой, —
И каждый с ропотом вздохнул,
И брату руку протянул,
И вдаль побрел своей дорогой;
И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь бывшее пролетает,
Или за трапезой чужой
Свои пиры вспоминает.

О, если б, теплою мольбой
Обезоружив гнев судьбины,
Перенестись от скал чужбины
Мне можно было в край родной!
(Мечтать позволено поэту.)
У вод домашнего ручья
Друзей, разбросанных по свету,
Соединил бы снова я.
Дубравой темной осененный,
Родной отцам моих отцов,
Мой дом, свидетель двух веков,
Поникнул кровлею смиренной.
За много лет до наших дней
Там в чаши чашами стучали,
Любили пламенно друзей
И с ними шумно пировали. . .
Мы, те же сердцем в век иной,
Сберемтесь дружеской толпой
Под мирный кров домашней сени:
Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой,
Мой брат по музам и по лени,
Ты, Пушкин наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
И лучшим гостем за бутылкой.
Вы все, делившие со мной
И наслажденья и мечтанья,
О, поспешите в домик мой
На сладкий пир, на пир свиданья!

Слепой владычицей сует
От колыбели позабытый,
Чем угостит анахорет,
В смиренной хижине укрытый?
Его пустынный обед
Не будет лакомый, но сытый.
Веселый будет ли, друзья?
Со дня разлуки, знаю я,
И дни и годы пролетели,
И разгадать у бытия
Мы много тайного успели;
Что ни ласкало в старину,
Что прежде сердцем ни владело —
Подобно утреннему сну,
Всё изменило, улетело!
Увы! на память нам придут
Те песни, за веселой чашей,
Что на Парнасе берегут
Преданья молодости нашей, —
Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет;
Плоды счастливого забвенья,
Где воплотить умел поэт
Свои живые сновиденья...
Не обрести замены им!
Чему же веру мы дадим?
Пирам! В безжизненные лета
Душа остывшая согрета
Их утешением живым.
Пускай навек исчезла младость —
Пируйте, други: стуком чаш
Авось приманенная радость
Еще заглянет в угол наш.

ЭДА

«Чего робеешь ты при мне,
Друг милый мой, малютка Эда?
За что, за что наедине
Тебе страшна моя беседа?
Верь, не коварен я душой;
Там, далеко, в стране родной,
Сестру я добрую имею,
Сестру чудесной красоты;
Я нежно, нежно дружен с нею,
И на нее похожа ты.
Давно... что делать? .. но такая
Уж наша доля полковая!
Давно я, Эда, не видал
Родного счастливого края,
Сестры моей не целовал!
Лицом она, будь сердцем ею;
Мечте моей не измени,
И мне любовь твою
Ее любовь напомяни!
Мила ты мне. Веселье, муку —
Всё жажду я делить с тобой,
Не уходи, оставь мне руку!
Доверься мне, друг милый мой!»

С улыбкой вкрадчивой и льстивой
Так говорил гусар красивый
Финляндке Эде. Русь была
Ему отчиной. В горы Финна

Его недавно завела
Полков бродячая судьбина.
Суровый край, его красам,
Пугаясь, дивятся взоры;
На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы:
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?
В доселе счастливой глуши,
Отца простого дочь простая,
Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках,
Летучий стан, волосы златые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледно-голубые,
Подобно финским небесам.

День гаснул, скалы позлащая.
Пред хижиной своей одна
Сидела дева молодая,
Лицом спокойна и ясна.
Подсел он скромно к деве
скромной,
Завел он кротко с нею речь;
Ее не мыслила пресечь
Она в вадумчивости томной,
Внимала слабым сердцем ей, —
Так роза первых вешних дней

Лучам неверным доверяет;
Почуя теплый ветерок,
Его лобзаньям открывает
Благоуханный свой шипок
И не предвидит хлад суровый,
Мертвящий хлад, дохнуть готовый.
В руке гусара моего
Давно рука ее лежала,
В забвеньи сладком, у него
Она ее не отнимала.
Он к сердцу бедную прижал;
Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах,
И наконец в таких словах
Ему финляндка отвечала:
«Ты мной давно уже любим,
Зачем же нет? Ты добродушен,
Всегда заботливо послушен
Малейшим прихотям моим.
Они докучливы бывали;
Меня ты любишь, вижу я:
Душа признательна моя.
Ты мне любезен: не всегда ли
Я угождать тебе спешу?
Я с каждым утром приношу
Тебе цветы; я подарила
Тебе кольцо; всегда была
Твоим весельем весела;
С тобою грустным я грустила.
Что ж? Я и в этом погрешила:
Нам строго, строго не велят
Дружиться с вами. Говорят,
Что вероломны, злобны все вы;
Что вас бежать должны бы девы,
Что как-то губите вы нас,
Что пропадешь, когда полюбишь;
И ты, я думала не раз,
Ты, может быть, меня погубишь». —

«Я твой губитель, Эда? я?
Тогда пускай мне казнь любую
Пошлет небесный судия!
Нет, нет! я с тем тебя целую!» —
«На что? зачем? какой мне стыд!» —
Младая дева говорит.
Уж поздно. Встать, бежать готова
С негодованием она.
Но держит он. «Постой! два слова!
Постой! ты взорами сурова,
Ужель ты мной оскорблена?
О нет, останься, миг забвенья,
Минуту шалости прости!» —
«Я не сержуся; но пусти!» —
«Твой взор исполнен оскорбленья,
И ты лицом не можешь лгать;
Позволь, позволь для примиренья
Тебя еще поцеловать». —
«Оставь меня!» —

«Мой друг прекрасный!

И за ребяческую блажь
Ты неизвестности ужасной
Меня безжалостно предашь!
И не поймешь мое страданье!
И такова любовь твоя!
Друг милый мой, одно лобзанье,
Одно, иль ей не верю я!»

И дева бедная вздохнула,
И милый лик свой, до того
Отвороченный от него,
К нему тихонько обернула.

Как он самим собой владел!
С какою медленностью томной,
И между тем как будто скромной,
Напечатлеть он ей умел
Свой поцелуй! Какое чувство
Ей в грудь младую влил он им!
И лобызанием таким
Владеет хладное искусство!
Ах, Эда, Эда! Для чего

Такое долгое мгновенье
Во влажном пламени его
Пила ты страстное забвенье?
Теперь, полна в душе своей
Желанья смутного заботой,
Ты освежительной дремотой
Уж не сомкнешь своих очей;
Слетят на ложе сновиденья,
Тебе неизвестные досель,
И долго жаркая постель
Тебе не даст успокоенья.
На камнях розовых твоих
Весна игриво засветлела,
И ярко-зелен мох на них,
И птичка весело запела,
И по гранитному одру
Светло бежит ручей серебристый,
И лес прохладю душистой
С востока веет поутру;
Там за горою дол таится,
Уже цветы пестреют там;
Уже черемух фимиам
Там в чистом воздухе струится, —
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай, и в дол прекрасный
Не приходи, а сверх всего —
Беги гусара твоего!

Уже пустыня сном объята;
Встал ясный месяц над горой,
Сливая свет багряный свой
С последним пурпуром заката;
Двойная, трепетная тень
От черных сосен возлегает,
И ночь прозрачная сменяет
Погасший неприметно день.
Уж поздно. Дева молодая,
Жарка ланитами, встает

И молча, глаз не подымая,
В свой угол медленно идет.

Была беспечна, весела
Когда-то добренькая Эда;
Одною Эдой и жила
Когда-то девичья беседа;
Она приветно и светло
Когда-то всем глядела в очи, —
Что ж изменить ее могло?
Что ж это утро облекло,
И так внезапно, в сумрак ночи?
Она рассеянна, грустна;
В беседах вовсе не слышна;
Как прежде, ясного привета
Ни для кого во взорах нет;
Вопросы долго ждут ответа,
И часто странен сей ответ;
То жарки щеки, то бесцветны,
И, тайной горести плоды,
Нередко свежие следы
Горючих слез на них заметны.

Бывало, слишком зашалит
Неосторожный постоялец, —
Она к устам приставит палец,
Ему с улыбкой им грозит.
Когда же ей он подарит
Какой-нибудь наряд дешевый,
Финляндка дивной ей обновой
Похвастать к матери бежит,
Меж тем его благодарит
Веселым книксом. Шаловливо
На друга сонного порой
Плеснет холодной водой
И убегает торопливо,
И долго слышен громкий смех.
Ее трудов, ее утех
Всегда в товарищи малюткой
Бывал он призван с милой шуткой.
Взойдет ли утро, ночи ль тень
На усыпленные холмы ляжет,

Ему красotka «добрый день»
И «добру ночь» приветно скажет.

Где время то? При нем она
Какой-то робостию ныне
В своих движеньях смущена;
Веселых шуток и в помине
Уж нет; незначащих речей
С ним даже дева не заводит,
Как будто стал он недруг ей;
Зато порой с его очей
Очей задумчивых не сводит,
Зато порой наедине
К груди гусара вся в огне
Бедняжка грудью припадает,
И, страсти гибельной полна,
Сама уста свои она
К его лобзаньям обращает;
А в ночь бессонную, одна,
Одна с раскаяньем напрасным,
Сама волнением ужасным
Души своей устрашена,
Уныло шепчет: «Что со мною?»
Мне с каждым днем грустней, грустней;
Ах, где ты, мир души моей!
Куда пойду я за тобою!»
И слезы детские у ней
Неволью льются из очей.

Она была не без надзора.
Отец ее, крутой старик,
Отчасти в сердце к ней проник.
Он подозрительного взора
С несчастной девы не сводил;
За нею следом он бродил,
И подсмотрел ли что такое,
Но только молодой шалун
Раз видел, слышал, как ворчун
Взад и вперед в своем покое
Ходил сердито; как потом
Ударил сильно кулаком
Он по столу и Эде бедной,

Пред ним трепещущей и бледной,
Сказал решительно: «Поверь,
Несдобровать тебе с гусаром!
Вы за углами с ним недаром
Всегда встречаетесь. Теперь
Ты рада слушать негодяя.
Худому выучит. Беда
Падет на дуру. Мне тогда
Забота будет небольшая:
Кто мой обычай ни порочь,
А потаскушка мне не дочь».
Тихонько слезы отирая
У грустной Эды: «Что ворчать? —
Сказала с кротостию мать. —
У нас смиренная такая
До сей поры была она.
И в чем теперь ее вина?
Грешись, бедняжку обижая».
«Да, — молвил он, — ласкай ее,
А я сказал уже свое».

День после, в комнатке своей,
Уже вечернею порою,
Одна, с привычною тоскою,
Сидела Эда. Перед ней
Святая библия лежала.
На длань склоненная челом,
Она рассеянным перстом
Рассеянно перебирала
Ее измятые листы
И в дни сердечной чистоты
Невольной думой улетала.
Взошел он с пасмурным лицом,
В молчаньи сел, в молчаньи руки
Сжал на груди своей крестом;
Приметы скрытой, тяжкой муки
В нем всё являло. Наконец:
«Долг от меня, — сказал хитрец, —
С тобою требует разлуки.
Теперь услышать милый глас,
Увидеть милые мне очи
Я прихожу в последний раз;

Покроет землю сумрак ночи
И навсегда разлучит нас.
Виною твой отец суровый,
Его укоры слышал я;
Нет, нет, тебе любовь моя
Не нанесет печали новой!
Прости!» Чуть дышуща, бледна,
Гусара слушала она.
«Что говоришь? Возможно ль? Ныне?»
И навсегда, любезный мой!..» —
«Бегу отселе; но душой
Останусь в милой мне пустыне.
С тобою видеть я любил
Потоки те же, те же горы;
К тому же небу возводил
С небесной радостью взоры;
С тобой в разлуке свету дня
Уже не радовать меня!
Я волю дал любви несчастной
И погубил, доверясь ей,
За миг летящий, миг прекрасный
Всю красоту грядущих дней.
Но слушай! Срок остался краткой:
Пугаясь ревнивых глаз,
Везде преследующих нас,
Доселе мельком и украдкой
Видались мы; моей мольбой
Не оскорбись. На расставанье
Позволь, позволь иметь с тобой
Мне безмятежное свиданье!
Лишь мраки ночи низойдут,
И сном глубоким до денницы
Отяжелелые зеницы
Твои домашние сомкнут,
Приду я к тихому приюту
Моей любезной, — о, покинь
Девичий страх и на минуту
Затвор досадный отодвинь!
Прильну в безмолвии печальном
К твоим устам, о жизнь моя,
И в лобызании прощальном
Тебе оставлю душу я».

Прискорбно дева поглядела
На обольстителя; не смела,
Сама не зная почему,
Она довериться ему:
Бедою что-то ей грозило;
Какой-то страх в нее проник;
Ей смутно сердце говорило,
Что не был прост его язык.
Святая книга, как сначала,
Еще лежавшая пред ней,
Ей долг ее напоминала.
Ко груди трепетной своей
Прижав ее: «Нет, нет, — сказала, —
Зачем со злобою такой
Играть моею простотой?
Иль мало было прегрешений?
Еще ль, еще ль охотный слух
Склоню на голос искушений?
Оставь меня, лукавый дух!
Оставь, без новых угрызений».

Но вправду враг ему едва ль
Не помогал, — с такою силой
Излил он ропот свой, печаль
Столь горько выразил, что жаль
Гусара стало деве милой;
И слезы падали у ней
В тяжелых каплях из очей.
И в то же время то моления,
То пени расточал хитрец.
«Что медлишь? Дороги мгновенья! —
К ней приступил он наконец. —
Дай слово!» — «Всею душой
тоскуя,
Какое слово дать могу я, —
Сказала, — сжался надо мной!
Владею ль я сама собой!
И что я знаю!» Пылко, живо
Тут к сердцу он ее прижал.
«Я буду, жди меня!» — сказал.
Сказал и скрылся торопливо.

Уже и холмы и поля
Покрыты мраками густыми.
Смиранный ужин разделя
С неприхотливыми родными,
Вошла девица в угол свой;
На дверь задумчиво взглянула:
«Поверь, опасен гость ночной!» —
Ей совесть робкая шепнула,
И дверь ее заложена.
В бумажки мягкие она
Златые кудри завернула,
Снять поспешила как-нибудь
Дня одеяния неловки,
Тяжелодышащую грудь
Освободила от шнуровки,
Легла и думала заснуть.
Уж поздно, полночь; но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
«Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?
Я своенравна в самом деле.
Пушу его, — ведь миг со мной
Пробудет здесь любезный мой,
Потом навек уйдет отселе».
Так мнит уж девица, и вот
С одра тихохонько встает,
Ко двери с трепетом подходит
И вот задвижки роковой
Уже касается рукой;
Вот руку медленно отводит,
Вот приближает руку вновь;
Железо двинулось — вся кровь
Застыла в девушке несчастной,
И сердце сжала ей тоска.
Тогда же чуждая рука
Дверь пошатнула: «Друг
прекрасный,
Не бойся, Эда, это я!»
И, от смятенья дух тая,
Полна неведомого жара,
Девица бедная моя
Уже в объятиях гусара.

Увы! досталась в эту ночь
Ему желанная победа:
Чувств упоенных превозмочь
Ты не могла, бедняжка Эда!
Заря багрянит свод небес.
Восторг обманчивый исчез;
С ним улетел и призрак счастья;
Открылась бездна нищеты,
Слезами скорби платишь ты
Уже за слезы сладострастья!
Стыдясь пылающего дня,
На крае ложа рокового
Сидишь ты, голову склоня.
Взгляни на друга молодого!
Внимай ему: нет, нет, с тобой
Он не снесет разлуки злой;
Тебе все дни его и ночи;
Отец его не утрашит,
Он подозренья усыпит,
Обманет бдительные очи;
Твой будет он, куда жив...
Напрасно всё; она не внемлет,
Очей на друга не подьмет,
Уста безмолвные раскрыв,
Потупя в землю взор незрящий;
Ей то же друга разговор,
Что ветер, бессмысленно свистящий
Среди ущелин финских гор.

Недолго, дева красоты,
Предателя чуждалась ты,
Томяся грустью безотрадной!
Ты уступила сердцу вновь:
Простила нежная любовь
Любви коварной и нещадной.

Идет поспешно день за днем.
Гусару дева молодая
Уже покорствуется во всем.
За ним она, как лань ручная,
Повсюду ходит. То четой
Приемлет их в полдневный зной

Густая сень дубровы сонной,
То зазовет дремучий бор,
То приглашают гроты гор
В свой сумрак неги благосклонной;
Но чаще сходятся они
В долу соседственном, глубоком.
В густой рябиновой сени
Над быстро льющимся потоком
Они садятся на траву.
Порой любовник в томной лени
Послушной деве на колени
Кладет беспечную главу
И легким сном глаза смыкает.
Дух притаив, она внимает
Дыханью друга своего;
Древесной веткой отвечает
Докучных мошек от него;
Его волнистыми волосами
Играет детскими перстами.
Когда ж подыметя луна
И дикий край под ней задремлет,
В приют укромный свой она
К себе на одр его приемлет.

Но дева нежная моя
Томится тайною тоскою.
Раз обыкновенною порою
У вод любимого ручья
Они сидели молчаливо.
Любовник в тихом забвении
Глядел на светлые струи,
Пред ним бегущие игриво.
Дорогой сорванный цветок
Он как-то бросил в быстрый ток.
Вдохнула дева молодая;
На друга голову склоня.
«Так, — прошептала, — и меня,
Миг полелея, полаская,
Так на погибель бросишь ты!»
Уста незлобной красоты
Улыбкой милой улыбнулись,
Но скорбь взяла-таки свое,

И на ресницах у нее
Невольно слезы навернулись.
Она косынкою своей
Их отерла и, веселей
Глядеть стараяся на друга:
«Прости! Безумная тоска!
Сегодня жизнь моя сладка,
Сегодня я твоя подруга,
И завтра будешь ты со мной,
И день еще, и, статься может,
Я до разлуки роковой
Не доживу, господь поможет!»

Невинной нежностью не раз
Она любовника смущала
И сожаленье в нем подчас
И угрызенье пробуждала;
Но чаще, чаще он скучал
Ее любовь тоскливой
И миг разлуки призывал
Уж как свободы миг счастливый.
Не тщетно!

Буйный швед опять

Не соблюдает договоров,
Вновь хочет с русским испытать
Неравный жребий бранных споров.
Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья, —
Война, война! Грядущий день —
День рокового разлученья.

Нет слез у девы молодой.
Мертва лицом, мертва душой,
На суету походных сборов
Глядит она: всему конец!
На ней встревоженный хитрец
Остановить не смеет взоров.
Сгустилась ночь. В глубокий сон
Всё погрузилось. Унылый,
В последний раз идет он к милой.
Ей утешенья шепчет он,
Ее лобзает он напрасно.

Э Д А,
ФИНЛЯНДСКАЯ ПОВѢСТЬ,

И

П И Р Ы,
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА,

ЕВГЕНІЯ БАРАТЫНСКАГО.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1826.

Внимает, чувства лишена;
Дает лобзать себя она,
Но безответно, безучастно!
Мечтанья все бежали прочь.
Они томительную ночь
В безмолвной горести проводят.
Уж в путь зовет сиянье дня,
Уже ретивого коня
Младому воину подводят,
Уж он садится. У дверей
Пустынной хижины своей
Она стоит, мутна очами.
Деввица бедная, прости!
Уж по далекому пути
Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам...
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простерла их потом
И в прах поверглася лицом
С глухим стенаньем смертной муки.

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют за скалами.
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной девицей моей?
Потух огонь ее очей;
В ней Эды прежней нет и тени,
Изнемогает в цвете дней;
Но чужды слезы ей и пени.
Как небо зимнее, бледна,
В молчаньи грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит, и бури вой мятежный
Уныло слушает она,

Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыла, печальный свет!
Конца дождусь ли я, иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой приют
И на нее сугроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?»

Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь ее отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом всё пусто, всё молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.

Эпilog

Ты покоришься, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытною!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавляя ее ночлеги!
И всё напрасно! Чудный хлад
Сковал Ботнические воды;

Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапную стеной
Их перед шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орел наш грозный возлетел!
Он в нем узнал орла Полтавы!
Всё покорилось. Но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.
Питомец муз, питомец боя;
Тебе, Давыдов, петь ее.
Венком певца, венком героя
Чело украшено твое.
Ты видел финские граниты,
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строй.
Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!

1824

ТЕЛЕМА И МАКАР

Непостоянна, своевольна,
Ничем Телема не довольна;
Всегда душа ее полна
Младенческого беспокойства;
Любила толстяка она
Совсем много с нею свойства:
Макар не тужит ни о чем,
Ему покой всего дороже;
С весельем шумным незнаком,
Он незнаком со скукой тоже;
Заснет он ночью крепким сном,
Едва глаза свои зажмурит;
Поутру встанет молодцом,
День целый после балагурит.
В любви причудливой своей
К Макару часто нестерпимой
Была Телема: милым ей
Хотелось быть боготворимой.
Однажды, чем-то оскорбясь,
Увлечшись живостью сердечной,
В упреках горьких излилась
Пред ним она. Макар беспечный
Покинул бедную, смеясь.
Без друга скучно и уныло
Тянулись дни. Из края в край
За ним бежать она давай, —
Жить без Макара тошно было.

Надежды ветреной полна,
Приходит в Царское она.
Того ль встретит, иль другого:
«Не здесь ли милый мой дружок?
Макара нет ли дорогого?»
Никто без хохота не мог
Услышать имени такого.
«Какой Макара тобой любим?
Как разлучилася ты с ним?
Что он, голубушка, за диво?»
Она в ответ нетерпеливо:
«Нет лучше друга моего;
Он добродушен, доброхотен,
Веселонравен, беззаботен,
Не ненавидит никого,
И сам никем не ненавидим».
«Ступай, — ответствовали ей, —
Здесь нет его, таких людей
Мы при дворе совсем не видим».

Решилась далее идти
Моя беглянка молодая;
Заходит в лавру по пути,
Макара мирного найти
В сей мирной пристани мечтая.
Игумен ей: «Сказать ли вам?
Его мы долго поджидали;
Но, признаюсь, по пустякам!
Посты, раздор и скуку нам
В замену стены наши дали».
Один неласковый чернец
Сказал вертушке наконец:
«Охота по миру шататься!
Найдется ль, полно, ваш беглец?
На том он свете, может статься!»

Телему сей живой мертвец
Чуть не взбесил таким приветом.
«Его найду я, мой отец,
Не беспокойтесь об этом.
Нет! о Макаре дорогом
Не понапрасну я тоскую:

Одна я жизнь ему дарую;
Не может быть он в мире том,
Когда я в этом существую!»

«Но где же встречу друга я? —
Мечтает странница моя. —
В столице? что же? не чудесно:
Между певцами, верно, он,
Которыми изображен
Он столь искусно и прелестно».
Один из них ей молвил так:
«Вы обманулися никак;
Не появлялся, к сожаленью,
И между нами ваш чудак;
О нем мы пишем кое-как,
По одному воображенью!»

Совет пред нею. На него
Взглянула странница — и мимо:
«Нет, для Макара моего
Такое место нестерпимо!
Там нет его. Не спорю в том:
Прельститься мог бы он двором,
Двор полон чудного угара;
Но за присутственным столом
Ввек не увижу я Макара!»
Надеясь друга повстречать,
Телема стала навещать
Гулянья, зрелища столицы,
Ко всем заглядывала в лица —
По пустыкам! Приглашена
В дома блестящие она,
Где те счастливыцы председатель,
Которых светским языком
Людьми с утонченным умом,
Людьми со вкусом называют;
Они приветливы лицом,
Речами веселы, свободны
И с милым сердцу беглецом
Ей показались очень сходны.
Но чем с Макаром дорогим
Похожей быть они старались,

Тем от прямого сходства с ним
Они заметней удалялись!

Тоска, печаль ее взяла;
Наскуча бегать по-пустому
Из места в место, побрела
Она тихохонько до дому.
В давно покинутый приют
Приходит странница — и что же?
Уже Макар с улыбкой тут
Подругу ждал на брачном ложе.
«Со мною в мире и любви, —
Он молвил, — с этих пор живи;
Живи, о лишнем не тоскуя,
И коль расстаться вновь со мной
Не хочешь, нрава тишиной
Себе приязнь мою даруя,
От угожденья моего
Не требуй более того,
Что я даю, что дать могу я».

<1827>

БАЛ

Глухая полночь. Строем длинным,
Осеребренные луной,
Стоят кареты на Тверской
Пред домом пышным и старинным.
Пылает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Ревут смычки; толпа гостей;
Гул танца с гулом разговоров.
В роскошных перьях и цветах,
С улыбкой мертвой на устах,
Обыкновенной рамой бала,
Старушки светские сидят
И на блестящий вихорь зала
С тупым вниманием глядят.

Кружатся дамы молодые,
Не чувствуют себя самих;
Драгими камнями у них
Горят уборы головные;
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
Толкует, ловит каждый взгляд:
Шутя несчастных и счастливых
Вертушки мшлые творят.

В движеньи всё. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно острится,
И оба правы: говорят,
Что в то же время можно дамам,
Меня слева взгляд на взгляд,
Смеяться справа эпиграммам.
Меж тем и в лентах и в звездах,
Порою с картами в руках,
Выходят важные бояры,
Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Но гости глухо зашумели,
Вся зала шепотом полна:
«Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей». — «Ужели?» —
«В кадрили весело вертяться,
Вдруг помертвела!» — «Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею?» — «Бог весть,
Мигрень, конечно!.. В сюрсах шесть». —
«Что с ней, кузина? танцевали
Вы в ближней паре, видел я?
В кругу пристойном не всегда ли
Она как будто не своя?»

Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит,
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей

Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

Но как влекла к себе всеильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбаются умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?

Как в близких сердцу разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те;
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает, —
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей

Одуревалюшей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

Так, не сочувствия прямого
Могуществом увлечена —
На грудь роскошную она
Звала счастливец молодого;
Он пересоздан был на миг
Ее живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно видение свое.
И гасла вдруг мечта ее:
Она вдалась в обман досадный,
Ее прельститель ей смешон,
И средь толпы Лаисе холодной
Уж неприметен будет он.

В часы томительные ночи,
Утех естественных чужда,
Так чародейка иногда
Себе волшебством тешит очи:
Над ней слились из облаков
Великолепные чертоги;
Она на троне из цветов,
Ей угождают полубоги.
На миг один восхищена
Живым видением она;
Но в ум приходит с изумленьем,
Смеется сердца забытью
И с тьмой сливает мановеньем
Мечту блестящую свою.

Чей образ кисть нарисовала?
Увы! те дни уж далеко,
Когда княгиня так легко
Воспламенялась, остывала!
Когда, питомице прямой
И Эпикура и Ниноны,
Летучей прихоти одной

Ей были ведомы законы!
Посланник рока ей предстал;
Смущенный взор очаровал,
Поработил воображенье,
Слиял все мысли в мысль одну
И пролил страстное мученье
В глухую сердца глубину.

Красой изнеженной Арсений
Не привлекал к себе очей:
Следы мучительных спрастей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах —
Усмешка праздная блуждала.
Он незадолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Предстал он в дом моей Лаисы,
И остряков задорный полк
Не знаю как пред ним умолк —
Главой поникли Адонисы.
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким,
Судил разборчиво певца,
Знал цену кисти и резца,
И, сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.

Неодолимо, как судьбина,
Не знаю, что, в игре лица,
В движеньи каждом пришлеца
К нему влекло тебя, о Нина!

Вотще! Он предан был печали.
Однажды (до того дошло)
У Нины вспыхнуло чело
И очи ярко заблестали.
Страстей противных беглый спор
Лицо явило. «Что с тобою, —
Она сказала, — что твой взор
Всё полон мрачною тоскою?
Досаду давнюю мою
Я боле в сердце не таю:
Печаль с тобою неразлучна;
Стыжусь, но ясно вижу я:
Тебе тяжка, тебе докучна
Любовь безумная моя!

Скажи, за что твое презренье?
Скажи, в сердечной глубине
Ты нечувствителен ко мне
Иль недоверчив? Подозренье
Я заслужила. Старины
Мне тяжело воспоминанье:
Тогда всечасной новизны
Алкало у меня мечтанье;
Один кумир на долгий срок
Поработить его не мог;
Любовь сегодняшняя трудно
Жила до завтрашнего дня, —
Мне вверить сердце безрассудно,
Ты прав, но выслушай меня.

Беги со мной — земля велика!
Чужбина скроет нас легко,
И там безвестно, далеко,
Ты будешь полный мой владыка.
Ты мне Италию порой
Хвалил с блестящим увлеченьем;
Страну, любимую тобой,
Узнала я воображеньем;
Там солнце пышно, там луна
Восходит, сладости полна;
Там вьются лозы винограда,

Шумят лавровые леса, —
Туда, туда! с тобой я рада
Забывать родные небеса.

Беги со мной! Ты безответен!
Ответствуй, жребий мой реши.
Иль нет! зачем? Твоей души
Упорный холод мне приметен;
Молчи же! не нуждаюсь я
В словах обманчивых, — довольно!
Любовь несчастная моя
Мне свыше казнь... но больно, больно!..»
И зарыдала. Возмущен
Ее тоской: «Безумный сон
Тебя увлек, — сказал Арсений, —
Невольный мрак души моей —
След прежних жалких заблуждений
И прежних гибельных страстей.

Его со временем рассеет
Твоя волшебная любовь;
Нет, не тревожься, если вновь
Тобой сомненье овладеет!
Моей печали не вини».
День после, мирною четою,
Сидели на софе они.
Княгиня томною рукою
Обняла друга своего
И прилегла к плечу его.
На ближний столик, в думе скрытной
Облокотясь, Арсений наш
Меж тем по карточке визитной
Водил небрежный карандаш.

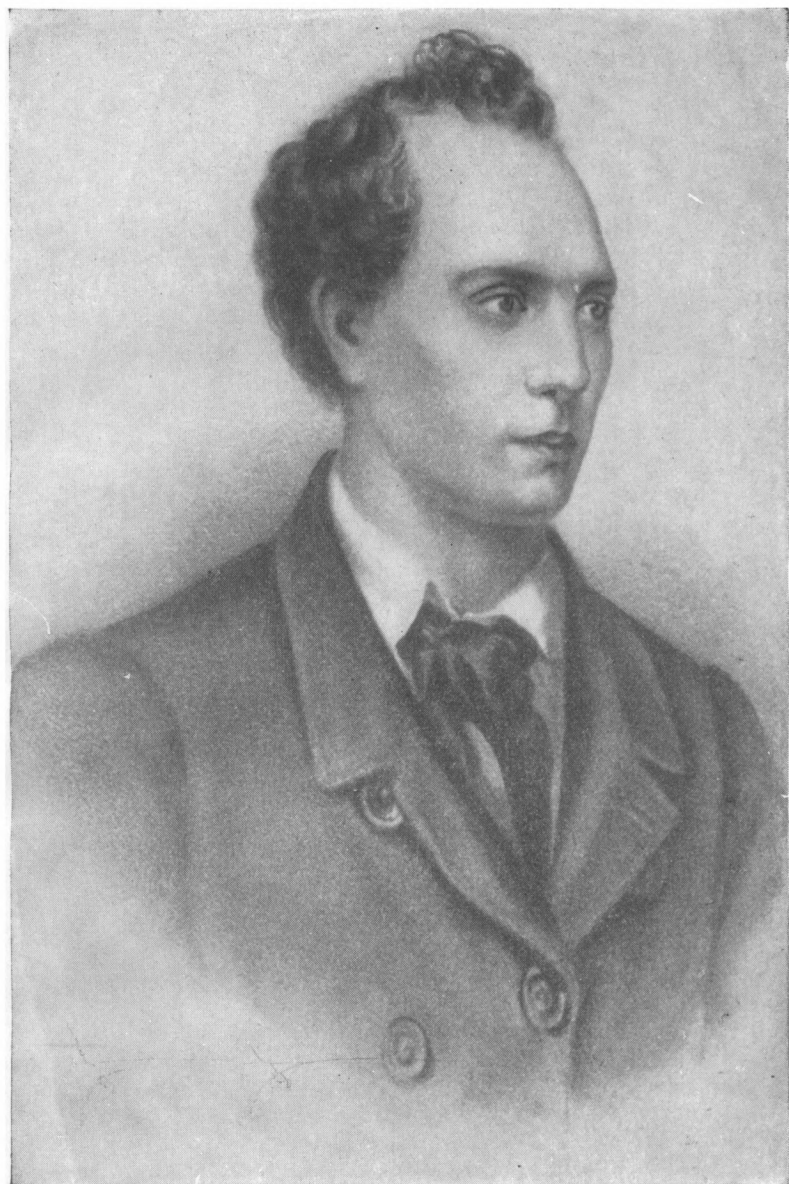
Давно был вечер. С легким треском
Горели свечи на столе,
Кумиров мрамор в дальней мгле
Кой-где блистал неверным блеском.
Молчал Арсений, Нина тож.
Вдруг, тайным чувством увлеченный,
Он восклицает: «Как похож!»
Проснулась Нина: «Друг бесценный,

Похож! Ужели? мой портрет!
Взглянуть позволь... Что ж это? Нет!
Не мой — жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах!

Скажу, красавица такая
Меня затмила бы совсем...»
Лицо княгини между тем
Покрыла бледность гробовая.
Ее дыханье отошло,
Уста застыли, посинели;
Увлажил хладный пот чело,
Непомертвевшие блестели
Глаза одни. Вещать хотел
Язык мятежный, но коснел,
Слова сливались в лепетанье.
Мгновенье долгое прошло,
И наконец ее страданье
Свободный голос обрело:

«Арсений, видишь, я мертвею;
Арсений, дашь ли мне ответ!
Знаком ты с ревностью?.. Нет!
Так ведай, я знакома с нею,
Я к ней способна! В старицу,
Меж многих редкостей Востока,
Себе я выбрала одну...
Вот перстень... с ним я выше рока!
Арсений! мне в защиту дан
Могучий этот талисман;
Знай, никакое злословие
Меня при нем не устрасит.
В глазах твоих недоуменье,
Дивисься ты! Он яд таит».

У Нины руку взял Арсений:
«Спокойна совесть у меня, —
Сказал, — но дожил я до дня
Тяжелых сердцу откровений.
Внимай же мне. С чего начну?»



Не предавайся гневу, Нина!
Другой дышал я в старину,
Хотела то сама судьбина.
Росли мы вместе. Как мила
Малютка Олинька была!
Ее мгновеньями иными
Еще я вижу пред собой
С очами темно-голубыми,
С темно-кудрявой головой.

Я называл ее сестрою,
С ней игры детства я делил;
Но год за годом уходил
Обыкновенной чередою.
Исчезло детство. Притекли
Дни непонятного волненья,
И друг на друга возвели
Мы взоры, полные томленья.
Обманчив разговор очей.
И, руку Олиньки моей
Сжимая робкою рукою,
«Скажи, — шептал я иногда, —
Скажи, любим ли я тобою?»
И слышал сладостное да.

В счастливый дом, себе на горе,
Тогда я друга ввел. Лицом
Он был приятен, жив умом;
Обворожил он Ольгу вскоре.
Всегда встречались взоры их,
Всегда велся меж ними шепот.
Я мук язвительных моих
Не снес — излил ревнивый ропот.
Какой же ждал меня успех?
Мне был ответом детский смех!
Ее покинул я с презреньем,
Всю боль души в душе тая.
Сказал прости всему; но мщеньем
Сопернику поклялся я.

Всечасно колкими словами
Скучал я, досаждал ему,

И по желанью моему
Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал я телом здрав,
Но сердцем болен. Что прибавить?
Бежал я в дальние края;
Увы! под чуждым небом я
Томился тою же тоскою.
Родимый край узрев опять,
Я только с милою тобою
Душою начал оживать».

Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела;
Но от руки его потом
Освободив тихонько руку,
Вдруг содрогнулась лицом,
И всё в нем выразило муку.
И, обессилена, томна,
Главой поникнула она.
«Что, что с тобою, друг бесценный?» —
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
— «Друг милый, что ты?» — «Ничего».

Еще на крыльях торопливых
Промчалось несколько недель
В размолвках бурных, как досель,
И в примиреньях несчастливых.
Но что же, что же напослед?
Сегодня друга нет у Нины,
И завтра, послезавтра нет!
Напрасно, полная кручины,
Она с дверей не сводит глаз
И мнит: он будет через час.
Он позабыл о Нине страстной;
Он не вошел, вошел слуга,
Письмо ей подал... миг ужасный!
Сомненья нет: его рука!

«Что медлить, — к ней писал Арсений, —
Открыться должно... Небо! в чем?
Едва владею я пером,
Ищу напрасно выражений.
О Нина! Ольгу встретил я;
Она поныне дышит мною,
И ревность прежняя моя
Была неправой и смешною.
Удел решен. По старине
Я верен Ольге, верной мне.
Прости! твое воспоминанье
Я сохраню до поздних дней;
В нем понесу я наказанье
Ошмбок юности моей».

Для своего и для чужого
Незрима Нина; всем одно
Твердит швейцар ее давно:
«Не принимает, нездоровал!»
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем;
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она, недвижимая, немая,
Сидит и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери пашут, растворясь:
Муж не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.

И вот садится. В размышленье
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он;
И наконец: «С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты;
Ей-ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомнись тебе пора.
Сегодня бал у князь-Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай;

Там будут наши молодые,
Арсений с Ольгой. Поезжай.

Ну что, поедешь ли?» — «Поеду», —
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. «Дело, — молвил князь, —
Прощай, спешу я в клуб к обеду». —
Что, Нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживить ее умело,
Ужель надежда? Торопясь
Часы летят; уехал князь;
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.

Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело ее облёт
И, меж обильными косами
Рукой искусной пропущён,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след!
В стекле живом и беспристрастном
Княгиня бедная моя

Глядяся, мнит: «И это я!
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет,
Пускай узрит свое творенье
И всю вину свою поймет».

Другое тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:
«Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье!
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она!
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою
Хоть вполовину, хоть на час...»
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.

Она явилась на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В яркоблестящей, пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой,
И, словом, этот вихрь утех,
Больным душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?
Иль лишним счастьем блистало
Лицо у Ольги молодой?
Что б ни было, ей дурно стало,
Она уехала домой.

Глухая ночь. У Нины в спальней,
Лениво споря с темнотою,
Перед иконой золотой
Лампада точит свет печальный,
То пропадет во мраке он,
То заиграет на окладе;

Кругом глубокий, мертвый сон!
Меж тем в блистательном наряде,
В богатых перьях, жемчугах,
С румянцем странным на щеках,
Ты ль это, Нина, мною зрима?
В переливающейся мгле
Зачем сидишь ты недвижима,
С недвижной душой на челе?

Дверь заскрипела, слышит ухо
Походку чью-то на полу;
Перед иконою, в углу,
Стал и закашлял кто-то глухо.
Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка,
Светильня сонная очнулась,
И свет неожиданный и живой
Вдруг озаряет весь покой:
Княгини мамушка седая
Перед иконою стоит,
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.

Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой;
Вдруг видит Нину пред собой,
На полпути остановилась.
Глядит печально на нее,
Качает старой головою:
«Ты ль это, дитяtko мое,
Такою позднею порою? ..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя бог знает о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно;
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечеть каким добром;

Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нем кроткая такая, —
Всечасно вышнего творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла бога... да,
Не ходишь в церковь никогда;
Поверь, кто господа оставит,
Того оставит и господь;
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!

Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком,
Прости, дай ручку мне». Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула —
Рука ледяно-холодна.
В лицо ей с трепетом взглянула —
На нем поспешный смерти ход;
Глаза стоят и в пене рот...
Судьбина Нины совершилась,
Нет Нины! ну так что же? нет!
Как видно, ядом отравилась,
Сдержала страшный свой обет!

Уже билеты роковые,
Билеты с черною каймой,
На коих брэнности людской
Трофеи, модой принятые,
Печально поражают взгляд;
Где сухощавые Сатурны
С косами грозными сидят,
Склонясь на траурные урны;
Где кости мертвые крестом
Лежат разительным гербом
Под гробовыми головами, —
О смерти Нины должну весть
Узаконенными словами
Спешат по городу разнести.

В урочный день, на вынос тела,
Со всех концов Москвы большой
Одна карета за другой
К хоромам князя полетела.
Обсев гостиную кругом,
Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье;
Оно росло, росло, росло
И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.

Богатый гроб несчастной Нины,
Священством пышным окружен,
Был в землю мирно опущен;
Свет не узнал ее судьбины.
Князь, без особого труда,
Свой жребий вышней воле предал.
Поэт, который завсегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть ее стишки.
Обильна слухами столица;
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.

1825—1828

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Зевес, любя семью людскую,
Попарно души сотворил
И наперед одну мужскую
С одною женской согласил.
Хвала всевышней благодетне!
Но в ней нам мало пользы ныне:
Глядите! ныне род людской,
Размножась, облил шар земной.
Куда пойду? мечтаешь с горем,
На хладный север, знойный юг?
За Белым иль за Черным морем
Блуждаешь ты, желанный друг?
Не всё. Задача есть другая.
Шатаясь по свету, порой
Столкнешься с родственной душой
И рад; но вот беда какая:
Душа родная — нос чужой
И посторонний подбородок!..
Враждуют чувства меж собой;
Признаться, способ мировой
Находкой был бы из находок!
Но он потерян между нас,
О нем живет один рассказ.

В земле, о коей справедливо
Нам чудеса вещает старь,
В Египте, жил-был славный царь.
Имел он дочь — творенья диво,
Красот подсолнечных алмаз,

Любовь души, веселье глаз;
Челом белее лилий Нила;
Коралла пышного морей.
Устами свежими алей;
Яснее днёвного светила
Улыбкой ясною своей.
В пределах самых отдаленных
Носилася ее хвала
И женихами привела
К ней полк царей иноплеменных.
И Мемфис-град заликовал,
В нем пир за пиром восставал.
Светла, прелестна, восседая
В кругу любовников своих,
Моя царевна молодая
Совсем с ума сводила их.
И всё бы ладно шло; но что же?
Всегда веселая, она
Вдруг стала пасмурна, грустна,
Так что на дело не похоже.
К своим высоким женихам
Вниманье вовсе прекратила
И, кроме колких эпиграмм,
Им ничего не говорила.

Какая же была вина,
Что изменилась так она?
Любовь. Случайною судьбою
Державный пир ее отца
Украстить лирною игрою
Призвали юного певца;
Не восхваляя он Озирида,
Не славил Аписа-быка,
Любовь он пел, о Зораида!
И песнь его была сладка,
Как вод согласное журчанье,
Как нежных горлиц воркованье,
Как томный ропот ветерка,
Когда, в полудень воспаленный,
Лобзает он исподтишка
Цветок, роскошно усыпленный.
Свершился вышний приговор.

Свершился! никакою силой
Неотразимый, с этих пор
Пред ней носился образ милый;
С тех пор в душе ее звучал,
Звучал всечасно голос нежный,
Ее питал, упоевал
Тоскою сладкой и мятежной!
«Как глупы эти дикари,
Разноплеменные цари!
И как прелестен он!» — вздыхая,
Мечтала дева молодая.

Но между тем летели дни;
Решенья гости ожидали,
Решенья не было. Они
Уже сердиться начинали.
Сам царь досадою вскипел;
Он не охотник был до шуток
И жениха, чрез трое суток,
Избрать царевне повелел.

Была, как громом, речью гневной
Младая дочь поражена.
На что ж, в судьбе своей плачевной,
Решилась, бедная, она?
Рыдала долго Зораида,
Взрывала сердце ей обида,
Взрывала сердце ей печаль;
Вдруг мысль в уме ее родилась,
Лицом царевна прояснилась
И шепчет: «Ах, едва ль, едва ль...
Но что мы знаем? статься может,
Он в самом деле мне поможет».

Вам рассказать я позабыл,
Что в эту пору, мой читатель,
Столетний маг в Мемфисе был,
Изиды вещей толкователь.
Он, если не лгала молва,
Проник все тайны естества.
На то и жил почтенный дядя;
Отвергнув мира суету,

Не пил, не ел, не спал он, глядя
В глаза священному коту.
И в нем-то было упование;
К нему-то, милые друзья,
Решилася на совещање
Идти красавица моя.

Едва редет мгла ночная,
И, пробуждаться начиная,
Едва румянится восток;
Еще великий Мѣмфис дремлет
И утро нехотя приемлет,
А уж, покинув свой чертог,
В простой и чуждой ей одежде,
Но страха тайного полна,
Доверясь ветреной надежде,
Выходит за город она.
Перед очами Зораиды
Пустыня та, где пирамиды
За пирамидами встают
И (величавые гробницы)
Гигантским кладбищем ведут
К стопам огромной их царицы.
Себе чудаку устроил тут
Философический приют.
Блуждает дева молодая
Среди столицы гробовой,
И вот приметен кров жилой,
Над коим пальма вековая
Стоит, роскошно помавая
Широколиственной главой.
Царевна видит пред собой
Обитель старца. Для чего же
Остановилася она,
Внезапно взором смущена
И чутким ухом насторо́же?
Что дланью трепетной своей
Объемлет сердце? что так пышет
Ее лицо? и грудь у ней
Что так неровно, сильно дышит?
Приносит песнь издалека
Ей дуновенье ветерка.

Зачем от раннего рассвета
До поздней ночи я пою,
Безумной птицей, о Ниэта!
Красу жестокою твою?

Чужда, чужда ты сожаленья,
Звезда взойдет, звезда зайдет;
Сурова ты, а мне забвенья
Бессильный лотос не дает.

Люблю, любя, в могилу сниду;
Несокрушима цепь моя:
Я видел диво-Зораиду,
И не забыл Ниэты я.

Чей это голос? Вседержитель!
Она ль его не узнает!
Певец, души ее пленитель,
Другую пламенно поет!
И вот что боги ей судили!
Уж ей колена изменили,
Уж меркнет свет в ее очах,
Без чувств упала бы во прах,
Но нашей деве в то мгновенье
Предстало чудное виденье.
Глядит: в одежде шутовской
Бредет к ней старец гробовой.
Паяс торжественный и дикий,
Белобородый, желтоликий,
В какой-то острой шапке он;
Пестреет множеством каракул
На нем широкий балахон, —
То был почтенный наш оракул.
К царевне трепетной моей
Подходит он; на темя ей
Приветно руку налагает,
Глядит с улыбкою в лицо
И ободрительно вещает:
«Прими чудесное кольцо;

Ты им, о дева! уничтожишь
Хитросплетенный узел твой;
Кому на перст его возложишь,
С тем поменяешься звездой.
Иди, в мудрость Озирида
Наставит свыше мысль твою.
Я даром сим, о Зораида,
Тебе за веру воздаю».

Возвращена в свои чертоги,
Душою полная тревоги,
Царевна думает: «Во сне
Всё это чудилось мне?
Но нет, не сновиденье это!
Кольцо на палец мой надето
Почтенным старцем — вот оно.
Какую ж пользу в нем найду я?
Он говорил, его даря,
Так бестолково, так темно».
Опять царевна унывает,
Недоумения полна;
Но вот невольниц призывает
И отыскать повелевает
Свою соперницу она.

По повелению другому,
Как будто к празднику большому
Ее чертоги убраны;
Везде легли ковры богаты
И дорогие ароматы
Во всех кадилах возжжены,
Все водометы пущены;
Блистают редкими цветами
Ряды узорчатых кошниц,
И полон воздух голосами
Дальнеземельных, чудных птиц;
Всё негой сладостною дышит,
Всё дивной роскошью пышет.
На троне, радостным венцом,
Порфирой светлою блистая,
Сидит царевна молодая,
Окружена своим двором.

Вотще прилежно наблюдает
Ее глаза смущенный двор
И угадать по ним желает,
Что знаменует сей позор.
Она в безмолвии глубоком,
Как сном объятая, сидит
И неподвижным, мутным оком
На двери дальние глядит.
Придворные безмолвны тоже.
Дверь отворилась: «Вот она!»
Лицом бледнее полотна,
Царевна вскрикнула. Кого же
Узрела, скорбная душой,
В толпе невольниц пред собой?
Кого? — пастушку молодую,
Собой довольно недурную,
Но очень смуглую лицом,
Глазами бойкую и злоую,
С нахмуренным, упрямым лбом.
Царевна смотрит и мечтает:
«Она ли мне предпочтена!»
Но вот придворных высылает
И остается с ней одна.

Царевна первого привета
Искала долго, наконец
Печально молвила: «Ниэта!
Ты видишь: пышен мой дворец,
В жемчуг и золото я одета,
На мне порфира и венец;
Я красотою диво света,
Очарование сердец!
Я всею славою земною
Наделена моей звездою, —
Чего желать могла бы я?
И что ж, Ниэта, в скорби чудной
Милее мне твой жребий скудный,
Милее мне звезда твоя.
Ниэта, хочешь ли, с тобою
Я поменяю звездою?»
Мудрен царевнин был привет,
Но, не застенчива природно,

«Как вашей милости угодно», —
Ниэта молвила в ответ.
Тогда на палец ей надела
Царевна дивное кольцо;
Закреть смущенное лицо
Руками бедная хотела;
Но что же? в миг волшебный сей
Моя царевна оживилась
Душой Ниэтиной; а в ней
Душа царевны очутилась.
И, быстрым чудом бытие
Переменив, лицо свое
Закрывает дурочка степная,
Царевна же, наоборот,
Спустила руки на живот,
Рот удивленный разевая.
Где Зораида, где она?
Осталась тень ее одна.
Когда ж лицо свое явила
Ниэта, руки опустя
(О, как обеих их шутя
Одна минута изменила!),
Блистало дивной красотой
Лицо пастушки молодой;
Во взорах чувство выражалось,
Горела нежная мечта,
Для слова милого, казалось,
Сейчас откроются уста,
Ниэта та же, да не та.
Так из-за туч луна выходит,
Вдруг озаряя небеса,
Так зелень свежую наводит
На рощи пыльные роса.

С главой поникшею Ниэта,
С невольным пламенем лица
Тихонько вышла из дворца,
И о судьбе ее до света
Не доходил уж слух потом.
Так что ж? о счастье прямом
Проведать людям неудобно;

Мы знаем, свойственно ему
Любить хранительную тьму,
И, драгоценное, подобно
В том драгоценному всему.
Где искрометные рубины,
Где перлы светлые нашли?
В глубоких пропастях земли,
На темном дне морской пучины.

А что с царевною моей?
Она с плотнейшим из князей
Великолепно обвенчалась.
Он с нею ладно жил, хотя
В иное время не шутя
Его супруга завиралась,
И даже под сердитый час
Она, возвыся бойкий глас,
Совсем ругательски ругалась.
Он не роптал на то ничуть,
Любил житье-бытье простое,
И сам, где надо, завернуть
Не забывал словцо лихое.
По-своему до поздних дней
Душою в душу жил он с ней.

Что я прибавлю, друг мой нежный?
Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встретила меня;
За бедством бедство подымалось;
Век над главой моей, казалось,
Не взыдет радостного дня.
Порой смирял я песнопеньем
Порыв болезненных страстей;
Но мне тяжелым вдохновеньем
Была печаль души моей.
Явилась ты, мой друг бесценный,
И прояснилась жизнь моя:
Веселой музой вдохновенный,
Веселый вздор болтаю я.
Прими мой труд непринужденный!

Счастливым светом озаренный
Души, свободной от забот,
Он — твой достаток справедливый,
Он первый плод мечты игривой,
Он новой жизни первый плод.

1828—1829(?)

ЦЫГАНКА

Глава I

— Прощай, Елецкой: ты невесел,
И рассветает уж давно;
Пошло мне впрок твое вино:
Ух! я встаю насилу с кресел!
Не правда ль, братцы, по домам?
— Нет! пусть попляшет прежде нам
Его цыганка. Ангел-Сара,
Ну что? потешить нас нельзя ль?
Ступай, я сяду за рояль.
— Могу сказать, вас будет пара:
Ты охмелен, и в сон она
Уже давно погружена.
Прощайте, господа!..

Гуляки

Встают, шатаясь на ногах;
Берут на стульях, на столах
Свои разбросанные фраки,
Свои мундиры, сюртуки;
Но, доброй воле вопреки,
Неспоры сборы. Шляпу на лоб
Надвинув, держит пред собой
Стакан недопитый иной
И рассуждает: «Надлежало б...»
Умом и телом недвижим,
Он долго простоят над ним.
Другой пред зеркалом на шею

Свой галстук вяжет, но рука
Его тяжка и неловка:
Всё как-то врозь идут под нею
Концы проклятого платка.
К свече приставя трубку задом,
Ждет третий пасмурный чудак,
Когда закурится табак.
Лихие шутки сыплют градом.
Но полно: вон валит кабак.
— Прощай, Елецкой, до свиданья!
— Прощайте, братцы, добрый путь!
И, сокращая провожанья,
Дверь поспешает он замкнуть.

Один оставшись, Елецкой
Брюзгливым оком обозрел
Покой, где праздник молодецкой
Порой недавнею гремел.
Он чувство возбуждал двойное:
Великолепье отжилое,
Штоф полинялый на стенах;
Меж окон зеркала большие,
Но все и в пятнах и в лучах;
В пыли завесы дорогие,
Давно не чищенный паркет;
К тому же буйного разгулья
Всегдашний безобразный след:
Тут опрокинутые стулья,
Везде табачная зола,
Стаканы среди стола
С остатками зазорной влаги;
Тарелки жирные кругом;
И вот, на выпуске печном,
Строй догоревших до бумаги
И в блеске утренних лучей
Уже бледнеющих свечей.

Открыв рассеянной рукою
Окно, Елецкой взор тупой,
Взор, отуманенный мечтой,
Уставил прямо пред собою.
Пред ним, светло озарена

Наставшим утром, ото сна
Москва торжественно вставала.
Под раннюю лазурной мглой
Блестящей влагой блёск дневной
Река местами отражала;
Аркада длинного моста
Белела ярко. Чуден, пышен,
Московских зданий красота,
Над всеми зданьями возвышен,
Огнем востока Кремль адел.
Зажгли лучи его живые
Соборов главы золотые;
Меж ними царственно горел
Иван Великий. Сад красивый,
Кругом твердыни горделивой
Вияся, живо зеленел.
Но он на пышную столицу
Глядел с душевною враждой.
За что? О том в главе другой
Найдут особую страницу.
Он был воскормлен сей Москвой.
Минувших дней воспоминанья
И дней грядущих упованья —
Всё заключал он в ней одной;
Но странной доли нес он бремя,
И был ей чуждым в то же время,
И чуждым больше, чем другой.

Глава II

Отца и матери Елецкой
Лишился в годы те, когда
Обыкновенно жизни светской
Нам наступает череда.
И свет узнал он, и сначала
Являлся в вечер на три бала;
С визитной карточкой порой
Летел на выезд городской.
Согласно с общим заведеньем,
Он в праздник пасхи, в Новый год
К дядям и теткам с поздравленьем
Скакал с прихода на приход...

Живее жизнью насладиться
Алкал безумец молодой
И начал с первых дней томиться
Пределов светских теснотой.
Ему в гостиных стало душно:
То было глупо, это скучно.
Из них Елецкой мой исчез,
И на желанном им просторе
Житьем он новым зажил вскоре
Между буянов и повес.
Развратных, своевольных правил
Несчастный кодекс он составил;
Всегда ссылалось на него
Его блажное болтовство.
Им проповедуемых мнений,
Иль половины их большой,
Наверно, чужд он был душой,
Причастной лучших вдохновений;
Но, мысли буйством увлечен,
Вдвойне молву озлобил он.

С Москвой и Русью он расстался,
Края чужие посетил;
Там промотался, проигрался
И в путь обратный поспешил.
Своим пенатам возвращенный,
Всему решительным венцом,
Цыганку взял к себе он в дом,
И, общим мненьем пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь.

Тут нашей повести начало.
Неделя светлая была
И под Новинское звала
Граждан московских. Всё бежало,
Всё торопилось: стар и млад,
Жильцы лачуг, жильцы палат,
Живою, смешанной толпою,
Туда, где, словно сам собою,
На краткий срок, в единый миг,
Блестая пестрыми дворцами,

Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник —
Столица легкая безделья
И бесчиновного веселья,
Досуга русского кумир!
Там целый день разгульный пир;
Там раздаются звуки трубны,
Звенят, гремят литавры, бубны;
Паясы с зыбких галерей
Зовут, манят к себе гостей.
Там клепер знает чёт и нёчет;
Ножи проворные венцом
Кругом себя индеец мечет
И бисер нижет языком.
Гордась лихими седоками,
Там одноколки, застучав,
С потешных гор летят стремглав.
Своими длинными шестами
Качели крашенные там
Людей уносят к небесам.
Волшебный праздник довершая,
Меж тем с веселым торжеством
Карет блестящих цепь тройная
Катится медленно кругом.

Меж балаганов оживленных,
Ежеминутно осажденных
Нетерпеливою толпой,
Давно бродил Елецкой мой.
Окинув взорами собранье,
В одном остановил вниманье
Он на девице молодой.
Своими чистыми очами,
Своими детскими устами,
Своей спокойной красотой,
Одушевленной выраженьем
Сей драгоценной тишины,
Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны.
Давно он знал ее заочно.
С его глазами ненарочно
Глазами встретилась она;

Их выраженьем смущена,
Покрылась краскою живою
И отвела тихонько взор.
Охвачен бедственной межою,
Не зрел Елецкой с давних пор
Румянца этого святого!
Упавший дух подъявля в нем,
Он был для путника ночного
Денницы розовым лучом.
Он к милой думой умиленной
Летит. Меж тем она встает;
Девиче руку подает
Ее сосед, старик почтенный;
Из балагана йдут вон —
И их в толпе теряет он.

Узнать, душою не в покое,
Он жаждет имя дорогое!
И незнакомка названа.
Гражданка сферы той она,
Того злопамятного света,
С кем в опрометчивые лета,
В избытке гордом юных сил,
Сам в бой неровный он вступил.
Смягчит ли идол оскорбленный
Он жертвой позднею своей?
Против него предубежденной,
Предстать осмелится ли ей?
И всех преград он сам виною!
Меж тем в борьбе его с молвою
Прошло, промчалось много дней.
Елецкой мыслил промежутком;
Полней других созрел рассудком
Он в самом опыте страстей,
И наконец среди пороков,
Кипевших роем вокруг него,
И ядовитых их уроков,
И омраченья своего
В душе сберег он чувства пламя.
Елецкой битву проиграл,
Но, побежденный, спас он знамя
И пред самим собой не пал.

Глава III

Незамечаем и неведом,
За милю бродил он следом;
В тени задумчивых дубров
Прекрасных пресненских прудов,
В аллеях стриженных бульвара,
Между красавиц городских
Искал он девы дум своих.
Не для блистательного дара
Актеров наших посещал
Он душный театральный зал —
Елецкой, сцену забывая,
С той ложи не сводил очей,
В которой Вера молодая
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней.
Вкусив неполное свиданье,
Елецкой приходил домой
Исполнен мукою двойной;
Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.

Однажды... погасал, свежая,
Июльский день. Бульвар Тверской
Дремал под нисходящей мглой;
Пустела длинная аллея;
Царица тишины и сна,
Высоко поднялась луна.
Но со знакомыми своими
Еще, в болтливом забытье,
Сидела Вера на скамье.
В соседстве, не замечен ими,
За липой темной и густой,
Стоял влюбленный наш герой.
Перчатку Вера уронила.
Поспешно поднял он её
И подал ей. Лицо свое
К нему с испугом обратила
Младая дева. Разговор
Прервав, на нем остановила

Встревоженный, но долгий взор.
Судьбу, душой своей довольной,
Он и за то благодарил.
Елецкой Веру поразил
Своей услугой своевольной,
И, хоть на час, ее мечта
Им, верно, будет занята.

Что ж! и сомнительное счастье
Мгновенных, бедных этих встреч
Ему осеннее ненастье
Не позамедлило пресечь.
Покрылось небо облаками;
Дождь бесконечный ливня лил;
И вот мороз его сменил.
Застыли воды, снег клоками
На мостовую повалил, —
Пришла зима. Свистя, крутится
Метель на пресненских прудах,
На обнаженных деревьях
Бульвара иней серебрится.
Там, где недавно порой
Гуляли грации толпой,
Какой-нибудь жандарм усатый,
Шагая, шпорами стучит;
С метлой стоит мужик бородатый,
Иль школьник с сумкою бежит.
Для балов, вечеров при этом
Театр оставлен модным светом.
Елецкой мрачен и сердит...

Но вот в известном маскараде
Должна быть Вера. Ожил он
И в полнадежде, в полдосаде
Лелеет деятельный сон.

Живая музыка играет;
Кадрили выются ей под лад,
Кипит, пестреет маскарад.
В его затею не вступает
И кстати большинство гостей;
В тень их он еще видней.

Призраки всех веков и наций,
Гуляют феи, визири,
Полишинели, дикари,
Их мучит бес мистификаций;
Но не выходит хитрых фраз:
«Я знаю вас! я знаю вас! . . .»
Ни у кого для продолженья
Недостает воображенья.
Признаться надобно: не нам,
Сугробов северных сынам,
Приноровляться к детям юга!
Метелей дух не создал нас
Для их блистательных проказ.
К чему неловкая натуга?
Мы сохраняем холод свой
В приемах живости чужой.

Елецкой из ряду выходит
И Веру чуть с ума не сводит.
Успел разведать он о ней
Довольно этих мелочей,
В которых тайны роковые
Девуцы видят молодые.
В словах запутанных своих
Он намекает ей о них;
И, удивленья и смущенья
Полна, горит она лицом
И вот выходит из терпенья.
«Я как обманутая сном!
Скажите, ради бога, кто вы?»

Е л е ц к о й

Вы любопытны, как дитя.
Итак, со мною не шутя
Вы познакомиться готовы?
Нежданным именем моим
Я испугаю вас.

В е р а

Как скучно!

Всё шутки.

Е л е ц к о й

Я не склонен к ним

И остерег вас добродушно.
Я дух... и нет глуши, жилья,
Где б я, незримый, не был с вами.
Всё чутким ухом слышу я,
Всё вижу зоркими очами.
Не бойтесь! слушаю, гляжу
Я с полной преданностью дружбы;
Неожидаемые службы
Я вам догадливо служу;
Однажды перед ваши очи
Я в виде смертного предстал;
В ту пору сумрак летней ночи
Мне образ видимый давал...
Вы узнаете?

В е р а

Ваши сказки

Вы продолжите до утра.
Смотрите: все снимают маски,
Снимите же свою, пора!

Е л е ц к о й

Не мне. Оставьте убежденья,
Я не исполню ваш приказ.
Лицо открыл бы я для вас
Без выраженья, без значенья.
Нет, нет; я вспомню веселей
Сей разговор непринужденный,
Почти неожиданно уловленный
Счастливой маскою моей,
Чем взор холодного смущенья,
Который на лицо мое
Вперите вы, когда ее
Сниму я вам из угожденья.
Нет, я б не мог его снести!
Прощайте; я не здешний житель;
В мою неизвестную обитель
Я должен вовремя сойти.

Елецкой тихо удалился;
Уж был у выхода и зал
Совсем, казалось, покидал,
Но у дверей остановился:
Взглянуть он раз еще желал
На Веру... Тихий взор он встретил,
Мольбу немую в нем заметил,
Укор в нем дружеский постиг,
И скинул маску. В этот миг
Пред ним лицо другое стало,
Очами гневными сверкало
И дико поднятой рукой
Грозило Вере и пропало
С Елецким вместе за толпой.

Глава IV

Едва веселыми лучами
День новый окна озлатил,
Елецкой скорыми шагами
Уже по комнате ходил.
Порой, в забвении глубоком
Остановясь, прилежным оком
Во что-то всматривался он.
Во взорах счастье выражалось;
Перед душой его, казалось,
Летал веселый, светлый сон.
Через мгновенье пробужденный,
Он, тем же чувством озаренный,
Свою прогулку продолжал
И скоро снова прерывал.
В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом.
Усталость выражали очи:
Казалось, в продолженье ночи
Их Сара не смыкала сном.
Она порывисто чесала
Густые, черные волосы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала.

Она склонялась головой,
Но на Елецкого порой
Взор исподлобья подымала.
Какою злобой он дышал!
Другой мечты душою полон,
Подруги он не замечал;
К ней напоследок подошел он.
«Что это смотришь ты совой? —
Сказал он. — Сара, это с тобой?
Да молви слово!»

С а р а

Ах, мой боже!
Ты ждешь ответа моего?
Вот он: я знаю, отчего
Ты так доволен!

Е л е ц к о й

Отчего же?

С а р а

Меня ты думал обмануть,
Когда вчера, кривя душою,
Ты мне с заботою такую
Скорей советовал заснуть!
«Устала, Сара? Дремлешь, Сара?
Ляг, Сара, спать!» И я легла,
Да уж нарочно не спала!
Давно грозит мне эта кара!
Давно я брошена тобой!
Ты сутки целые порой
Двух слов со мной не произносишь,
Любимых песен-петь не просишь!
Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела?
Ее вчера я разглядела:
Совсем, совсем не хороша!

Е л е ц к о й

Так вот в чем дело!

Сара

Сара знает,

Какая ждет ее судьба
За то, что служит, угождает
Тебе по воле, как раба:
Со знатной барышней своею
Ты обвенчаешься, а с нею
Простишься, и ее на двор
Метлою выметут, как сор.

Елецкой

Ты совершенно сумасбродишь!
Какие странные мечты!
По пустыкам горюешь ты
И на меня тоску наводишь.

Сара

А кто, бывало, говорил,
Ко мне ласкаясь то и дело:
«Тебя я, Сара, полюбил.
Жить одному мне надоело,
Будь мне подругою! со мной
Живи под кровлею одной!
Я нравом весел; живо, шумно,
В пирах и песнях завсегда
Мы будем проводить года».
Я согласилась безумно.
Что ж вышло?

Елецкой

Из моих речей

Тобой забыта половина.
Я говорил: твоя судьбина
Не будет скована с моей!
Покуда любо жить со мною,
Живи! наскучило — прощай,
Былую радость поминай!
С твоей свободой той порою
Я выговаривал мою.
Но я тебя не узнаю!

И, сердце будущим тревожа,
Ты на цыганку не похожа.
Ваш род беспечен.

С а р а

Проклят он!
Он человечества лишен!
Нам чужды все края мирские!
Мы на обиды рождены!
Забавить прихоти чужие
Для пропитанья мы должны.
Я о себе молчу: цыганка
Вам не подруга, а служанка!
Она пляши и распевай,
А сердцу воли не давай.

Е л е ц к о й

Оставь пустые опасенья,
Не разлучимся мы с тобой.
Хотя другого поколенья,
Родня я вашему судьбой.
И я, как вы, отвержен светом,
И мне враждебен сердца глас...
Не распадется, верь мне в этом,
Цепь, сопрягающая нас.

Когда с цыганкой молодою
Судьба Елецкого свела,
Своей разгульною душою
Она мила ему была.
«Я горя знать не буду с нею.
Каких тяжелых, черных дум,
Мне иногда гнетущих ум,
Свободной резвостью своею
Не удалит она сейчас?
Кому при блеске этих глаз
Приснятся мрачные печали?»
Так думал он; но дни мелькали;
К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой.

Ему потом уж стали в бремя
Затем девы удалой.
Не принимая в них участия,
Уж он желал другого счастья:
Души, с которой мог бы он
Делиться всей своей душою.
Надеждой темной увлечен,
Он Саре пробовал порою
Передавать свои мечты;
Но образованного чувства
Язык для дикой красоты
Был полон странной темноты.
Она, не ведая искусства,
Под речи друга своего
Без всякой совести зевала,
Иль в скором времени его
Сторонней шуткой прерывала;
Но смутно трогалась, и ей
Невразумительных речей
Цыганка голос понимала.
Подруге ветреной своей
Он ежедневно был милей,
Но к ней хладил по той же мере.
Когда, любовью вспыхнув к Вере,
Он нравом стал еще мрачней,
Она развлечь его хотела,
Она родные песни пела,
Она по стульям, по столам
С живыми кликами скакала;
Она при нем по пустыкам
Как можно громче хохотала;
Но всегда ее смущал
В то время взор его брюзгливый,
Пред ним порыв ее игривый
В одно мгновение упал.
Она сердилась и роптала,
И грусть давила сердце ей.
И тщетно Сара призывала
Покой и радость прежних дней.

Глава V

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Как часто в середине бала,
Когда уж музыка играла
Иль попури, иль котильон
И Вера, со своим танцором
Наскуча пошлым разговором,
Погружена в сторонний сон,
Глазами молча провожала
Среди блистательного зала
Пред нею вьющиясь четы, —
Елецкой речию свою,
Нежданно слышимой за нею,
Вдруг прерывал ее мечты.
Довольно холодно сначала
С ним в разговор она вступала,
Но оживлялася потом,
И, ободрен ее вниманьем,
Он был заманчивым свиданьем
К свиданью новому влеком.

Однажды он за стулом Веры
Средь вихря бального сидел.
В своих речах уж не умел
Он соблюдать холодной меры;
Она исчезнула. Лишен
Над пылким сердцем всякой власти,
Уж говорил открыто он
С ней языком мятежной страсти.
Кончая, «Дайте мне ответ! —
Он молвил. — Многое во вред
Мне городская злоба трубит;
Сжился я со враждой молвы;

Но вы? что думаете вы
О том, который вас так любит?»

В е р а

Что все другие; даже мне
Еще известнее, как пра́ва
О вас рассеянная слава,
Как должно верить ей вполне.

Е л е ц к о й

Вам всех известней? Вы всех строже?
Но почему же, отчего же?

В е р а

Когда глаза мои в тот раз
Меня в обман не приводили,
Словами вашими сейчас
Двух, не одну вы оскорбили.

Е л е ц к о й

Я вашей искренности рад.
Уже в судьбе моей стократ
Я с вами жажду объясненья!
Примите исповедь мою,
Весьма во многом, нет сомненья,
Останусь я без извиненья,
Но ничего не утаю.

Елецкой в тягостную повесть
Минувших дней своих вступил,
Свою запутанную совесть
Он перед Верой обнажил;
Поверил ей без украшенья
Свои былые заблужденья.
К которым, впрочем, был влеком
Он меньше сердцем, чем умом.
С ее случайно знакомкой,
Своею смуглой однодомкой,
Свое сближенье передал,
Как сам его он понимал:
Одним внушением унылым
Души, томимой пустотой,

Союзом, столько же постылым
Теперь ему, как ей самой.
«К ней обратиться, — он прибавил, —
Безумный миг меня заставил;
Ошибся я в себе и в ней.
Нет, нет! я не был с нею дружен!
Я для души ее не нужен, —
Нужна другая для моей».

И тихо речь его журчала
За Верой, ей одной слышна.
Но что? вникала ли она
В слова его? Она молчала;
Была чуть-чуть обращена
К нему щека ее одна;
Но это легкое движенье
Заметить было мудрено,
Злословье самое оно
Не привело бы в искушенье.
Ей изменяло лишь одно:
Вниманье к балу притупело,
И краснощекий офицер,
Тогдашний Верин кавалер,
Ее в то время то и дело
К порядку танца пробуждал
И ей фигуры толковал.

Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотою.
Недавно дева молодая,
Красою свежую блистая,
Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;
Хотело б сердце у нее

Себе избрать кумир единой
И тем осмыслить бытие.
Тут романтические встречи
С героем повести моей,
Его задумчивые речи
Тревожить стали душу ей.
Одно, быть может, впечатленье
Ей берегло воображенье...
Его рассеял он. С какой
Благополучною душой
С тех пор она ему внимала!
С какую сладостью о нем
В невольном забытьи своем
Уединенная мечтала!
Как, новой жизнью дыша,
Легко ей было! Как блистала,
Как ликовала в ней душа!
Девуца юная не знала,
Живого счастья полна,
Что так доверчиво она
Одной отравой в нем дышала;
Что сей приветный ветерок,
Ее ласкающий так нежно, —
Грозы погибельной пророк:
Что вдруг дохнет она мятежно,
И мир в глазах ее затмит,
И все красы его разрушит,
И все цветы его иссушит,
И жизни путь опустошит.

Глава VI

Летели дни. Свои свиданья
Елецкой с Верой продолжал,
И с каждым больше упованья
Любви своей он обретал.
Увы! старательно скрывая
Заботу сердца, между тем,
Наверно дева молодая
С ним не обмолвилась ничем;
Но не владела выраженьем

Лица невинного она,
На нем со всем ее смятеньем
Была душа ее видна.
«Любим я!» — с ропотом и мукой
Елецкой сам себе твердил.
Великий пост уж подходил
И с Верой скорою разлукой,
Разлукой долгою грозил!

.
.

«Нет! — мыслит он, — до расставанья,
Во что бы ни было, должна
Решить судьбу мою она!»

Он ждет удобного мгновенья;
И Вера, время разлученья
Предвидя, днями дорожит
И их считает и грустит.
Уехал дядя. В тихой зале,
Пои свете двух свечей, одна,
Твердила на своем рояле
Урок докучливый она;
Полна душой другой заботы,
Насильно всматривалась в ноты...
Вдруг... протянувшись перед ней,
Закрыла их рука чужая.
Ветр пошатнул огонь свечей;
Вадрогнула дева молодая,
Оборотилася, глядит —
Елецкой перед ней стоит.
«Не беспокойтесь, ради бога!
Какая странная тревога
У вас написана в глазах!
Я вас прошу, не уходите!
Чего боитесь вы? сидите,
Я всё скажу вам в двух словах».

В е р а

Я не могу остаться с вами!
Подите. Разговор такой
Мне неприличен. Боже мой!

Одна я, видите вы сами!
Подите.

Е л е ц к о й
Наперед я знал,
Что я застаю вас одною,
Одну я видеть вас желал.
Остаться должно вам со мною,
Вам должно выслушать меня.

В е р а
Оставьте до другого дня,
Я умоляю вас, подите!
Мой дядя будет сей же час.

Е л е ц к о й
Один вопрос: люблю я вас,
Вы это знаете. Скажите:
Я равнодушен вам иль нет?

В е р а
На всё, на всё один ответ:
Подите!..

Е л е ц к о й
Вы ли говорили?
Я ль слышал вас? и не во сне!
Я не любим... Зачем же мне
Давно вы это не внушили?
Своей холодности зачем
Вы мне тотчас не показали?
Зачем, скажите, мне внимали
Вы так приветно между тем?
Зачем, глаза мои встречая,
Не отводили ваших глаз?
Зачем дышала всякий раз
В них дума нежная такая?
Дитя! кокетки записной
Постигнув опытную ролю,
Признайтесь: вы играли вволю
Моей безумною душой!
Кто б мог подумать! в ваши лета!

Мою любовь мне не забыть;
Желал бы я ее предмета
Не презирать. Но, так и быть!
Прощайте!

В е р а

Нет! такого мненья
Я не оставлю ни за что!
Неправы ваши заключенья.
Я прямодушна. Я не то
Сказать хотела... Нет... Просите
Руки моей, и если...

Е л е ц к о й

В ы?

Вы мне об этом говорите?
А восклицанья всей Москвы!
На наш союз ваш дядя строгой
Не согласится никогда;
Молитвы будут без плода.
Нет, Вера, нет! другой дорогой
Идти нам должно. Для венца
Сегодня ночью у крыльца
Я ждать вас буду. Всѣ готово.
Бежать со мною дайте слово!
Любовь слепая мне нужна.
Решитесь.

В е р а

Я изумлена

Таким неожиданным предложеньем.
Нет, это будет преступленьем!
Нет, я и думать не хочу!
Я так ужасно огорчу
Того, который...

Е л е ц к о й

Всѣ забудет

Он, нашим счастьем счастлив,
И напоследок справедлив
Он и ко мне, наверно, будет.
Ему (вам нужно ль обещать?)

Я буду сыном самым нежным.
Страдал я долго безнадежным —
Ах, Вера! снова ли страдать!
Меня вы любите; судьбиной
Оставлен нам исход единый.
Ах, Вера, Вера! сердце в вас
Сей миг решительный измерит,
Меня печально разуверит
В нем малодушный ваш отказ.
Всё, всё он кончит между нас!
Бегите, Вера! дайте руку...
Не на ужасную разлуку,
С которой не сживуся я,
Но на союз святой и вечный.
Мой милый друг, мой друг сердечный!
Скажи: не правда ль? ты моя?

В е р а

Люблю, люблю я вас... Но что же?
Что предлагаете вы мне?
На что решиться? Боже, боже!
Подумать дайте в тишине!

Е л е ц к о й

Я знаю, горестная мера;
Но — ты ль не видишь? — нет жной!
Решись!

В е р а

Не нынче!

Е л е ц к о й

Нынче, Вера;
Сегодня, друг бесценный мой!

Недолго дева молодая
Еще противилась ему.
Он нежно к сердцу своему
Прижал ее. Лицом пылая,
Потупя взор, склонив главу,
Она умом изнемогала

И, ни во сне, ни наяву,
Свое согласие прошептала.

Елецкой ликовал душой;
По темной улице домой
Он шел походкою веселой.
Но у порога своего
Остановился; ум его
Смутился думою тяжелой:
Там Сара! — В голове своей
Уже Елецкой принял меры,
Чтоб неприличной встрече с ней
Вновь не подвергнуть милой Веры.
Москву с невестой в эту ночь
Покинет он; обряд венчальный
Он совершит в деревне дальней;
Он всё предвидел, всё точь-в-точь
Обдумал. Сары он не знает;
Любовью в ней не почитает
По нем расчетливой любви;
Не верит в ней ревнивой муке.
«Из них любую призови —
Все тверды в нужной им науке!» —
Так мыслил он. Но в этот миг...
Иль Сару лучше он постиг
При наступающей разлуке?
Упрек в душе его возник.
Его докучное внушеньё
Он опроверг в уме своем
И, отряхнув недоуменьё,
Вошел в свой дом, где в то мгновеньё
И Сара думала о нем.

Глава VII

Грустила брошенная Сара;
Но в этот вечер было ей
Еще грустней, еще тошней.
Почти болезненного жара
Была тоска ее полна.
В своем волнении она

Платком в лицо себе махала —
Прохлады воздух не давал,
Но кровь ей пуще волновал!
Иглу к работе принуждала —
Колола пальцы ей игла.
Гадать цыганка начала —
Еще тошнее: карты вращали,
Когда ей счастье предрекали,
И наводили страх, когда
В них выходила ей беда.
Их со стола она столкнула,
Шитье отбросила, вздохнула,
На стол локтями опершись,
Цыганка стиснула руками
Чело... и смятыми кольцами
Вкруг пальцев кудри обвились.
Закрыв глаза, она сидела...
Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» — К ней
В покой из боковых дверей
Цыганка старая глядела.

С а р а

Ненила, ты? войди скорей;
Я жаждалась тебя, Ненила;
Совсем я брошена, совсем!
Не угрожу ему ничем.
Хотя бы ты мне услужила!
Что, принесла ли?

С т а р у х а

Принесла.

Да уж насилу добрела,
Метель такая закутила!
Гляди-ка — вот твое вино!
Уж удружит тебе оно;
Спасибо скажешь.

С а р а

Ах, Ненила!

Верь, ты мне душу воротила!
Я полюблюсь ему опять?
Да полно, правда ль?

Старуха

Что мне лгать!

Лишь дай испытать, сама увидишь!
Он обвенчается с тобой,
И заживешь ты госпожой,
А там старухи не обидишь.
Ты мне поверь, моя красотка,
Придут благие времена!

Сара

Как я тобой одолженá!
Но там идут: .. его походка;
Поставь подарок свой на стол.
Да и прощай, уйди отселе,
Уйди скорее!

В самом деле,

Елецкой в комнату вошел.
В глазах его была суровость,
Пред Сарой молча он ходил;
Речь наконец к ней обратил.
«Тебе сказать я должен новость:
С тобой я скоро расстанюсь.
Послушай, Сара! я женюсь».

Лицо у Сары побледнело
И загорелось в тот же миг.
Нож острый в сердце ей вонзил,
Оно то стыло, то кипело;
Хотела б смертная тоска
Излиться воплем и слезами...
Рвалися бурными волнами
У ней попреки с языка...
Но эти первые движенья
Она в себе перемогла
И голос мирный обрела,
Хотя дрожащий от волнения.
«Давно я этого ждала!
Не удивишь меня разлукой, —
Сказала Сара. — Долгой мукой
Я приготовлена была.
А скоро ль свадьба?»

Елецкой

В доме этом

Я не ночую; не жалей
О старине. В судьбе твоей
Я обязуюсь ответом,
И уж подумал я о ней;
Довольна будешь.

Сара

Мне не нужно

Постылых милостынь твоих.
Не беспокойся, и без них
С тобой расстануся я дружно.
Пенять не буду я тебе.
Жила я весело, счастливо;
Теперь не то, — какое диво?
Не всё стоять одной судьбе!
У нас верна одна могила;
А кто на свете долго мил?
Как ты сегодня разлюбил,
Так я бы завтра разлюбила;
За что сердиться?

Елецкой

Очень рад.

Дай руку, Сара! Пред тобою
Я совершенно виноват.
Я вижу, выше ты душою,
Чем полагал доселе я:
Ты не притворщица пустая.
Обыкновенье ваше зная,
Я ждал упреков, слез, вытъя...
Спасибо, нет их; без сомненья,
Простимся дружно мы с тобой.
Мила ты, Сара!

Сара

Плач и вой

В душе... Но что до сокрушенья!
В слезах и воплях толку нет.
Мы расстаемся? Власть господня!
Простимся весело. Сегодня

Я именинница, мой свет!
В последний раз мое здоровье
Ты должен выпить... но до дна!
Как в старину; смотри ж: условие!
Не то сейчас заплачу... На!

Е л е ц к о й

Твое здоровье? Рад душою...
И вот — ни капли нет на дне.
Надеюсь, ты довольна мною?

С а р а

Спасибо! Сядь теперь ко мне,
Поговорим по старине.

И с равнодушным послушаньем
К ней на диван Елецкой сел,
Но, далеко уже мечтаньем,
Он на часы свои глядел.
«Скажи мне, — Сара продолжала, —
Судьбою новою своей
Доволен ты?»

Е л е ц к о й

А что?

С а р а

Ей-ей!

Я коротко твой нрав узнала:
Не переменишься ты в нем...
Привык ты к беззаботной доле,
Разгульной жизни, вольной воле,
Стошнишь порядочным житьем.
Наскучит, твердо предрекаю,
Тебе и милая твоя, —
Тебе наскутила же я!
Жаль бедной! По себе я знаю,
И слишком знаю, какво!
Как я бы выла да рыдала,
Когда бы втайне не питала

Еще у сердца моего
Одной надежды!

Е л е ц к о й

Полно, что ты?

Все были кончены расчеты, —
Что за надежда?

С а р а

Брежу я.

И как равняться я посмею
С невестой счастливой твоею!
О ней единой мысль твоя;
Ты ею дышишь. Ах, царица,
Царица светлая она!
Я перед нею пыль одна.
Но... в ум придет же небылица!
Забудь любовь свою на час:
Какая разница меж нас?
Что я цыганкой уродилась?
Что нет за мною сёл, хором?
Что говорить не научилась
Я иностранным языком?
Вот всё. Не шутка, очень знаю!
Но сердцем я не уступаю
Твоей невесте. Чем она
Любовь поныне доказала?
Какие слезы проливала?
Что перенести была должна?
А я... что слез я источила,
Каких обид не проглотила,
Молчанье горькое храня!
Ты разлюбил, я всё любила;
Ты гнал безжалостно меня —
К тебе я, злобному, ласкалась,
Как собачонка. Рассмотря
Меня получше: говори,
Такая ль я тебе досталась?
Глаза потухнули от слез;
Лицо завяло, грудь иссохла;
Я только, только что не сдохла!..
Ты все молчишь?

Елецкой

Тебе нанес

Я много горя... Я не ведал,
Когда другой мой жребий предал,
Что ты... Но что со мною? .. Свет
В глазах темнеет... всё кружится...
Мне дурно, Сара, дурно...

Сара

Нет!

Я знаю, что в тебе творится.
В душе мятущейся твоей
Я чудным чудом оживаю,
Разлучницы проклятой в ней
Бесовский образ погашаю.
Бледнеешь ты... Немудрена
Измена мне, а ей страшна!
Будь ей теперь моя судьбина!
Томись она, крушись она!
С тоски иссохни, как лучина!
Умри она! ты мой: приди,
Прижмись опять к моей груди!
Очнись от лютого угара,
Приди, и всё забуду я.
Узнай меня, узнай: я Сара!
Я Сара прежняя твоя.

Цыганка страстными руками
Его, рыдая, обвила
И жадно к сердцу повлекла.
Глядел он мутными глазами,
Но не противился. Главой
Он даже тихо приклонился
К ее плечу; на нем, немой,
Казалось, томно позабылся.
По грозной буре, тишина
Влилась отрадно в сердце Сары.
«Он мой! подействовали чары!» —
С восторгом думала она.
Но время долгое проходит —
Он всё лежит, он всё молчит;

Едва дыханье переводит
Цыганка. «Милый мой! . . Он спит.
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;
Миг страшной истины настал:
Она взгляделась — труп холодный
В ее объятиях лежал.

Глава VIII

Стояла ночь уже давно.
Градские стогны опустели;
В домах уснувших ни одно
Не озарялося окно,
Все одинаково чернели.
Луна не светит, всё молчит;
Лишь ветер воет и свистит,
Метель до кровель воздымая.
Обету своему верна,
До самой улицы одна
Доходит Вера молодая;
Никем не встречена она.
В лицо суровый и холодный
Ей дует ветер непогодный,
И ночь ненастная черна.
Она стоит; она мгновенья
Считает, полная волненья. . .
Бегут мгновенья! Вера ждет —
Он не приходит; не придет!
В ней сердце замерло. . . девицу
Приемлет снова прежний кров.
Уж ранний вой колоколов
Порою той будил столицу,
И в город, сквозь ночную тень,
Уж, голубея, крался день.

Холм, под которым спит Елецкой,
Где он забыл любовь, вражду,
Где равнодушен он к суду
Толпы и светской и несветской,
Уж не однажды порастал
Весенней, новою травую,

И снег пушистой пеленою
Его не раз уж покрывал.
Но долго ль юноша несчастный
Жил в сердце Веры? Много ль слез,
Ее сердечных первых грез,
У ней исторг обман ужасный?
В ту ж зиму, с дядей-стариком,
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась;
Блестает тою же красой;
Но строже смотрит за собой:
В знакомство тесное не входит
Она ни с кем. Всегда отводит
Чуть-чуть короткий разговор.
Подчинены ее движенья
Холодной мере. Верин взор,
Не изменяя выраженья,
Не выражает ничего.
Блестящий юноша его
Не оживит, и нетерпенья
В нем не заметит старый шут;
Ее смешливые подруги
В нескромный смех не вовлекут;
Разделены ее досуги
Между роялем и канвой;
В раздумье праздном не видали
И никогда не заставляли
С романом Веры Волховской.
Девницей самой совершенной
В устах у всех она слывет.
Что ж эту скромность ей дает?
Увы! тоскою потаенной
Еще ль душа ее полна?
Еще ли носит в ней она
О прошлом верное мечтанье
И равнодушна ко всему,
Что не относится к нему,
Что не его воспоминанье?
Или, созрев умом своим,
Уже теперь постигла им
Она безумство увлеченья?

Уразумела, как смешно
И легкомысленно оно,
Как правы принятые мненья
О романтических мечтах?
Или теперь в ее глазах
За общий очерк, в миг забвенья,
Полусвершенный ею шаг
Стал детской шалостью одною,
И с утонченностью такою,
Осмотрю светскому верна,
Его сама перед собою
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши —
Утрачен Верой молодую
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Куда, заснувшею столицей,
При ярком блеске зимних звезд
В санях несется вереницей
Весельчаков ее поёзд?
К цыганам. Пред знакомым домом
Остановились. В двери с громом
Стучат; привычною рукой
Им отворил цыган седой.
В хоромах спящих тьма густая,
Но путь знаком. Толпа лихая
Спешит проникнуть в тот покой,
Где, ночи шумной ожидая,
Еще с вечерней первой мглой
В свои постели пуховые
Легли цыганки молодые.
Уж гости ветреные там,
Уж кличут дев по именам.
Но всё египетское племя
Кругом приезжих в то же время
С весельем шумом собралось,
И свеч сиянье разлилось.
Дремоту девы покидают,
Встают на общий громкий зов,
Платками плечи прикрывают,

Ногами ищут башмаков
И вот уж весело болтают,
И табор к пению готов.
Одна цыганка на постели
Сидит недвижно. На гостей
Глядит сердито. Роем к ней
Подруги смуглые подсели;
Свой дикий взгляд она хранит,
Устами молча шевелит
Или бессмысленно порою,
Вздыхнув, качает головою.
Но грянул своенравный хор —
Блеснул ее туманный взор,
Уста улыбка озарила;
Воскреснув в крике хоровом,
Она, веселая лицом,
С ним голос яркий согласила.
Умолкнул хор — и вновь она
Сидит сурова и мрачна.
Так воротилась в табор Сара.
Судьбы последнего удара
Цыганка вынести не могла
И разум в горе погребла.
Вотще родимые напевы
Уносят душу бедной девы
В былые, лучшие года!
Так резвый ветер иногда
Листок упавший подымает,
С ним вьется в светлых небесах,
Но, вдруг утихнув, опускает
Его опять на дольний прах.

1829—1831, 1842

ПРИЛОЖЕНИЯ

(Теперь певцы говорят сами:)

Хотя и согнан я с Парнаса,
Всё на Песках я молодец:
Я председатель и отец
Певцов 15-го класса.

Я перевел по-русски Тасса,
Хотя его не понимал,
И по достоинству попал
В певцы 15-го класса.

Во сне я не видал Парнаса,
Но я идиллии писал
И через них уже попал
В певцы 15-го класса.

Поймав в Париже Сен-Томаса,
Я с ним историю скропал
И общим голосом попал
В певцы 15-го класса.

Я конюхом был у Пегаса,
Навоз Расинов подгробал,
И по Федоре я попал
В певцы 15-го класса.

Я сам, Княжевич, от Пегаса
Толчки лихие получал
И за терпение попал
В певцы 15-го класса.

Хотел достигнуть я Парнаса,
Но Феб мне оплеуху дал,
И уж за деньги я попал
В певцы 15-го класса.¹

Кой-что я русского Парнаса,
Я не прозаик, не певец,
Я не 15-го класса,
Я цензор — сиречь — я подлец.

1822

Сочинил унтер-офицер
Евгений Баратынский с артелью

¹ В сенате — третьего я класса,
А здесь — в 15-й попал. — Прим. соч.

БЫЛЬ

Встарь жил-был петух индейский,
Цапле руку предложил,
При дворе взял чин лакейский
И в супружество вступил.

Он детей молил, как дара, —
И слышал бог богов:
Родилась цаплей пара,
Не родилось петухов.

Цапли выросли, отстали
От младенческих годов,
Длинные, очень длинные стали
И глядят на куликов.

Вот пришла отцу забота
Цаплей замуж выдавать;
Он за каждой два болота
Мог в приданое отдать.

Кулики к нему летали
Из соседних, дальних мест;
Но лишь корм они клевали —
Не глядели на невест.

Цапли вяли, цапли сохли,
Наконец, скажу, вздохнув,
На болоте передохли,
Носик в перья завернув.

1825

* * *

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,
Элегию семье своей читал,
А казачок огарок свечки сальной
В руках со трепетом держал.
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.
«Вот, вот с кого пример берите, дуры! —
Он дочерям в восторге закричал. —

Откройся мне, о милый сын природы,
Ах! что слезой твой осребрило взор?»
А тот ему в ответ: «Мне хочется на двор».

1827

**КУПЛЕТЫ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КНЯГНИ
ЗИНАИДЫ ВОЛКОНСКОЙ
В ПОНЕДЕЛЬНИК,
3-го ДЕКАБРЯ 1828 года,**

**СОЧИНЕННЫЕ В МОСКВЕ КН. П. А. ВЯЗЕМСКИМ,
Е. А. БАРАТЫНСКИМ, С. П. ШВЫРЕНЫМ,
Н. Ф. ПАВЛОВЫМ И И. В. КИРЕВСКИМ**

Друзья! теперь виденья в моде,
И я скажу про чудеса:
Не раз явленьями в народе
Нам улыбались небеса.
Они нам улыбнулись мило,
Небесным гостем подаря, —
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Вокруг эфирной колыбели,
Где гость таинственный лежал,
Невидимые хоры пели,
Незримый дым благоухал.
Зимой весеннее светило
Взошло, безоблачно горя.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Оно зашло, и звезды пали
С небес высоких — и светло
Венцом магическим венчали
Младенца милое чело.
И их сияньем озарило
Судьбу молодого бытия.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Одна ей пламя голубое
В очах пленительных зажгла
И вдохновение живое
Ей в душу звучную влила.
В очах зажглось любви светило,
В душе — поэзии заря.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Звездой полуденной и знойной,
Слетевшей с Тассовых небес,
Даны ей звуки песни стройной,
Дар гармонических чудес.
Явление это не входило
В неверный план календаря,
Но знаем мы, что это было
Оно на третье декабря.

Земли небесный поселенец,
Росла пленительно она,
И что пророчил в ней младенец,
Свершила дивная жена.
Недаром гениев кадило
Встречало утро бытия,
И утром чудным утро было
Сегодня, третье декабря.

Мы, написавши эти строфы,
Еще два слова скажем вам,
Что если наши философы
Не будут верить чудесам,
То мы еще храним под спудом
Им доказательство, друзья:
Она нас подарила чудом
Сегодня, в третье декабря.

Такая власть в ее владенье,
Какая богу не дана:
Нам сотворила воскресенье
Из поведельника она,

И в праздник будни обратило
Веселье, круг наш озаря.
Да будет вечно так, как было,
Днем чуда третье декабря!

1828

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ БАРАТЫНСКОМУ

* * *

С неба чистая,
Золотистая,
К нам слетела ты;
Всё прекрасное,
Всё опасное
Нам пропела ты!

1823—1824(?)

* * *

Грузинский князь, газетчик русский,
Героя трусом называл.
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал —
На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька,
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка.

1827

* * *

Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень, —
И был последний день Помпеи
Для русской кисти первый день!

1836(?)

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ „НАЛОЖНИЦА“ („ЦЫГАНКА“)

Сочинение, представляемое теперь публике, одно из тех, которые журналисты наши обыкновенно называют безнравственными, хотя обвинение в безнравственности довольно странно в государстве, имеющем цензуру и где печатать *позволяется*, являющееся на первом листе книги, уже ручается за безвредность ее содержания.

Странно также, что г-да журналисты, позволяя себе столь неприличные обвинения, называя развратными произведениями «Руслана», «Онегина», «Цыган», «Нулина», «Эду», «Бал» и потому имея полное право поместить в тот же разряд и «Наложницу», до сих пор не определили, в чем, по их мнению, состоит нравственность или безнравственность литературных произведений.

Постараемся решить вопрос, равно важный для писателей и для читателей.

Журналисты наши выразили некоторые положительные требования. Воспевайте добродетели, а не пороки, говорили они; изображайте лица, достойные подражания; пишите для назидательной нравственной цели, не замечая, что каждое из сих требований противоречит другому.

Изобразить какую-либо добродетель — значит заставить ее действовать, следственно подвергнуть испытаниям, искушениям, т. е. окружить ее пороками. Где нет борьбы, там нет и заслуги. Следственно, лицо, достойное подражания, не может выказаться иначе, как между лицами, ему противоположными.

Что такое нравственная цель литературного произведения? В чем состоит она? Есть люди, называющие нравственными сочинениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель. Мнение это некоторым образом противно нравственности, истине и

религии. Ежели бы добродетель всегда торжествовала, в чем было бы ее достоинство? Этого не хотело провидение, и здешний мир есть мир испытаний, где большею частью добродетель страдает, а порок блаженствует. Из этого наружного беспорядка в видимом мире и фео-логи и философы выводят необходимость другой жизни, необходимость загробных наград и наказаний, обещаемых нам откровением.

Нравственное сочинение не состоит ли в выводе какой-нибудь философической мысли, вообще полезной человечеству? Но чтобы в самом деле быть полезною, мысль должна быть истинною, следственно извлеченною из общего, а не из частного. Как же, изображая только добродетель, играющую довольно второстепенную роль в свете, и минуя торжествующий порок, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но необходимо ложную, следственно вредную.

Нет, скажут наши противники, мы не требуем, чтобы вы изображали одну добродетель: изображайте и порок, но первую — привлекательною, второй — отвратительным.

Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны шуточные стихи Панара:

Trop de froideur est indolence,
Trop d'activité turbulence,
Trop de rigueur est dureté,
Trop de finesse est artifice,
Trop d'économie avarice,
Trop d'audace témérité,
Trop de complaisance est bassesse,
Trop de bonté devient faiblesse,
Trop de fierté devient hauteur, etc.¹

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями; но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злему.

Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был бы добродетелен по необ-

¹ Избыток холодности — это равнодушие, избыток деятельности — неутомимость, избыток суровости — черствость, избыток тонкости — лукавство, избыток бережливости — скупость, избыток смелости — безрассудство, избыток услужливости — низость, избыток доброты превращается в слабость, избыток гордости превращается в высокомерие и т. д. (франц.). — *Ред.*

ходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного.

Характеры смешанные, именно те, которые так нелюбимы г-дам журналистам, одни естественны и одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает. Федра, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федра, ей уступающая, — две противоположные Федры; мы любим добродетельную, ненавидим порочную, и здесь мы не можем ошибиться, не можем принять добродетель за порок и порок за добродетель. Действия не смешаны, как характеры; действие добродетельное совершенно прекрасно, действие порочное совершенно безобразно, и нравственный вывод, о котором так хлопочут г-да журналисты, хлопочут до того, что ради одного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные, — этот нравственный вывод внушает нам, без всяких посторонних соображений, всякое лицо, верно снятое с природы.

Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое возбуждает в нас герой трагедии, романа, поэмы даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению? Не говорит ли нам наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие? Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участия, не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей на победу преступной склонности и позволило побороть себя, а не пало под силою обстоятельств, превышающих нравственную его силу. Побежденные троюне возбуждают наше участие потому, что они защищались до последней крайности; побежденные, они не ниже победителей; расчетливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей Трое, и никто не сравнивает ее коменданта с божественным Гектором.

Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противостоять им.

Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственною. Что, например, хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательно неистового честолюбца, жадного битв и побед, стоящих так дорого роду человеческому; кровь его не ужасает; чем больше ее прольет, тем он будет счастливее; чем далее прострет он опустошение, тем он будет славнее;

и эту книгу будут читать юные властители! — Что хуже Гомера? В первом стихе Илиады он уже показывает безнравственную цель свою, намерение воспеть порок:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!

Раскроем даже Ивана Выжигина, творение г. Булгарина, писателя, который всех настоятельнее требует нравственной цели от современных сочинений. Найденыш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это — благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью, помогает какому-то удалцу увести дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом ведет жизнь бродяги, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам; получает толчок от одного офицера, за который не сердится; присваивает себе чужое имя; наконец наследует два миллиона денег, женится по любви и живет в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечете, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придет вам на ум, кроме старой русской пословицы: не родись ни хорош, ни умен, а родись счастливым; но что в ней назидательного?

Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочинения и, из следствия в следствии, заключить с логической основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу.

В таком случае должно запретить и человека. Но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой незванный критик решится воспретить ему дозволенное провидением и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться своим разумом — значит унижить его до животных, его лишенных.

Сами г-да журналисты, вероятно, на это не согласятся: их постигла бы общая участь человечества.

Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно на уничтожение человека, не благоразумнее ли взглянуть на нее с другой точки зрения: не требовать от нее положительных нравственных поучений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней сведений, а ничего иного? Знаю, что можно искать в ней и прекрасного, но прекрасное не для всех; оно непонятно даже людям умным, но не одаренным особенною чувствительностью: не всякий может читать с чувством, каждый — с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествие. Странствователь описывает вам и веселый юг, и суровый север, и горы, покрытые вечными

льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота, поросшие гиною, и целебные и ядовитые растения. Романисты, поэты изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, в географах: известий о любопытных вам предметах; требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний.

Читайте землеописателей, и, не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятие об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не испытанные; нравы, выражение которых, может быть, вы бы сами не заметили; узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели; приобретите к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше.

Ежели показания их верны, впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней провидением, конечно не развратительно, и мир действительный никого еще не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!

Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?

Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное понятие.

Иностранные литературы имеют книги, по счастью неизвестные в нашей: это подробные откровения всех своенравий чувственности, подробные хроники развращения. Несмотря на то, что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания неполны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжелой усталости; какое отвращение возбуждают тогда в развратнике воспоминания нечистых его наслаждений! Выразите так же полно чувство последующее, как полно выразили предыдущее, и картина ваша не будет безнравственною: одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастие, злоупотребляющее силами юности, опишите и следствия злоупотребления. Представьте нам раннюю, болезненную старость сластолюбца, раннюю

неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, дозволенным; ранний упадок умственных его способностей. Что будет поучительнее изображения преждевременно поседевшего разврата, в страданиях благоприобретенного недуга, смешавшего не природным, но заслуженным тупоумием? И в этом изображении не будет ничего насильственного. Невоздержанность телесная приемлет мзду свою еще в здешней жизни; временное тело обретает ее во времени, между тем как неумирающий дух находит ее только в вечности.

С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения, вакхические и застольные песни. Не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата, в эротической поэзии чувственность обыкновенно уравнивается чувством, и большая разница — живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать своенравия разврата, которые нельзя удовлетворить без преступления. Славить вино и обеды не значит проповедовать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевавший иногда красоту и пиршества; Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях; Богданович, который

Киприду иногда являл без покрывала;

Батюшков, Пушкин, написавшие несколько эротических элегий и вакхических песней, конечно не безнравственные писатели. Не говоря уже о том, что сии писатели не ограничивались выражением одного чувства; что подражатель Анакреона — в то же время певец Фелицы, певец бога; что автор стихотворения «Счет поцелуев» — в то же время творец «Ермака» и преложитель высоких песней Давида; что «Душенька» изобилует не одними сладострастными картинками; что между шаловливыми стихотворениями Батюшкова есть и унылые, есть и высокие; что автор «Руслана» — в то же время автор «Годунова»; и что никто не принуждает читателя в целой книге стихотворений твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое, впечатление которого исправит впечатление первого; вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку; и ежели действие не вредит доброй славе одного, еще менее его описание может вредить доброй славе другого.

Тем менее, что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований; что упрекать в разврате эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакреон не желал быть Гомером, Проперций — Виргилием, Шолье — Расином и т. д.?

Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственнее. Но только Гомеры, Шекспиры являют нам полный мир в своих творениях. Дарования односторонние обрекают других на изображение частных. Произведение одного имеет нужду быть поясненным, пополненным произведением другого, и писатели сего рода только в своей совокупности доставляют нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель.

Или не читайте, или читайте всё, иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием — всё равно что читать одну страницу в писателе многообъемлющем. Раскройте Шекспира на монологе злодея, искусными софизмами ободряющего себя к преступлению, остановитесь на нем — и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния; но прочтите всё творение, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна; так и книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке.

Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Но нянька не позволяет ребенку играть ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, несообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет и можем всё видеть и всё слышать, мы можем и всё читать; и как не мир, а мы сами виновны, когда злоупотребляем жизнью, так не писатели, а мы сами виноваты, когда злоупотребляем чтением.

До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвященных изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений, но не говорили о книгах, писанных для доказательства того или другого мнения, книгах, писанных с положительною нравственною целью.

Книги сего рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Мнение тогда только полезно и нравственно, когда оно справедливо; но всякий чувствует (не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием и который нельзя сравнивать со вредом, причиняемым неверным изображением характера, страсти или картины), всякий чувствует, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особенно пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от превратных нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие! Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин не относительных, следовательно мало книг, писанных с нравственною целью, т. е. посвящен-

ных выражению одной избранной мысли, которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравнивать чтением других, им противоречащих.

Заклучим, и, надеемся, так заключит с нами и читатель, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противоречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги.

Просим читателя судить о нравственном достоинстве «Наложницы» по правилам, нами изложенным, а не по правилам, исповедуемым г-дами журналистами, по нашему мнению довольно необдуманным.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Баратынского его стихотворения и поэмы несколько раз издавались отдельными сборниками. В 1827 г. в Москве вышла книга «Стихотворения Евгения Баратынского», содержащая 83 стихотворения и стихотворную сказку «Телема и Макар», написанные поэтом в 1819—1827 гг. В основу построения сборника был положен жанровый принцип: вначале шли три «книги» элегий, затем разделы «Смесь» и «Послания». Следующее издание стихотворений Баратынского в двух частях (под тем же заглавием) вышло в 1835 г. в Москве. Из 131 стихотворений, составлявших первую часть, 77 в исправленном, а иногда и переработанном, виде перешли из сборника 1827 г. Остальные были написаны между 1826—1834 гг., причем 20 из них в печати появились впервые. В этом издании своих произведений Баратынский отказался от жанровой композиции. Стихотворения, напечатанные в нем по большей части без заглавий, идут под сплошной нумерацией, как главы единой лирической автобиографии поэта. Во вторую часть вошли все поэмы Баратынского, опубликованные до того в разное время и изданные отдельно,¹ в том числе и стихотворная сказка «Телема и Макар» (с исправлениями). Наконец, в 1842 г. Баратынский издает последний небольшой сборник «Сумерки» (М., 1842), в который вошло всего 26 стихотворений, написанных в 1834—1841 гг. и представленных в виде единого, стройного цикла.

Первое авторитетное посмертное издание было подготовлено сыном поэта Л. Е. Баратынским («Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского». М., 1869). В этом издании в хронологической последовательности были представлены только стихотворения, вошедшие в состав прижизненных сборников поэта, с присоединением стихотворений, написанных после «Сумерек» (всего 176 стихотворений). К основному тексту прилагались варианты. В издании был напечатан составленный М. Н. Лонгиновым «Библиографический список» всех

¹ Эда, финляндская повесть, и Пыры, описательная поэма Евгения Баратынского. СПб., 1826; Бал. Повесть. Сочинение Евгения Баратынского (напечатана вместе с «Графом Нулиным» А. С. Пушкина в одной книжке: Две повести в стихах. СПб., 1828); Наложница. Сочинение Е. Баратынского. М., 1831.

известных тогда произведений Баратынского. Кроме того, в издании впервые были собраны прозаические произведения Баратынского и многие из его писем. Издание представляло большую ценность и в том отношении, что в его основу были положены рукописные материалы, находившиеся в семейном архиве Баратынских и ныне частично утраченные. Поавда, положенный в основу выбора текста принцип последних редакций не всегда должным образом выдержан редактором и требует в каждом случае тщательной проверки. Издание, подготовленное Л. Е. Баратынским, было переиздано в 1884 г. в Казани другим сыном поэта, Н. Е. Баратынским, внесшим в него некоторые исправления и дополнения.

«Полное собрание сочинений Е. А. Баратынского» (тт. 1—2, СПб., 1914—1915) под редакцией М. А. Гофмана объединяло 222 стихотворения поэта вместо 177, представленных в казанском издании 1884 г. В этом собрании произведения Баратынского, в отличие от всех предыдущих и последующих изданий, были представлены в своих первых редакциях, причем последние редакции некоторых радикально переработанных стихотворений и поэм воспроизводились в особых разделах вслед за основным текстом.

Из изданий последних лет следует еще отметить популярное издание текстов поэта: «Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма» (М., 1951), осуществленное О. Муратовой и К. Пигаревым, со вступительной статьей К. Пигарева.

В основу настоящего издания положено «Полное собрание стихотворений» Баратынского в двух томах, подготовленное редакцией настоящего издания совместно с И. Н. Медведевой в 1936 году («Библиотека поэта», Большая серия).

Так же, как и в двухтомник, в настоящее издание включены все известные нам поэтические произведения Баратынского, с разделением их на лирику и поэмы. Но, в отличие от издания 1936 г., где в каждом из этих разделов воспроизводились композиция и последовательность прижизненных сборников произведений Баратынского, а все не вошедшее в них располагалось в хронологической последовательности в особом разделе, в настоящем издании выделены на первое место и расположены в хронологическом порядке все стихотворения, напечатанные при жизни поэта, независимо от того, включались они в сборник или нет. В особый раздел выделены только те стихотворения, которые не предназначались Баратынским к печати и были опубликованы после его смерти. Они расположены тоже в хронологическом порядке, как и следующие за ними поэмы. Стихотворения, написанные Баратынским совместно с другими поэтами и приписываемые ему, даны в «Приложениях». Кроме того, в «Приложениях» печатается также прозаическое предисловие Баратынского к первой редакции поэмы «Цыганка», опубликованной в 1831 г. под заглавием «Наложница». Предисловие представляет собою творческую декларацию Баратынского по вопросу о различных путях и задачах художественного отображения действительности и тем самым крайне существенно не только для понимания поэмы, но и для поэтической позиции Баратынского тех лет в целом.

Отступление от принятого в издании хронологического расположения допущено только для стихотворений сборника «Сумерки», представляющего собой единый лирический цикл. Стихотворения «Суме-

рек» расположены не хронологически, а в той последовательности, в какой они даны в этом сборнике.

Многие из стихотворений Баратынского не поддаются точной датировке. В тех случаях, когда дата написания определяется приблизительно, по времени первого появления стихотворения в печати, она заключена в угловые скобки. Это означает, что стихотворение написано не позднее данного года. Даты, сопровождаемые вопросительным знаком в круглых скобках, означают, что стихотворение датируется предположительно, на основании тех или других косвенных данных.

Как правило, произведения Баратынского печатаются в последних напечатанных при жизни поэта редакциях. Учитывались также сохранившиеся автографы и копии Н. А. Баратынской с автографов Баратынского, ныне утраченных, но содержащих авторские поправки к последним печатным редакциям. В ряде случаев такого рода поправки сделаны по посмертным изданиям 1869 и 1884 гг., подготовленным сыновьями поэта по его личному архиву. Что же касается новых, неизвестных ранее заглавий стихотворений Баратынского, появляющихся в посмеотных изданиях, то они только оговариваются в примечаниях, но не вводятся в текст, так как в большинстве случаев принадлежат не Баратынскому, а его издателям. Особый случай представляют собой стихотворения, печатающиеся по изданию 1835 г. Его первая часть строилась как своего рода лирическая автобиография. Стремясь создать впечатление ее внутроенного единства, поэт снял с подавляющего большинства стихотворений заглавия, под которыми они печатались до того. Поскольку это диктовалось конструктивными принципами издания 1835 г., мы восстанавливаем снятые заглавия по предшествующим публикациям.

Примечания не претендуют на исчерпывающую полноту и содержат только краткие, самые необходимые сведения библиографического, текстологического, фактического и отчасти историко-литературного характера. Однако, в связи со сложностью истории текста целого ряда стихотворений Баратынского, особенно ранних, печатавшихся поэтом по несколько раз, в примечаниях дается библиография всех прижизненных публикаций, отражающих работу поэта над текстом. Публикации, представляющие собой перепечатку, не указываются. Наиболее полным из прижизненных изданий Баратынского является издание 1835 г. Оно упоминается в библиографических справках только применительно к стихотворениям, вошедшим в него в переработанном виде, или же стихотворениям, не вошедшим в него вовсе. Если же в справке указано, что стихотворение печатается по сборнику 1827 г., без указания на то, что оно вошло в издание 1835 г., это означает, что оно было без изменений перепечатано в нем из сборника 1827 г. Применительно к стихотворениям, печатающимся по первой и в то же время единственной прижизненной публикации, источник текста особо не оговаривается.

Сведения о тех изменениях, которые вносились Баратынским в текст по мере его переработки, даются более кратко и обобщенно, чем в двухтомнике. Ранние редакции, представленные в двухтомнике наряду с последними, за единичными исключениями, не приводятся. Рукописные и печатные варианты приводятся только в тех случаях,

когда они дают связанное чтение и когда текст подвергся не только стилистической правке, но и коренной переработке.

Подпись указывается только в тех случаях, когда Баратынский не подписывался полной своей фамилией.

Даты цензурных разрешений приводятся только в тех случаях, если это нужно для уточнения года появления стихотворения. Это делается при первом упоминании того или иного издания.

В примечаниях к стихотворениям 1818—1827 гг., а также к поэмам, за исключением «Цыганки», частично использованы материалы комментариев И. Н. Медведевой к двухтомнику 1936 г.

В противоположность получившей за последнее время распространение форме «Баратынский» в издании сохранено принятое в двухтомнике написание «Баратынский», на том основании, что оно употреблялось на всем протяжении XIX в. и прочно вошло в историю русской поэзии.

Сокращения, принятые в примечаниях

Базанов. — В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.

Изд. АН — Полное собрание сочинений Е. А. Баратынского, тт. 1—2.

Под ред. М. Л. Гофмана. Изд. Академии наук. Пгр., 1914—1915.

Изд. 1835 г. — Стихотворения Евгения Баратынского. М., 1835.

Ч. 1-я — Стихотворения; ч. 2-я — Поэмы.

Изд. 1884 г. — Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского. Казань, 1884.

Изд. 1951 г. — Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза.

Письма. Подготовка текста и примечания О. Муратовой и К. Пигарева. ГИХЛ, М., 1951.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

ЛМ — Литературный музей, т. 1. Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пб., <1921>.

Материалы к биографии. — Е. А. Баратынский. Материалы к биографии из Татевского архива Рачинских. Ред. Ю. Н. Верховского. Пг., 1916.

Печ. — печатается.

ПСС — Баратынский. Полное собрание стихотворений, тт. 1—2. Ред. и комментарии Е. Купреяновой и И. Медведевой. «Советский писатель», Большая серия «Библиотеки поэта», 1936.

Сб. 1827 г. — Стихотворения Евгения Баратынского. М., 1827.

«Соревнователь» — журнал «Соревнователь просвещения и благотворения».

«Сумерки» — Сумерки. Сочинение Евгения Баратынского. М., 1842.

ТС — Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПЕЧАТАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА

Женщине пожилой, но всё еще прекрасной (стр. 43). Впервые — «Благонамеренный», 1819, ч. 5, № 4, стр. 210, под заглавием «Мадригал пожилой женщине и всё еще прекрасной»,

с подписью «Е. Б.» Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 93. В посмертных изданиях озаглавлено «М. А. Панчулидзевой». Адресовано Марии Андреевне Панчулидзевой (1781—1845) — тетке поэта, жившей в 10-х годах в Петербурге. Написано, очевидно, осенью 1818 г., по возвращении Баратынского в Петербург из Подвойского.

С л у ч а й (стр. 43). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 94. Датируется на основании положения автографа в альбоме И. Л. Жковлева (ИРЛИ, 244/399, л. 13). В прижизненные сборники не включалось.

К А л и н е (стр. 44). Впервые — «Благонамеренный», 1819, ч. 5, № 6, стр. 332. В прижизненные сборники не включалось.

Л ю б о в ь и д р у ж б а (стр. 44). Впервые — «Благонамеренный», 1819, ч. 5, № 6, стр. 334, вместе со стихотворениями «К Алине» и «Портрет В...». В прижизненные сборники не включалось.

П о р т р е т В . . (стр. 45). Впервые — «Благонамеренный», 1819, ч. 5, № 6, стр. 334, вместе с двумя предыдущими стихотворениями. В прижизненные сборники не включалось. Автограф в альбоме А. В. Лутковской (ИРЛИ, М 1—73, л. 19), датируемый, как и другие записи в этом альбоме, 1823—1824 гг., дает иную редакцию стихотворения:

Тебя ль изобразить и ты ль изобрази?
Вчера задумчива, я помню, ты была,
Сегодня ветрена, забавна, весела,
Понятна сердцу ты, уму непостижима.
Не всё ль противности в характере твоём?
В тебе чувствительность с холодностью
совместна,

Непостоянна ты во всем,
И постоянно ты прелестна.

Поскольку эта редакция является переадресовкой владелице альбома стихотворения, написанного значительно раньше, считаем, что она не отменяет текста «Благонамеренного». Анна Васильевна Лутковская — племянница Г. А. Лутковского, командира Нейшлотского полка, в котором Баратынский служил в Финляндии.

Э п и г р а м м а («Дамон! ты начал — продолжай...») (стр. 45). Впервые — «Благонамеренный», 1819, ч. 6, № 9, стр. 143, с подписью «Е. Бор...ий». В прижизненные сборники не включалось. Направлено, по-видимому, против поэта-сентименталиста Петра Ивановича Шаликова (1761—1852), салонные и приторно-чувствительные стихи которого были обращены прежде всего к «прекрасному полу».

П р о щ а н и е (стр. 45). Впервые — «Благонамеренный», 1819, ч. 7, № 15, стр. 142, с подписью «Е-ъ Б...ский». В прижизненные сборники не включалось. Упомянуто в доносе Каразина 1820 г. гр. Кочубею на «Вольное общество любителей российской словесности» (см. Базанов, стр. 181).

К **Креницыну** (стр. 46). Впервые — «Сын отечества», 1819, ч. 55, № 33, стр. 181, с редакционной заменой стиха 16-го точками. В прижизненные сборники не включалось. Восстанавливаем стих 16 по копии Кюхельбекера (Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Бумаги В. А. Жуковского). **Креницын** Александр Николаевич (1801—1865) — поэт, один из ближайших друзей Баратынского по Пажескому корпусу; был близок со многими из декабристов *И* *свиделся* с тою *Речь* идет о встрече друзей в Петербурге осенью 1818 г., через два года после исключения Баратынского из корпуса.

В альбом («Земляк! в стране чужой, суровой...») (стр. 47). Впервые — «Сын отечества», 1819, ч. 58, № 49, стр. 126, под заглавием «Г — му (В альбом)». С разночтениями и под заглавием «Прощание» — «Соревнователь», 1821, ч. 25, стр. 338—339. В сб. 1821 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 32, — под заглавием «В альбом» и с рядом разночтений. Печ. по изд. 1884 г., стр. 4. Согласно помете С. А. Рачинского, адресовано Ш. Шляхтинскому, смоленскому знакомому Баратынского (Материалы к биографии, стр. VI). В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегий», л. 4 об.) озаглавлено «Ш...».

Дельвигу («Так, любезный мой Гораций...») (стр. 48). Впервые — «Сын отечества», 1819, ч. 55, № 31, стр. 228, под заглавием «К Дельвигу». Печ. по сб. 1827 г. («Послания»), стр. 150, где дано в другой редакции. В изд. 1835 г. не было пропущено цензурой (см. ЛМ, стр. 15—16). Адресовано поэту А. А. Дельвигу. Написано по случаю определения Баратынского в начале 1819 г. на военную службу рядовым (см. вступит. статью). В том же году Дельвиг ответил посланием «К Евгению», что послужило предметом пародии Б. Федорова «Союз поэтов», направленной против молодых поэтов пушкинского круга. *Пафос* — город на острове Кипре, место культа богини любви и красоты Афродиты (греч. миф.). *Цитера* — остров, где особенно почиталась Афродита. *Пинд* — горный хребет в Греции. Одно из его ответвлений, гора Парнас считалась местопребыванием бога искусств Аполлона и муз (*аонид*, *камен*) — богинь искусств и поэзии (греч. миф.). *Хариты* (*грации*) — богини красоты, подруги муз (греч. миф.).

Отрывки из поэмы «Воспоминания» (стр. 49). Вольный перевод из поэмы французского поэта Эрнеста Легуве (1730—1782) «Les souvenirs, ou les avantages de la mémoire». Впервые — «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 1, стр. 85, с опечаткой в стихе 85 (вместо «Рассказы дивные» — «Кавказы дивные»). В прижизненные сборники не включалось. Отдельные мотивы переведенного отрывка вскоре были развиты Баратынским в стихотворениях «Рим», «Родина», отчасти в «Финляндии». *Плутарх* (I—II в. н. э.) — греческий историк, автор жизнеописаний знаменитых деятелей древности. *Фукидид* (V в. до н. э.) — греческий историк. *Леонид* — спартанский царь, погибший в сражении с персами при Фермопилах (480 г. до н. э.). *Отец Виргинии* — герой древнеримского предания. Убил свою дочь плебейку, спасая ее от посягательств одного из правителей (децемви-ров), и поднял против них народное восстание. *Катон* (234—149 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, прославившийся своей

борьбой со всякого рода злоупотреблениями. *Карфаген* — столица Финикийского государства в Африке, уничтоженная римлянами в 3-ю Пуническую войну в 146 г. до н. э. *Пальмира* — город в древней Сирии, славившийся своими архитектурными сооружениями. *Солон* (640—588 гг. до н. э.) — знаменитый афинский законодатель. *Перикл* (V в. до н. э.) — греческий государственный деятель, при котором Афины достигли политического могущества и культурного расцвета.

К*** при отъезде в армию (стр. 54). Впервые — «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 1, стр. 98, под заглавием «Брату при отъезде в армию», с пропуском двух стихов. С исправлениями — «Благонамеренный», 1820, № 11, стр. 117, под заглавием «Б-му при отъезде в армию». С разночтениями и под заглавием «К Б.» — «Новости литературы», 1823, кн. 3, № 2, стр. 28. С новыми разночтениями и под заглавием «К*** при отъезде в армию» — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 154. Печ. по изд. 1835 г., стр. 51, с восстановлением заглавия. Адресовано брату поэта Ираклию Абрамовичу Баратынскому (1802—1859). *Арей* — бог войны (греч. миф.).

Ропот («Он близок, близок день свиданья...») (стр. 55). Впервые — «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 1, стр. 99, под заглавием «Элегия». Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 35. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 5) озаглавлено: «Грусть».

Эпиграмма («Поэт Писцов в стихах тяжеловат...») (стр. 56). Впервые — «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 1, стр. 103, с подписью «Е. Б...ий». В другой редакции — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 117. Здесь первый стих читается:

Поэт Графов в стихах тяжеловат...

Печ. по изд. 1835 г., стр. 141, с восстановлением заглавия. Направлено против бездарного поэта-метрмана, гр. Д. И. Хвостова. В поэме Хвостова «Наука стихотворная» (песнь IV) под именем Графова (от слова графомания) выведен бездарный стихоплет. Вслед за Пушкиным (см. «К другу-стихотворцу»), Баратынский с каламбурным переосмыслением (граф — графоман) переадресовывает это наименование самому Хвостову. Ответ Хвостова на эпиграмму Баратынского см. ПСС, т. 2, стр. 245.

Девушке, которая на вопрос: как ее зовут? отвечала: «не знаю» (стр. 56). Впервые — «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 2, стр. 93, в разделе «Мадригалы». С разночтениями — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 104. Печ. по изд. 1835 г., стр. 81, с восстановлением заглавия.

Разлука (стр. 56). Впервые — «Соревнователь», 1820, ч. 9, № 2, стр. 196, под заглавием «Элегия», с типографскими дефектами. С исправлениями — «Сын отечества», 1821, ч. 70, № 21, стр. 32. Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 31, где дано в другой редакции.

Подражание Лафару (стр. 56). Вольное подражание мадригалу французского поэта Лафара (1644—1712) «*A madame la comtesse de Caylus*». Впервые — «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 3, стр. 54, в разделе «Элегии», без заглавия, с датой «Фридрихсгам, 15 марта 1820». С разночтениями — «Сын отечества», 1821, ч. 71, № 27, стр. 39. В другой редакции, под заглавием «Утешение», с подзаголовком в оглавлении «Подражание Лафару» — сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 49. Печатается по изд. 1835 г., стр. 155.

К — ну («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...») (стр. 57). Впервые — «Сын отечества», 1820, ч. 66, № 49, стр. 130, под заглавием «К Коншину» и с пометой «Фридрихсгам». Печ. по сб. 1827 г. («Послания»), стр. 172. Адресовано поэту Николаю Михайловичу Коншину (1794—1865), близкому другу Баратынского и его ротному командиру в Нейшлотском полку.

К Кюхельбекеру (стр. 58). Впервые — «Сын отечества», 1820, ч. 59, № 5, стр. 225, с датой «18 января 1820 г.» В прижизненные сборники не включалось. Адресовано поэту-декабристу Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру (1779—1846). Баратынский познакомился и сблизился с ним в конце 1818—1819 гг. в Петербурге. Кюхельбекер ответил на послание Баратынского стихотворением «Поэты» (1820), обращенным также к Пушкину и Дельвигу. В отрывке *бранного Одена* — см. примечание к стихотворению «Финляндия», стр. 337.

Послание к б<арону> Дельвигу («Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой...») (стр. 59). Впервые — «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 3, стр. 56. Под заглавием «К Делию. Ода (с латинского)» и с соответствующими обращениями в тексте — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 69. Печ. по изд. 1835 г., стр. 36, с восстановлением журнального заглавия. Ответ на послание Дельвига «Евгению» (1820). Рассматривалось и было одобрено на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 19 января 1820 г. (Базанов, стр. 327).

К — ву («Любви веселый проповедник...») (стр. 61). Впервые — «Соревнователь», 1820, ч. 9, № 3, стр. 327. В прижизненные сборники не включалось. Адресовано, вероятно, поэту-эллинику Александру Абрамовичу Крылову (1795—1829), члену «Вольного общества любителей российской словесности». Рассматривалось и предложено «исправить» на заседании Общества 19 января 1820 г. (Базанов, стр. 327). *Мом* — бог смеха (римск. миф.). *Гея* — богиня земли (греч. миф.).

Весна («Мечты волшебные, вы скрылись от очей!...») (стр. 61). Впервые — «Соревнователь», 1820, ч. 10, № 4, стр. 88. В прижизненные сборники не включалось. Рассматривалось и одобрено на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 22 марта 1820 г. (Базанов, стр. 331). *Филомела* — афинская царевна, превращенная богами в соловья (греч. миф.); здесь — в смысле соловей.

Финляндия (стр. 62). Впервые — «Соревнователь», 1820, ч. 10, № 5, стр. 168. С рядом разночтений — «Сын отечества», ч. 70, № 22, стр. 81. Печ. по сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегий», стр. 9), где дано в другой редакции. В стихотворении дано точное описание финляндского побережья, но финская мифология подменена скандинавской. Элегия снискала Баратынскому славу «певца Финляндии» и принесла ему широкую известность. Рассматривалась и была одобрена на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 19 апреля 1820 г. (Базанов, стр. 333). *Оден* (Один) — бог войны и победы (сканд. миф.).

Финским красавицам (стр. 64). Впервые — «Соревнователь», 1820, ч. 10, № 5, стр. 186. В прижизненные сборники не включалось. Под заглавием «Мадригал финским красавицам» рассматривалось и было одобрено на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 19 апреля 1820 г. (Базанов, стр. 333). *Фрегея* — богиня любви (сканд. миф.). *Лада* — то же (слав. миф.).

Л — ой («Когда неопытен я был...») (стр. 64). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., СПб., стр. 276. Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 111. В «Полярной звезде» первые четыре стиха читались:

Слепой поклонник красоты,
Наперекор моей судьбине,
В нее я веровал доныне,
Ей нес я в дар мои мечты.

Датируется на основании утраченных ныне автографов в альбомах С. Д. Пономаревой (см. «Вестник Европы», 1894, № 3, стр. 437) и А. В. Лутковской (см. ПСС, т. 2, стр. 243). Первоначально обращено к С. Д. Пономаревой (см. вступит. статью), а затем переадресовано А. В. Лутковской (см. о ней примечание к стихотворению «Портрет В...», стр. 333). *Геликон* — одна из гор в Греции, наряду с *Парнасом* считавшаяся местопребыванием *Аполлона* и муз.

Элизийские поля (стр. 65). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., СПб., стр. 103, под заглавием «Елисейские поля». Печ. по сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 52. Датируется на основании свидетельства Баратынского, в апреле 1825 г. сообщавшего И. И. Козлову: «Элисейские поля» писаны назад тому года четыре: это французская шалость, годная только для альманаха» (изд. 1951 г., стр. 481). *Элизийские поля* (Элизей, Элизий) — загробная страна умиротворения и блаженства (греч. миф.). *Киприда* — одно из названий *Афродиты*, богини любви (греч. миф.). *Аид*, *Айдес* — подземное царство, населенное тенями умерших (греч. миф.). *Закоштная сторуна* — царство мертвых, находящееся за рекой *Кодит* (греч. миф.). *Катулл* (ок. 87—55 гг. до н. э.) — римский лирический поэт. *Парни Эварист Дефорж* (1753—1814) — французский поэт. *Орковые поля* — поля в царстве мертвых (греч. миф.).

К...ну («Пора покинуть, милый друг...») (стр. 66). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 15, № 2, стр. 237, под заглавием «Н. М. К.», вместе со стихотворением «Отъезд», под общим заглавием «Элегии» и с общей подписью: «Е. Б.» С разночтениями и под заглавием «К...ну» — сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 62. Печ. по изд. 1835 г., стр. 176, с восстановлением заглавия. Адресовано Н. М. Коншину (см. о нем примечание к стихотворению «Поверь, мой милый друг...», стр. 336).

Эпиграмма («В своих стихах он скукой дышит...») (стр. 67). Впервые — «Благонамеренный», 1821, ч. 15, № 15, стр. 160, с подписью «Б». С разночтениями — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 118. Печ. по изд. 1835 г., стр. 126, с восстановлением заглавия. Направлено против Д. И. Хвостова (см. примечание к эпиграмме «Поэт Писцов в стихах тяжеловат...», стр. 335), имевшего обыкновение надоедать собеседникам чтением своих стихов.

Уныние (стр. 67). Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 67, № 3, стр. 128. С разночтениями — сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 36. Печ. по изд. 1884 г., стр. 27, где, как и в одной копии Н. Л. Баратынской, озаглавлено «Лагерь» и имеет авторские исправления. Другая копия Н. Л. Баратынской, с теми же авторскими исправлениями, сохраняет первоначальное заглавие, принятое нами (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 6 об.).

Родина (стр. 68.) Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 67, № 6, стр. 274, под заглавием «Сельская элегия». Печ. по сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегий»), стр. 21, где дано с многочисленными разночтениями. Восходящая к Горацию тема «сельского уединения» имела широкое распространение у французских поэтов конца XVIII — начала XIX в. (см., в частности, перевод Баратынского поэмы Э. Легуве «Воспоминания»), а через них у Батюшкова, Дельвига и других русских поэтов 10—20-х годов.

Элегия («Нет, не бывает тому, что было прежде...») (стр. 70). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 16, № 2, стр. 204, вместе с стихотворением Баратынского «Разуверение», под общим заглавием «Элегии» и подписью: «**». В прижизненные сборники не включалось.

Разуверение (стр. 70). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 16, № 2, стр. 205, вместе со стихотворением «Нет, не бывает тому, что было прежде...», под общим заглавием «Элегии», с подписью «**». С разночтениями — «Новости литературы», 1822, кн. 1, № 3, стр. 47, под заглавием «Разуверение. Элегия». Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 40. Получило широкую известность в качестве романа, музыка к которому была написана М. Глинкой.

Дельвигу («Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...») (стр. 71). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 16, № 1, стр. 78, под заглавием «К Делию. Ода (с латинского)». Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 109.

Большой (стр. 72). Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 68, № 8, стр. 37. В прижизненные сборники не включалось.

Песня («Страшно воеет, завывает...») (стр. 72). Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 68, № 10, стр. 135, под заглавием «Русская песня». Под тем же заглавием и с разночтениями — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 89. Печ. по изд. 1835 г., стр. 26.

Лиде (стр. 73). Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 68, № 10, стр. 133. С разночтениями — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 74. Печ. по изд. 1835 г., стр. 162, с восстановлением заглавия. *Дриады* — прекрасные женщины, духи деревьев (греч. миф.). *Фавн* — бог лесов и полей, покровитель пастухов (римск. миф.). Согласно пометкам С. А. Рачинского на автографе в альбоме «Tendresse» и на экземпляре сб. 1827 г., принадлежавшем сестре поэта Варваре Абрамовне, адресовано «Лизавете Куприяновой» — одной из финляндских знакомых Баратынского (Материалы к биографии, стр. 5—6). См. также обращенное к ней стихотворение «В альбом» («Перелетай к веселью от веселья...»).

К... («Приятель строгий, ты неправ...») (стр. 74). Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 70, № 24, стр. 175, под заглавием «Булгарину». С разночтениями и под заглавием «К...» — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 156. Печ. по изд. 1835 г., стр. 135. Между стихами 30—31 ранее находилось:

Так разрезвившихся детей
Средь их младенческих ватей
Приводит вдруг в остолбененье
Со строгой важностью очей
Педанта школы появленье.

Адресовано Фаддею Венедиктовичу Булгарину (1777—1859), в те годы возвращавшемуся в кругах прогрессивной литературной молодежи. По всей вероятности, послание является откликом на не дошедший до нас отзыв Булгарина о «Пирах», очевидно созвучный выступлениям В. Н. Каравина в 1820—1821 гг. против левого, декабристского крыла «Общества любителей российской словесности». Обрушившись на «соблазнительные элегии и стишки в альбомы» молодых поэтов, Каравин усмотрел в них угрозу общественной нравственности, «юношескую необузданность», отличавшую, по его мнению, «дружеские собрания молодых людей, препровождающих вечера во взаимном себя упражнении в правилах и тонкостях словесности» (В. Н. Каравин. Об ученых обществах и периодических сочинениях в России. СПб., 1820, стр. 7, 5).

Добрый совет (стр. 75). Впервые — «Сын отечества», 1821, ч. 71, № 29, стр. 131, под заглавием «К—ну». Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 122. В тексте «Сына отечества» вместо стихов 10—17 читаем следующее:

Что жизнь? — медлительный недуг,
Условный дар скупого неба,

Врата туманного Эреба
 Для всех отверсты, милый друг!
 Поглотит всех немая Лета —
 И философа-болтуна,
 И длинноусого корнета,
 И в шумном свете шалуна,
 И в пустыне анахорета.
 Познай же цену срочных дней,
 Лови пролетные мгновенья.

Адресовано Н. М. Коншину (о нем см. примечание к стихотворению «Поверь, мой милый друг...», стр. 336).

Рим (стр. 76). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г. СПб., стр. 63 (ценз. разр. 20 декабря 1823 г.). Печ. по сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегий»), стр. 20. Под заглавием «К Риму» стихотворение рассматривалось и было одобрено на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 22 августа 1821 г. (Базанов, стр. 360). Популярная в декабристских кругах тема величия республиканского Рима осмыслена Баратынским в духе философских медитаций о непрочности всего земного, характерных для преромантической французской поэзии. В духе этих медитаций написана и частично переведенная Баратынским поэма Э. Легуве «Воспоминания», к одному из мотивов которой и восходит, очевидно, замысел данного стихотворения (см. «Отрывки из поэмы „Воспоминания“»).

Бдение (стр. 77). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 14, № 1, стр. 61. С разночтениями и под заглавием «Тоска» — «Русский инвалид», 1822, № 18, стр. 72. Здесь между стихами 16—17 читаем:

Опустошенный смертью злобой,
 Печален дом отцов,
 И заменяет плач надгробный
 Веселый шум пиров.

С пропуском этих стихов и другими разночтениями, снова под заглавием «Бдение», — сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 38. Печ. по изд. 1835 г., стр. 65, с восстановлением заглавия. Рассматривалось и единогласно «избрано» на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 7 марта 1821 г. (Базанов, стр. 353).

В альбом («Вы слишком многими любимы...») (стр. 78). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 14, № 1, стр. 65. Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 88. В изд. 1835 г. не вошло. Адресовано С. Д. Пономаревой. Рассматривалось и единогласно «избрано» на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 7 марта 1821 г. (Базанов, стр. 353).

К...о (стр. 78). Впервые — «Новости литературы», 1823, ч. 6, № 40, стр. 14, под заглавием «Хлое». Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 80. Рассматривалось на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 7 марта 1821 г. (Базанов, стр. 353). В посмертных изданиях озаглавлено «С. Д. П.», т. е. С. Д. Пономаревой.

Водопад (стр. 79). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 15, № 1, стр. 90. Включено в сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегий»). Рассматривалось на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 16 мая 1821 г. (Базанов, стр. 357).

Отъезд (стр. 79). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 15, № 2, стр. 236, в разделе «Элегии», без заглавия и подписи. Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 44, где дано в другой редакции. Рассматривалось на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 16 мая 1821 г. (Базанов, стр. 357).

Цветок (стр. 80). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 15, № 2, стр. 244. Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 95, где дано с многочисленными разночтениями. Рассматривалось на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 8 августа 1821 г. (Базанов, стр. 360).

К — в у («Чтоб очаровывать сердца...») (стр. 81). Впервые — «Русский инвалид», 1822, № 28, стр. 12, под заглавием «К***». Печ. по сб. 1827 г. («Послания»), стр. 145, где дано в другой редакции. Можно предполагать, что послание является ответом издателю «Русского инвалида» А. А. Воейкову на его обширный и недоброжелательный разбор «Руслана и Людмилы», напечатанный в августе — сентябре 1821 г. в «Сыне отечества». Воейков разбирает поэму Пушкина и пытался определить ее «род», исходя из схоластических правил школьных пиитик. В своем «Ответе» Баратынский утверждает романтические принципы равноправия поэтических жанров и непосредственности поэтического творчества. *Фофанов* — вымышленное имя, произведенное от слова «фофан» (простак, простофиля). *Цитера* — остров Кипера, место культа Афродиты (греч. миф.); *яесь* — страна любви. *Тибулл* (I в. до н. э.) — римский поэт-элегик. *Омир* — Гомер.

Товарищам (стр. 82). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 105. По теме и настроению, а также стилистически очень близко к стихотворениям Баратынского начала 20-х годов: «Коншину», «Уныние», «Нет, не бывает тому, что было прежде!..», «Больной», «Пряатель строгий, ты неправ...» На этом основании предположительно датируется 1821 г.

Дельвигу («Лай руку мне, товарищ доброй мой...») (стр. 83). Впервые — «Поляная звезда» на 1823 г., СПб., стр. 374 (ценз. разр. 30 ноября 1822 г.), под заглавием «К Дельвигу». В новой редакции, под заглавием «Дельвигу» и с опечаткой в стихе 23. — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 166. Печ. по изд. 1835 г., стр. 131. Надо думать, что именно это стихотворение рассматривалось под заглавием «К другу» в «Вольном обществе любителей российской словесности» 6 января 1822 г. (Базанов, стр. 371).

Делин (стр. 84). Впервые — «Новости литературы», 1822, кн. 1, № 8, стр. 126, под заглавием «Дориде». В другой редакции и под заглавием «Делин» — сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 55.

Печ. по изд. 1835 г., стр. 33 с восстановлением заглавия. Согласно заглавию в копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 8) «С. Д. П.» — адресовано Софии Дмитриевне Пономаревой. *Цирцея* — в античной мифологии коварная волшебница; выведена в «Одиссее» Гомера. Стала нарицательным именем опасной прельстительницы.

Догадка (стр. 85). Впервые — «Благонамеренный», 1822, ч. 17, № 11, стр. 443. Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 59.

Возвращение (стр. 86). Перевод элегии французского поэта Мильвуа (1782—1816) «Le retour». Впервые — «Благонамеренный», 1822, ч. 17, № 11, стр. 444. Печ. по сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 61, с исправлением по копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 15) грамматической ошибки в стихе 6-м. В сб. 1827 г. в оглавлении подзаголовок: «Подражание Мильвуа». В оригинале вместо Леля — Амур.

Поцелуй (стр. 86). Впервые — «Благонамеренный», 1822, ч. 17, № 11, стр. 444, под заглавием «Поцелуй» (Дориде). Печ. по сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 51.

Весна («На звук цевницы голосистой...») (стр. 87). Впервые — «Полярная звезда» на 1823 г., СПб., стр. 85. Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 77. Рассматривалось на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» 17 апреля 1822 г. (Базахов, стр. 376).

Сестре (стр. 88). Впервые — «Новости литературы», 1825, апрель, стр. 50, с подписью «Е. Б.—ий». В прижизненные сборники не включалось. Обращено к сестре поэта Баратынской Софье Абрамовне (1801—1844) по поводу ее приезда в июле 1822 г. из Мары в Петербург для свидания с братом (см. запись на французском языке на обороте рисунка, хранящегося в ИРЛИ под шифром 21798 Cd 1 б. 2).

Эпиграмма («Везде бранит поэт Клеон...») (стр. 88). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 114. В изд. 1835 г. не вошло. Повидимому, написано в ответ на пародию Б. М. Федорова «Союз поводов», опубликованную в 1822 г. в «Благонамеренном» (ч. 19, № 39, стр. 512) и почти одновременно в «Вестнике Европы» (ч. 125, № 19, стр. 209). В этой пародии Федоров зло высмеял жанр дружеских посланий, которыми молодые поэты пушкинского круга широко обменивались в печати.

К жестокой (стр. 88). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., СПб., стр. 191. С исправлением — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 86. Печ. по изд. 1835 г., стр. 61, с восстановлением заглавия. В изд. 1869 и 1884 гг. озаглавлено «С. Д. П.» — т. е. Софии Дмитриевне Пономаревой, умершей в мае 1824 г. Следует думать, что стихотворение было написано, как и другие, обращенные к ней стихотворения Баратынского (см. «О своенравная София», «Приманкой ласковых речей...» и др.), в 1822—1823 гг.

Падение листьев (стр. 89). Перевод элегии Мильвуа «La chute des feuilles». Впервые — «Новости литературы», 1823, кн. 3, № 12, стр. 186. Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 41, где дано в другой редакции. В сб. 1827 г., в оглавлении подзаголовок: «Подражание Мильвуа». Элегия Мильвуа неоднократно переводилась на русский язык, в том числе Державиным и Батюшковым. *Эреб* (Эреб) — подземная страна, преддверие царства мертвых (греч. миф.). *Стигийские воды* — река Стикс (Стиг) в царстве мертвых (греч. миф.).

Эпилог (стр. 90). Впервые — «Новости литературы», 1823, кн. 4, № 18, стр. 78, под заглавием «К***». Печ. по сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 66, где дано в другой редакции. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегия», л. 16) озаглавлено «Дремота». *Геликон* — в переносном смысле поэзия.

Лета (стр. 91). Перевод стихотворения Мильвуа «Le fleuve d'oubli» («Река забвенья»). Впервые — «Новости литературы», 1823, кн. 4, № 19, стр. 95, под заглавием «К Лете». Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 34. В сб. 1827 г. в оглавлении подзаголовок «Подражание Мильвуа». *Лета* — река забвенья, обтекающая Элизий, загробное царство блаженных (греч. миф.).

Две доли (стр. 91). Впервые — «Новости литературы», 1823, кн. 4, № 22, стр. 141, под заглавием «Стансы». Под заглавием «Две доли» и с разночтениями — сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегий»), стр. 24. Печ. по изд. 1835 г., стр. 63, с восстановлением заглавия.

Размолвка (стр. 92). Впервые — «Новости литературы», 1823, кн. 5, № 38, стр. 190. Печ. по сб. 1827 г. (2-я кн. «Элегий»), стр. 37, где дано в другой редакции. В изд. 1835 г. не вошло.

Безнадежность (стр. 93). Впервые — «Новости литературы», 1823, кн. 5, № 38, стр. 190. Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 113.

Н. И. Гнедичу («Так! для отрадных чувств...») (стр. 93). Впервые — «Новости литературы», 1823, кн. 6, № 41, стр. 29. Печ. по сб. 1827 г. («Послания»), стр. 174, где дано с многочисленными разночтениями. Адресовано поэту Николаю Ивановичу Гнедичу, являвшемуся в «Обществе любителей российской словесности» одним из общепризнанных руководителей литературной молодежи. *Аристип* (435—360 гг. до н. э.) — греческий философ, учивший, что смысл жизни заключается в наслаждении. *Фрина* (IV в. до н. э.) — греческая гетера. *Кастальский ручей* — источник поэтического вдохновения на Парнасе (греч. миф.). *Апелла*, *Фидия желал бы навещать* — имеются в виду музейные коллекции Академии художеств в Петербурге. *Апелл* — Апеллес (IV в. до н. э.) — греческий живописец. *Фидий* (500—430 гг. до н. э.) — греческий скульптор.

Лутковскому (стр. 96). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г., СПб., стр. 259, под заглавием «К...». В принятой нами редакции, но под заглавием «Л — му» — сб. 1827 г. («Послания»),

стр. 163. Печ. по изд. 1835 г., стр. 68. *Лутковский* Георгий Алексеевич — командир Нейшлотского полка, в котором Баратынский служил в Финляндии, в прошлом — участник Отечественной войны 1812 г. *Эпендорфские трофеи* — очевидно, намек на один из «военных рассказов» Лутковского, относящийся к сражению в Саксонии под селением Эпендорф. *Сын Цитереи* — Эрот, бог любви (греч. миф.).

Истина (стр. 97). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г., СПб., стр. 19, с подзаголовком «Ода». Под заглавием «Истина» и с разночтениями — сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегии»), стр. 15. Печ. по копии Н. А. Баратынской (ИРЛИ, № 21733). По теме перекликается со статьей Баратынского 1821 г. «О заблуждении и истине». А. А. Бестужев в письме к П. А. Вяземскому от 28 января 1824 г. следующим образом выделил «Истину» среди остальных, бледных, по его мнению, стихотворений «Полярной звезды» на 1824 г.: «Однако ж ода Баратынского, на счастье, право, стоит взгляда» («Литературное наследство», № 60, кн. 1, 1956, стр. 212).

«О своенравная София!..» (стр. 99). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г. СПб., стр. 27, под заглавием «Аглае», с цензурными искажениями. С изменениями под тем же заглавием и также с цензурными искажениями — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 148. Печ. по автографу в альбоме С. Д. Пономаревой (ИРЛИ, № 9668/VIII б. 8, л. 12), которой стихотворение и адресовано.

Признание (стр. 100). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г. СПб., стр. 312. В сб. 1827 г. не вошло. Печ. по изд. 1835 г., стр. 165, где дано в другой редакции, с восстановлением заглавия.

Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры (стр. 101). Впервые — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 139; в другой, более пространной редакции, представляющей собой переработку первоначальной редакции, опубликованной по списку В. Брюсовым в «Весах», 1908, № 5, стр. 53. В изд. 1835 г., стр. 57 — под заглавием «Г — чу». Печ. по изд. 1884 г., стр. 142. Послание является откликом на борьбу, разгоревшуюся в 1821—1822 гг. между левым и правым крылом «Вольного общества любителей российской словесности» в связи с выступлениями В. Н. Каразина. В противовес Каразину, нападавшему на любовную лирику молодых поэтов с верноподданнических, охранительных позиций, Н. И. Гнедич в своей речи, произнесенной на заседании Общества 13 июня 1821 г., выдвинул программу высокого гражданского служения поэзии, призывая членов Общества отказаться от литературных безделок, «владеть с честью пером» и «сражаться» «с невежеством наглым, с пороком могущим» («Соревнователь», 1821, ч. 15, кн. 2, № 8, стр. 138.). Своим посланием к Гнедичу Баратынский занял промежуточную позицию в этой борьбе. Отклоняясь от выдвинутой Гнедичем задачи гражданской сатиры, он в первых редакциях послания, под видом рассуждения о бесполезности сатирического обличения общественных пороков, дает литературную сатиру на примкнувших к Каразину поэтов и живописцев (В. И. Панаева, А. Е. Измайлова, Н. А. Цертелева, Б. М. Федорова, О. М. Сомова и др.). Промежу-

точность этой поэзии вызвала резкое осуждение со стороны Пушкина 16 ноября 1823 г. Пушкин писал Дельвигу: «Сатира к Гнед<ичу>» мне не нравится, даром что стихи прекрасные; в них мало перца, Сомов безмундирный непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостью писателя? Это шутка, достойная кол<лежского> совет<ника> Иямайлова» (Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13. Изд. АН СССР, 1937, стр. 75). Сомов безмундирный (см. примечание к стихотворению «Я унтер, други! Точно так...», стр. 378) — это прямая цитация первой рукописной редакции послания Баратынского. В процессе последующей обработки стихотворения для сб. 1827 г. и для изд. 1835 г. этот конкретный намек вместе с другими аналогичными упоминаниями ряда литературных деятелей начала 30-х годов был устранен. В результате стихотворение превратилось из послания-сатиры в дидактическое послание о бесполезности сатиры как таковой. *Редкий муж, вельможа-гражданин* — Мордвинов Н. С. (1754—1845) — адмирал екатерининских — «Фелицыных времен», англоман, имевший влияние на Александра I в начальный период его царствования. В 20-е годы находился в оппозиции к реакционному правительственному курсу. Пользовался популярностью среди декабристов и намечался ими в члены временного правительства.

Оправдание (стр. 103). Впервые — «Северные цветы» на 1825 г., СПб., стр. 263 (ценз. разр. 9 августа 1824 г.). В другой редакции — сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 57. Печ. по изд. 1835 г., стр. 128, с восстановлением заглавия. *Пафосские пилигримки* — иносказательно — жрицы любви; на острове Пафосе находился храм Афродиты, богини любви (греч. миф.).

К... («Мне с упоением заметным...») (стр. 104). Впервые — «Новости литературы», 1824, кн. 9, июль, стр. 40. Под тем же заглавием, но в другой редакции — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 169. В изд. 1835 г., стр. 40 — без заглавия и с новыми разночтениями. Печ. по изд. 1884 г. Обращено, по-видимому, к С. Д. Пономаревой. *Меж мудрецами был чудак* — подразумевается французский философ Декарт (1596—1650), выразивший сущность своего учения в изречении: «Je pense, donc je suis» («Discours de la méthode»).¹

Череп (стр. 106). Впервые — «Северные цветы» на 1825 г., СПб., стр. 282. В другой редакции, под заглавием «Могила», — сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегий»), стр. 18. Печ. по изд. 1835 г., стр. 186. В «Северных цветах» вместо последних трех четверостиший имелись следующие строки:

Гроб вопрошать дерзает человек —
О суетный, безумный изыскатель!
«Живи живой, тлей мертвый!» — вот что рек
Всего ясней таинственный создатель.

¹ Я мыслю — следовательно я существую («Рассуждение о методе») (франц.). — *Ред.*

Его судьбам покорно гроб молчит.
Зачем же нас несбывшееся мучит?
Пусть радости живущим жизнь дарит.
А смерть сама их умереть научит.

Тема стихотворения, очевидно, почерпнута Баратынским у Байрона — см. V—VII строфы 2-й песни «Чайльд-Гарольда», а также стихотворение «Lines inscribed upon a cup formed from a skull» («Надпись на кубке из черепа»). Но несколько отличная трактовка этой темы в стихотворении Баратынского, равно как и его заглавие в сб. 1827 г., возможно, навеяны поэмой французского поэта Фетри (1720—1789) «Les tombeaux» («Могилы»).

Леда (стр. 107). Впервые — «Мнемозина», ч. 4, М., 1825, стр. 221, с подписью «***». В прижизненные сборники не включалось. Вольный перевод стихотворения Парни «Leda». Сюжет стихотворения восходит к греческому мифу о Леде и Зевсе, который, превратившись в лебедя, стал ее возлюбленным. *Эвротийский древний ток*. Эвр — древнегреческое название теплого юго-восточного ветра.

Любовь (стр. 108). Впервые — «Северные цветы» на 1825 г. СПб., стр. 265, под заглавием «Сонет». Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 124.

Богдановичу (стр. 109). Впервые — «Северные цветы» на 1827 г. СПб., стр. 335, под тем же заглавием. С многочисленными разночтениями — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 158. Печ. по изд. 1835 г., стр. 82. Первая редакция послания, написанная в 1824 г., до нас не дошла. О ней 17 июня того же года А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу» («Остафьевский архив князей Вяземских», т. 3. СПб., 1899, стр. 55). В январе 1826 г. Баратынский в письме к Пушкину (см. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, 1937, стр. 254), очевидно, цитирует эту редакцию послания, говоря об эпиграмме Пушкина «Соловей и кукушка»: «Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной не напечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно

Вытھے жеманное поэтов наших лет».

Однако послание направлено в основном не против «унылых» элегиков, а против «торговой логики» журналистов, враждебных Пушкину и его единомышленникам. Кого именно имел в виду Баратынский, жалуясь на «особенных судей», видно из его письма к И. И. Козлову от 7 января 1825 г.: «Наши журналисты, — пишет здесь Баратынский, — стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Грец, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом. Согласитесь, что это довольно грустно» (изд. 1951 г., стр. 474). Адресуя послание к давно умершему Ипполиту Федоровичу Богдановичу (1743—1803), автору знаменитой

поэмы «Душенька», Баратынский следует литературной традиции, идущей от посланий Вольтера к Буало, Шекспиру и многим древним поэтам. Но «торговой логике» журналистов типа Булгарина и Греча, равно как и «хандре немецких муз», приставшей к элегикам 20-х годов, Баратынский противопоставляет отнюдь не декабристскую идею передового отряда русской литературы этого времени, а «благодатный век Екатерины», век придворного меценатства и отжившего классицизма. Именно этот смысл вложен в стихи, повествующие о «дне», когда Екатерина и ее приближенные одобрили поэму Богдановича и обеспечили ей популярность в «модном свете». В этом состояло принципиальное отличие позиции Баратынского от позиции Кюхельбекера и Рылеева, порицавших мечтательность и мистицизм подражавших Жуковскому элегиков за то, что они отвлекают поэзию от задач гражданского служения. Архаизм послания, по форме и содержанию связанного с традициями классицизма, вызвал недовольство литературных друзей Баратынского. 10 сентября 1824 г. Дельвиг писал Пушкину: «Послание к Богдановичу исполнено красотою; но ты угадал: оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где» (Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, 1937, стр. 108). Вяземский, со своей стороны, упрекал Баратынского за то, что он посланием к Богдановичу «предал свою братию на оскорбление мнимоклассических книжников наших, которые готовы затянуть песню победы, видя или думая видеть в рядах своих могучего союзника» («Московский телеграф», 1828, ч. 13, № 1, стр. 236). *Товарищ твой Назон* — Публий Овидий Назон (43 г. до н. э.) — знаменитый римский поэт. Был сослан императором Октавианом на черноморское побережье, в район устья Дуная. Находясь в южной ссылке, Пушкин усматривал в судьбе Овидия аналогию с собственной судьбой. *Послание получил* — послание «К Овидию», написанное Пушкиным в 1821 г.

Невесте (стр. 112). Впервые — «Царское село» на 1830 г., СПб., стр. 234 (ценз. разр. 2 декабря 1829 г.), с подписью «Е. Б-ий. Рончельсам. 1824». В прижизненные сборники не включалось. Обращено к Авдотье Яковлевне Васильевой, тогда невесте финляндского друга Баратынского Н. М. Коншина. Стихотворный ответ Коншина: «Спасибо за восемь стихов» был напечатан в альб. «Гирланда» на 1831 г.

Буря (стр. 112). Впервые — «Мнемозина», ч. 4, М., 1825, стр. 214 (ценз. разр. 13 октября 1824 г.). Печ. по сб. 1827 г. (1-я кн. «Элегий»), стр. 26, где дано с разночтениями. В 1835 г., стр. 10, заглавие снято и стихи 11—20 заменены точками по требованию цензурного комитета, признавшего «стихи сии подлежащими запрещению» (см. ЛМ., стр. 15). В автографе (ИРЛИ, альбом «Souvenir», 21731/с L б. 9, л. 4) стих 21 читается:

Иль вечным будет заточенье.

Как это явствует из письма Баратынского к Н. В. Путяте, опубликование стихотворения в «Мнемозине» также сопровождалось придирками цензуры. 29 марта 1825 г. Баратынский писал: «Леда моя публично целуется со своим Лебедем, а буре шуметь не позволено. Неисповедимы судьбы твои, о цензура русская!» (изд. 1951 г., стр. 480).

Звезда (стр. 113). Впервые — «Северные цветы» на 1825 г., СПб., стр. 313, под заглавием «Звездочка» и с датой: «24 сентября 1824 г.»; с разночтениями и под заглавием «Звезда» — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 115. Печ. по изд. 1835 г., стр. 173, с восстановлением заглавия.

Уверение (стр. 114). Впервые — альм. «Северная звезда». СПб., 1829, стр. 121, с авторской датой: «1824 г.». В сб. 1827 г. не вошло. Печ. по изд. 1835 г., стр. 73, с восстановлением заглавия.

В альбом Софии (стр. 115). Впервые — «Славянин», 1827, ч. 1, № 3, стр. 35, со сноской к слову король: «В опере «Сандрильона» король влюбляется и женится на Сандрильоне». В сб. 1827 г. не вошло. Печ. по изд. 1835 г., стр. 53, с восстановлением заглавия. Датируется по автографу в альбоме А. В. Лутковской (ИРЛИ, М1, 73, л. 15) и обращено к ней же (о Лутковской см. примечание к стихотворению «Портрет В...», стр. 333). Опера «Сандрильона» — музыка Штейбельта, либретто Лукницкого — шла в русских театрах с 1814 г.

Эпиграмма («Свои стишки Тошев приит...») (стр. 115). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 92. В изд. 1835 г. не вошло. Направлено, по-видимому, против А. А. Шишкова, молодого поэта, выпустившего в 1824 г. сборник стихотворений «Восточная лютия», отмеченный, по словам Н. Полевого, «неслыханным подражанием Пушкину» («Московский телеграф», 1825, ч. 1, № 1, стр. 86).

К... («Как много ты в немного дней...») (стр. 115). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 176, со следующим чтением двух последних стихов:

Как покаянье, плачешь ты,
И, как безумье, ты хохочешь!

Вошло в изд. 1835 г., стр. 78, с цензурным пропуском предпоследнего стиха. Об этом в протоколе цензурного комитета от 14 марта 1833 г. сказано: «Комитет, признав сравнение развратной женщины со святою Магдалиною вовсе неприличным, запретил сии стихи к напечатанию» (ЛМ, стр. 17). Печ. по изд. 1835 г. с восстановлением заглавия и исключенного цензурой стиха. Стихотворение находится в числе переписанных Н. В. Путьятой в феврале 1825 г. и на этом основании датируется концом 1824 — началом 1825 г. Адресовано Аграфене Федоровне Закревской (1799—1879) — жене финляндского генерал-губернатора, известной своею красотой и бурной жизнью. Отсюда — Магдалина (подробно о ней см. примечание к стихотворению «Надпись», стр. 351, и к поэме «Бал», стр. 385). Баратынский познакомился с Закревской в конце 1824 г. в Гельсингфорсе. Постоянные упоминания Закревской под именем Альсины, Феи, царицы цветов в письмах 1825—1826 гг. к Путьяте свидетельствуют, что Баратынский был сильно увлечен ею. Встретившись с Закревской осенью 1825 г. в Петербурге, он писал Путьяте: «Ты можешь себе вообразить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с Агр. Фед... хотя я

знаю, что опасно и глядеть на нее и ее слушать, я нищу и жажду этого мучительного удовольствия» (изд. 1951 г., стр. 483). В том же письме Закревская упоминается под именем Магдалины.

«Отчизны враг, слуга царя...» (стр. 116). При жизни Баратынского не печаталось. Впервые опубликовано К. В. Пигаревым в сб. «Звенья», № 5, 1935, стр. 188 по копии Н. В. Путяты (Мурановский архив). На основании местонахождения копии среди копий стихотворений «Буря», «Надпись», «Как много ты в немного дней...» датируется концом 1824 — началом 1825 г. Направлено против Аракчеева. Несомненно, что в свое время эпиграмма не могла появиться в печати по цензурным условиям. На этом основании включаем ее в основной текст.

Веселье и Горе (стр. 116). Впервые — «Московский телеграф», 1825, ч. 1, № 4, стр. 310. Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 79. По теме восходит к стихотворению Мильвуа «Plaisir et peine» («Удовольствие и печаль»).

Д — гу («Я безрассуден — и не диво!...») (стр. 116). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., СПб., стр. 148. С разночтениями — сб. 1827 г. («Послания»), стр. 119. Печ. по изд. 1835 г., стр. 157, с восстановлением заглавия.

Стансы («В глуши лесов счастлив один...») (стр. 118). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., СПб., стр. 316. Здесь принятому нами тексту предшествуют стихи:

О чем ни молимся богам,
Что дать нам боги ни во власти, —
Ничто не даст отрады нам,
Когда ошибочные страсти
Вредят сердечной тишине,
Когда господствуют оне.

Ко счастью способов одних
Для счастья истинного мало;
Употреблять с уменьем их
Еще бы людям надлежало;
И не на то ль своим творцом
Одарены они умом?

А мы, мы ум свой обрекли
Господству детских своенравий!
Достиг владычества земли
Счастливец ветренный Октавий;
Достиг, и что ж? — всемирный трон
Покинуть замышляет он.

Всё суета! Мудрец прямой
Далеких благ не жаждет праздно,
Но дух воспитывает свой

Случайной доле сообразно;
Для счастья надобное в ней
Дарует он душе своей.

Печ. по сб. 1827 г. («Послания»), стр. 126. О попытке Баратынского переработать отброшенные 24 стиха в самостоятельное произведение см. статью П. Филипповича «Об академическом издании стихотворений Е. А. Баратынского» в «Журнале Министерства народного просвещения», 1915, № 3, стр. 197. Эпикур (341—270 до н. в.) — греческий философ, учивший, что истинное наслаждение человеку приносят возвышенные чувства и умственные интересы. Впоследствии эпикурейцами стали называть людей, предающихся чувственным наслаждениям. Как их проповедник Эпикур упоминается и в стихотворении Баратынского. Эпиктет (1—II вв. н. в.) — греческий философ-стоик. Октавий — Кай Юлий Цезарь Октавиан (63—14 гг. до н. в.), первый римский император, в борьбе за власть захвативший диктаторские полномочия и затем формально от них отказавшийся.

Авроре Ш. («Выдь, дохни нам упоенем. . .») (стр. 119). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., СПб., стр. 116, под заглавием «Девушке, имя которой было Аврора». Под этим же заглавием — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 82. Здесь вместо стихов 1—4 читаем:

Соименница Авроры,
О царица красоты!
Не сама ль Аврора ты?
Для тебя все наши хоры,
И куренья, и цветы!

Печ. по изд. 1835 г., стр. 168. Первоначально было написано на французском языке (см. изд. 1884 г., стр. 94). Адресовано Авроре Карловне Шернваль (1808—1902), дочери Выборгского губернатора (о ней см. также в стихотворении «Запрос М—ву»). Соименница *зари* — в греческой мифологии Аврора — утренняя заря.

Запрос М—ву (стр. 119). Впервые — «Московский телеграф», 1825, ч. 3, № 9, стр. 36, с подписью «***». В прижизненные сборники не включалось. Принадлежность стихотворения Баратынскому обоснована П. Филипповичем в заметке «Два неизвестных стихотворения Е. А. Баратынского» («Чтения в историческом обществе Нестора Летописца», Киев, 1914, вып. 1, стр. 3—11). Обращено к Александру Алексеевичу Муханову (1800—1834), адъютанту Финляндского генерал-губернатора Закревского. Аврора — Аврора Карловна Шернваль (см. предыдущее стихотворение и примечание к нему).

Дорога жизни (стр. 119). Впервые — «Невский альманах» на 1826 г., СПб., стр. 71 (ценз. разр. 7 октября 1825 г.). В сб. 1827 г. не вошло. С разночтениями и без заглавия — изд. 1835 г., стр. 54. Печ. по изд. 1884 г., стр. 107, где озаглавлено «Прогоня жизни».

К*** присылке тетради стихов (стр. 120). Впервые — альм. «Уrania» на 1826 г., М., стр. 73 (ценз. разр. 26 ноября 1825 г.), под заглавием «К—. Посылая тетрадь стихов». Под загла-

вием «К... при посылке тетради стихов» — альм. «Эмицерла» на 1829 г. М., стр. 12. В сб. 1827 г. не вошло. Печ. по изд. 1835 г., стр. 67, с восстановлением заглавия. В изд. 1884 г. озаглавлено «Г. З.», т. е. графине А. Ф. Закревской (см. о ней примечание к стихотворению «Как много ты в немного дней...», стр. 348).

О ж и д а н и е (стр. 120). Перевод элегии Парни «Réflexion amoureuse» («Любовные размышления»). Впервые — альм. «Уrania» на 1826 г., М., стр. 101. Печ. по сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»), стр. 60. В сб. 1827 г. в оглавлении подзаголовков — «Подражание Парни».

К Д*** на другой день после его женитьбы (стр. 120). Впервые — альм. «Сириус» на 1826 г., М., стр. 76, под заглавием «В альбом NN на другой день после его свадьбы». Печатается текст «Славянина», 1827, ч. 2, № 15, стр. 77. В прижизненные сборники не включалось. Свадьба Дельвига и Софьи Михайловны Салтыковой состоялась 30 октября 1825 г.

Л. С. П — ну (стр. 121). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., СПб., стр. 40. Вошло в сб. 1827 г. (3-я кн. «Элегий»). Печ. по изд. 1835 г., стр. 74, с восстановлением заглавия. Адресовано Льву Сергеевичу Пушкину (1805—1852), младшему брату поэта. В 1825 г. Баратынский и Л. Пушкин одновременно были увлечены А. А. Воейковой (см. обращенное к ней стихотворение «Очарованье красоты...») и встречались в ее салоне. По предположению А. С. Полякова («Литературно-библиографический сборник», Пгд., 1918, стр. 61), ревность Л. Пушкина и побудила Баратынского обратиться к нему с этим посланием.

Э п и г р а м м а («Что ни болтай, а я великий муж!...») (стр. 122). Впервые — «Московский телеграф», 1826, ч. 7, № 2, стр. 60, с некоторыми цензурными искажениями. Печатается по автографу из альбома Баратынского «Souvenir» (ИРЛИ, 21731/CL б. 9, л. 15 об.). В прижизненные сборники не включалось. Направлено против Ф. В. Булгарина (см. примечание к стихотворению «Приятель строгий, ты неправ...», стр. 339), с 1825 г. утвердившегося на реакционных позициях и беспринципно нападавшего в «Северной пчеле» и «Сыне отечества» на литераторов и поэтов пушкинского круга, с которым был ранее связан по «Вольному обществу любителей российской словесности». Был воином. Участвовал в войнах с Францией 1805—1814 гг. сначала в русской армии, а с 1810 г. на стороне французов.

К А н н е т е (стр. 122). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г. СПб., стр. 15. В прижизненные сборники не включалось.

Н а д п и с ь (стр. 123). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., СПб., стр. 68. Вошло в сб. 1827 г. («Смесь»). В копии Н. Л. Баратынской 40-х годов (ИРЛИ, 21733, «Мелкие стихотворения», л. 11) имеет подзаголовок «А. С. Г.», а в посмертных изданиях 1869 и 1884 гг. — «К портрету Грибоедова». Подобное истолкование представляется сомнительным, поскольку никаких сведений о личном обще-

нии Баратынского с Грибоедовым не имеется. Вернее предположить, что в стихотворении идет речь об А. Ф. Закревской (см. о ней примечание к стихотворению «Как много ты в немного дней...», стр. 348, и к поэме «Бал», стр. 385). В начале марта 1825 г. Баратынский писал о Закревской Н. В. Путяте: «Вспоминаю общую нашу Альсину с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг мой, она сама несчастна: это роза, это царица цветов; но поврежденная бурей — листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюэт сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мертвое ее тело: «La voilà telle que la mort nous l'a faite». ¹ Про нашу царицу можно сказать: «La voilà telle que les passions l'ont faites». ² Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубокое унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, под счастливым небом полудня, окруженную миртами и сиренями, — вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница — всё гробница, и вместе с нею печаль вливается в душу» (изд. 1951 г., стр. 477).

Д. Давыдову (стр. 123). Впервые — «Московский телеграф», 1826, ч. 10, № 14, стр. 55, под заглавием «Д. В. Давыдову». С разночтениями, частично цензурного характера — в сб. 1827 г. («Послания»), стр. 153, и в изд. 1835 г., стр. 160. Печ. по автографу (Всесоюзная библиотека СССР им. В. И. Ленина), опубликованному И. Н. Медведевой (ПСС, т. 1, стр. 102). В послании обрисован популярный в прогрессивных кругах того времени образ Дениса Васильевича Давыдова (1784—1839), поэта-гусара, народного героя Отечественной войны 1812 г., оппозиционного официальной военщине и не признанного ею. В 1823—1824 гг. Давыдов принимал участие в хлопотах о производстве Баратынского в офицеры. Однако личное знакомство поэтов произошло только в 1825 г., когда Баратынский женился в Москве на родственнице Давыдова Н. Л. Энгельгардт. По случаю знакомства, очевидно, и было написано это послание.

К Амуру (стр. 124). Впервые — альм. «Северная лира» на 1827 г., М., стр. 429 (ценз. разр. 1 ноября 1826 г.). В сб. 1827 г. стр. 107, помещено в разделе «Смесь».

Эпиграмма («Ты ропщешь, важный журналист...») (стр. 124). Впервые — альм. «Литературный музей» на 1827 г., М., стр. 259 (ценз. разр. 28 декабря 1826 г.). Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 101. Направлена, очевидно, против издателя «Вестника Европы» Михаила Трофимовича Каченовского (1775—1842), приверженца классицизма, постоянно высмеивавшего в своем журнале Баратынского и других поэтов-элегиков 20-х годов.

А. А. В — ой («Очарованье красоты...») (стр. 124). Впервые — альм. «Литературный музей» на 1827 г., М., стр. 60. Вошло в сб. 1827 г. («Смесь») и в изд. 1835 г. Другую редакцию дает автограф

¹ Вот во что превратила ее смерть (франц.). — *Ред.*

² Вот во что превратили ее страсти (франц.). — *Ред.*

в альбоме «Souvenir» (ИРЛИ, 21731/СЛ б. 9, л. 14). Приводим эту редакцию полностью:

Очарованье красоты
Твоей во благо нам;
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольной жизни, как луна,
Манишь за край земной,
С тобой, как ты, душа полна
Высокой тишиной.

Обращено к Александре Андреевне Воейковой (1797—1829), жене поэта и журналиста А. Ф. Воейкова, воспетой Жуковским под именем Светланы. (См. о ней также в примечании к посланию «Л. С. П — ну», стр. 351.)

На я да (стр. 125). Перевод из «Fragment d'idylles» (№ VI) французского поэта Андре Шенье (1762—1794). Впервые — «Северные цветы» на 1827 г., СПб., стр. 330. Вошло, с подзаголовком в оглавлении «Подраж. Шенье», в сб. 1827 г. («Смесь»). Датируется письмом от 6 января 1827 г. П. А. Вяземского к В. А. Жуковскому, где упоминается в качестве литературной новинки (Архив братьев Тургеневых, т. 1, вып. 6, П., 1921, стр. 57).

Эпиграмма («Не трогайте парнасского пера...») (стр. 125). Впервые — «Московский телеграф», 1826, ч. 7, № 3, стр. 124, под заглавием «Совет». Печ. по сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 97. Посылая стихотворение в начале 1826 г. из Москвы Н. В. Путьате, Баратынский писал: «Вот тебе покуда эпиграмма на поэтов прекрасного пола» (изд. 1884 г., стр. 528—529).

Песня («Когда взойдет денница золотая...») (стр. 125). Впервые — «Северные цветы» на 1827 г., СПб., стр. 265. Вошло в сб. 1827 г. («Смесь»). В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 20 об.) озаглавлено «Утраты».

Эпиграмма («И ты поэт, и он поэт...») (стр. 126). Впервые — «Северные цветы» на 1827 г., СПб., стр. 332. Вошло в сб. 1827 г. («Смесь»). В изд. 1835 г. не вошло.

К*** («Не бойся едких осуждений...») (стр. 126). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 13, № 3, стр. 96. Вошло в сб. 1827 г. («Смесь»). В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Мелкие стихотворения») озаглавлено «А. Н. М...у». По всей вероятности, обращено к великому польскому поэту Адаму Мицкевичу, которому адресовано также стихотворение «Не подражай: своеобразен гений...» В 1826—1829 гг. Баратынский встречался с Мицкевичем, по распоряжению русского правительства высланным в Москву из Польши за участие в национально-освободительном движении. Стихи Мицкевича, восторженно принимавшиеся в московских литературных кругах, и в частности в «Московском телеграфе», отри-

цательно оценивались польской печатью. Очевидно, эти раздражавшие Мицкевича отзывы и разумел Баратынский под «едкими осуждениями».

Эпиграмма («Окогченная летунья...») (стр. 127). Впервые — «Московский вестник», 1827, ч. 1, № 4, стр. 254. Вошло в сб. 1827 г. («Смесь»).

В альбом («Перелетай к веселью от веселья...») (стр. 127). Впервые — «Московский вестник», 1827, ч. 2, № 5, стр. 9, под заглавием «Эпиграмма». Печ. по изд. 1827 г. («Смесь»), стр. 85. Согласно пометке С. А. Рачинского на экземпляре сб. 1827 г., принадлежавшем сестре Баратынского, адресовано Елизавете Куприяновой — финляндской знакомой поэта (Материалы к биографии, стр. 6). *Коринна* — см. примечание к стихотворению «Княгине Э. А. Волконской», стр. 360.

Эпиграмма («Идиллик новый на искус...») (стр. 128). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 91. Направлено, по-видимому, против Владимира Ивановича Панаева (1792—1856), поэта-сентименталиста, подражателя Геснера.

Эпиграмма («Как сладить с глупостью глупца?..») (стр. 128). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 83.

В альбом («Когда б избрать возможно было мне...») (стр. 128). Впервые — сб. 1827 г. («Смесь»), стр. 84. Печ. по изд. 1835 г., стр. 35, с восстановлением заглавия. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Мелкие стихотворения», л. 7 об.) озаглавлено «М...» и, соответственно, в последнем стихе вместо «Д...» стоит «Машеньке».

Она (стр. 129). Впервые — «Славянин», 1827, ч. 2, № 22, стр. 293. В прижизненные сборники не включалось.

Последняя смерть (стр. 129). Впервые — «Северные цветы» на 1828 г., СПб., стр. 89 (ценз. разр. 3 декабря 1827 г.). Печ. по изд. 1835 г., стр. 200. Стихотворение представляет собой отрывок из неосуществленной поэмы, замысел которой был известен современникам. Так, рецензент «Московского вестника» (1828, № 2, стр. 192) писал: «Последняя смерть» неясна; но надо знать, что это отрывок. Неясная в нем мысль может объясниться в целом». Полевой также называл «Последнюю смерть» «отрывком из поэмы Баратынского» («Московский телеграф», 1828, № 1, стр. 125). *Эмпирей* — небесная высь, местопребывание богов (греч. миф). *Хаос* — мрачная, туманная бездна, из которой был сотворен мир (греч. миф.).

Журналист Фиглярин и Истина (стр. 132). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 15, № 9, стр. 5. В прижизненные сборники не включалось. Печ. по копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21729, л. 46), где озаглавлено: «На некрасивую виньетку,

представляющую автора за письменным столом, а подле него Истину». *Фиглярин* — Ф. В. Булгарин. В эпиграмме высмеивается виньетка, помещенная на титульном листе 1 тома «Сочинений Фаддея Булгарина» (вышел в мае 1827 г.) и иллюстрирующая следующие строки авторского предисловия «Истина и сочинитель»: «Вдруг кабинет сочинителя озарился приятным светом, наподобие утренней зари; он в изумлении оглянулся и видит — женщину, прекрасную, как идеал поэзии... «Ты назвал себя моим служителем, — сказала она, — и я пришла навестить тебя». Сочинитель: «Неужели ты... Истина?» Истина: «Точно так» (Сочинения Фаддея Булгарина, т. 1. СПб., 1827, стр. III).

Стансы («Судьбой наложенные цепи...») (стр. 132). Впервые — «Московский телеграф», 1828, № 2, стр. 191, с цензурным пропуском стихов 21—24. Печ. по изд. 1835 г., стр. 189, с исправлением цензурного искажения в стихе 23 — «странствуют» вместо «бедствуют» — по изд. 1884 г. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 26322/CL XXXIX б. 11, л. 144) озаглавлено «Мара»; в другой копии (там же, 21733, тетрадь «Элегии», л. 2) — «Родные степи». В стихотворении имеется в виду посещение Баратынским вместе с женой и новорожденной дочерью весной 1827 г. родового имения Мара (Тамбовской губ., Кирсановского уезда). *Судьбой наложенные цепи* — вынужденное пребывание в Финляндии на положении рядового. *Ко благу пылокое стремленье* и след. — выражает настроения Баратынского в связи с поражением декабрьского восстания. *Братья* — Кюхельбскер и А. Бестужев, «бедствующие» в ссылке и заключении, и казненный Рылеев. Посвященные декабристам стихи

Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других...

перефразируют эпиграф «Иных уж нет, а те далече», взятый Пушкиным к «Бахчисарайскому фонтану».

Смерть (стр. 134). Впервые — «Московский вестник», 1829, ч. 1, № 1, стр. 45, в следующей редакции:

С м е р т ь

О смерти! твое именованье
Нам в суеверную боязнь;
Ты в нашей мысли тьмы созданье,
Паденьем вызванная казнь!

Не понимаемая светом,
Рисуешься в его глазах
Ты отвратительным скелетом
С косою уродливой в руках.

Ты дочь верховного эфира,
Ты светозарная краса,
В твоей руке олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над созданием,
Забвенье бед везде лия
И прохлаждающим дыханьем
Смирля буйство бытия.

Ты фивских братьев примирила,
Ты в неумеренной крови
Безумной Федры погасила
Огонь мучительной любви...

Ты предстаешь, святая дева! —
И с остывающих ланит
Бегут мгновенно пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

И краски жизни беспокойной,
С их невоздержной пестротой,
Вдруг заменяются пристойной,
Однообразной белизной.

Дружится кроткою тобою
Людей недружная судьба,
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье,
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

В другой редакции и без заглавия — изд. 1835 г., стр. 76, со следующими стихами 1—6:

Тебя из тьмы не изведу я,
О смерть! и, детскою мечтой
Гробовый стан тебе даруя,
Не ополчу тебя косою.

Ты дочь верховного эфира,
Ты светозарная краса...

Печ. по изд. 1884 г., стр. 167. Любопытный комментарий к первой редакции стихотворения, объясняющий его кардинальную переработку Баратынским для изд. 1835 г., находим в письме П. А. Вяземского к В. Ф. Вяземской от 19 декабря 1828 г.: «Твоя критика на Баратынского слишком христианская, а в его стихах нет философии христианской: он на смерть смотрит совсем не христианскими глазами.

И потому примеры, приведенные им, не должны казаться неуместными. Фивские братья и Федра тут представители двух идей, двух страстей: ненависти и любви иступленной; примеры эти всем знакомы и, следовательно, более кстати, чем другие. Впрочем, чтоб потешить тебя, скажу, что Пушкин с тобой согласен. Я вчера говорил ему и Баратынскому о твоём замечании, мы были одного мнения, а он твоего. Какое же хочешь слово другое, а не пестрота, когда говорится о краске жизни беспокойной, *c'est le mot* ргоре,¹ и тем слово и разительно, а с прилагательным не воздержной оно полно поэзии» («Литературное наследство», № 58, 1952, стр. 85). Обращает на себя внимание, что все упоминаемые в письме образы в последующей редакции были устранены. *Прям* — спорам, распрям (дательный падеж множественного числа от древнерусского слова *пря*). *Фивские братья* — Полиник и Этеокл, сыновья царя Эдипа. Возникшая между ними борьба за власть над Фивами (город в средней Греции) окончилась поединком, на котором оба погибли (древнегреч. предание). *Федра* — жена царя Тезея. Охваченная неразделенной страстью к своему пасынку Ипполиту, Федра погубила его и сама покончила самоубийством (древнегреч. предание).

Из А. Шенье (стр. 135). Сокращенный перевод элегии Андре Шенье «*O nécessité dure! O pesant esclavage*». Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 46 (ценз. разр. 27 декабря 1828 г.), под заглавием «Смерть. Подражание А. Шенье». Печ. по изд. 1835 г., стр. 172.

Старик (стр. 135). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 64.

Деревня (стр. 136). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 59.

«Старательно мы наблюдаем свет...» (стр. 136). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 172, вместе с другими стихотворениями Баратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения».

«Не подражай: своеобразен гений...» (стр. 136). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 172, вместе с другими стихотворениями Баратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения». Написано по случаю выхода в 1828 г. поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод», отмеченной сильным влиянием Байрона (о Мицкевиче см. примечание к стихотворению «Не бойся едких осуждений...», стр. 353). *Дорат Жозеф* (1734—1780) — французский поэт.

«Мой дар убог, и голос мой негромок...» (стр. 137) Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 171, вместе с другими стихотворениями Баратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения». Печ. по изд. 1835 г., стр. 198.

¹ Это точное слово (франц.). — *Ред.*

«Глупцы не чужды вдохновенья...» (стр. 137). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 171, вместе с другими стихотворениями Баратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения». Печ. по изд. 1884 г., стр. 161.

«Как ревностно ты сам себя дурачишь!..» (стр. 137). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 170, вместе с другими стихотворениями Баратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения». Печ. по изд. 1835 г., стр. 221.

Бесенок (стр. 138). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 187. Печ. по изд. 1835 г., стр. 207, с восстановлением заглавия. Датируется письмом Баратынского к Дельвигу от конца октября — начала ноября 1828 г. Баратынский пишет: «Я тебе... пришлю на будущей неделе новое стихотворение под названием «Бесенок»: ежели незатейливо творение, то заглавие задорно» («Литературное наследство», № 58, 1952, стр. 83). Громобой — персонаж баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев», продавший душу черту Асмодею.

При посылке «Бала» С. Э. (стр. 139). Впервые — изд. 1835 г., стр. 212. С. Э. — Энгельгардт Софья Львовна (1811—1884) — сестра жены Баратынского, впоследствии (с 1837 г.) — жена его близкого друга Н. В. Путьяты. К ней обращены также стихотворения «Мой неуклюжий карандаш...», «Кольцо», «Нежданное родство с тобой даруя...». Датируется 1828 г., по времени выхода поэмы «Бал».

Фея (стр. 139). Впервые — альм. «Царское село» на 1830 г., СПб., стр. 157, с подписью: «Е. Б-ий, 1824 года». Отсутствие «Фей» в сб. 1827 г., а также тематика и стиль стихотворения, приближающиеся к лирике Баратынского конца 20 — начала 30-х годов, заставляют усомниться в верности авторской датировки. Скорее всего, она преследовала цель скрыть от читателей действительное время создания стихотворения из боязни, что оно может бросить тень на семейную жизнь поэта. Не случайно, посылая «Фею» издателю альманаха Н. М. Коншину, Баратынский подчеркивал важность, которую имела для него указанная им дата: «Под стихотворением моим «Фея» выставлен год; не забудь его напечатать в твоём альманахе — это мне нужно» («Русская старина», 1908, № 12, стр. 762). На основании сказанного датировем стихотворение по времени его первого появления в печати.

Историческая эпиграмма (стр. 140). Впервые — «Московский телеграф», 1829, ч. 26, № 7, стр. 258. Печ. по изд. 1835 г., стр. 154, с восстановлением заглавия. Написано в ответ на выступления Н. И. Надеждина в «Вестнике Европы» против романтизма и Пушкина как главного представителя этого литературного направления («Литературные опасения за будущий год» — 1828, № 21—22; «Сонмище нигилистов» — 1829, № 1—2; уничтожающий разбор вышедших под одной обложкой «Графа Нулина» Пушкина и «Бала» Баратынского — 1829, № 31). Однако эпиграмма направлена

не против малоизвестного в то время Надеждина, а против издателя «Вестника Европы», «маститого зоила» романтиков, М. Т. Каченовского. Полевой напечатал эпиграмму Баратынского с заменой всех «и» на «и» и «у», пародируя этим принятую в «Вестнике Европы» орфографию Каченовского, сохранившего эти буквы во всех словах, заимствованных из греческого языка.

«Чудный град порой сольется...» (стр. 140). Впервые — альм. «Радуга» на 1830 г., М., стр. 160 (ценз. разр. 10 декабря 1829 г.). Печ. по изд. 1835 г., стр. 169.

В альбом («Альбом походит на кладбище...») (стр. 141). Впервые — «Галатей», 1829, ч. 1, № 2, стр. 90. С разночтениями и без заглавия — изд. 1835 г., стр. 92. Печ. по изд. 1884 г., стр. 169. Обращено к Каролине Карловне Яниш (1807—1894) — дочери известного в те годы московского профессора, впоследствии жене писателя Н. Ф. Павлова, — поэтессе. Вошла в историю литературы под именем Каролины Павловой.

Подражателям (стр. 141). Впервые — «Московский вестник», 1830, ч. 1, № 1, стр. 7, под тем же заглавием. Печ. по изд. 1835 г., стр. 71, с восстановлением заглавия. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Мелкие стихотворения», л. 9 об.) озаглавлено «Незаконная лепта». Направлено против эпигонов «романтического» направления, наводнивших русскую поэзию конца 20-х годов многочисленными подражаниями Пушкину, Жуковскому, Баратынскому.

Муза (стр. 142). Впервые — «Северные цветы» на 1830 г., СПб., стр. 94 (ценз. разр. 20 декабря 1829 г.). Печ. по изд. 1835 г., стр. 185, с восстановлением заглавия. В журнальной редакции три последних стиха другие.

Эпиграмма («Поверьте мне, Фиглярин-моралист...») (стр. 142). Впервые — альм. «Денница» на 1831 г., М., стр. 137, вместе с эпиграммой Пушкина «Не то беда, Авдей Флюгарин...», под общим заглавием «Эпиграммы» и без подписи. В прижизненные сборники не включалось. Направлено против Ф. В. Булгарина и его «нравственно-сатирического» романа «Иван Выжигин», вышедшего в 1829 г., одновременно с «Полтавой» Пушкина. 18 апреля 1829 г. М. П. Погодин писал С. П. Шевыреву: «„Полтава“ Пушк<ина> вышла, но принята холоднее, чем заслуживает... Гораздо больше шуму в Петерб<урге> сделал «Выжигин» Булгарина. Бул<арин> почитает себя соперником теперь одного Пушкина и выступил против его «Полтавы» с ужасно нелепою статьею... Баратынский написал презлую эпиграмму на него: „Б<улгарин> уверяет нас, что красть грешно. лгать стыдно“ («Русский архив», 1882, № 5, стр. 79—80). Сам Баратынский в мае 1829 г. писал из Москвы Вяземскому: «„Полтава“ вообще менее нравится, чем другие поэмы Пушкина, ее критикуют вкривь и вкось... Я, право, уж не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, «Выжигины»! Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз. этой глупости?» («Старина и новизна», кн. 5, 1902, стр. 46).

Эпиграмма («Что пользы вам от шумных ваших прений?..») (стр. 143). Впервые — альм. «Царское село» на 1830 г., СПб., стр. 14. Печ. по изд. 1835 г., стр. 45, с восстановлением заглавия. Написано по поводу развернувшейся в 1829 г. полемики между издателем «Московского телеграфа» Н. А. Полевым и издателем «Галатеи» С. Е. Раичем. Не затрагивая принципиальных вопросов, полемика эта носила характер личных выпадов и придилок, часто принимавших форму прямой брани.

К. А. Свербеевой (стр. 143). Впервые — альм. «Царское село» на 1830 г., СПб., стр. 133, под заглавием «В альбом отъезжающей». Печ. по изд. 1835 г., стр. 205. Первоначальную редакцию дает автограф до 11-ой строки; остальное — рукой Н. Л. Баратынской в ее альбоме (ИРЛИ, 26322/CL XXXIX б. 11, л. 97 об.). Свербеева Екатерина Александровна (ум. 1892) — жена Д. Н. Свербеева, литератора, примыкавшего к кругу Киреевских — Елагиных.

Эпиграмма («В восторженном невежестве своем..») (стр. 144). Впервые — «Северные цветы» на 1830 г., СПб., стр. 7. В прижизненные сборники не включалось. Направлено против Н. А. Полевого, выступавшего в 1829—1830 гг. на страницах «Московского телеграфа» и в своей книге «История русского народа» с резкой критикой «Истории Государства Российского» Карамзина. На свой аршин он славу нашу мерит — намек на купеческое происхождение Полевого, дерзнувшего посягнуть на авторитет «знаменитого историографа».

Княгине Э. А. Волконской (стр. 144). Впервые — альм. «Подснежник», СПб., 1829, стр. 151, под заглавием: «Княгине Э. А. Волконской на отъезд ее в Италию». Печ. по изд. 1835 г., стр. 137. Волконская Зинаида Александровна (1792—1862) — блестящая красавица московского света, поэтесса, певица и композитор, прозванная современниками за ее таланты «Северной Коринной», уехала в Италию в феврале 1829 г. *Октавы Тассовы звучат* — знаменитая поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» написана октавой, строфой из восьми строк с особой рифмовкой. *Коринна* — героиня романа французской писательницы де Сталь «Коринна в Италии» (1807). Здесь — нарицательное имя разносторонне одаренной женщины.

Эпиграмма («Хотя ты малый молодой..») (стр. 145). Впервые — «Литературная газета», 1830, № 47, 19 августа, стр. 85, под заглавием «Эпиграмма». Печ. по изд. 1835 г., стр. 227, с восстановлением заглавия. Установить, против кого направлена эпиграмма, не удалось.

«Люблю я красавицу..» (стр. 146). Впервые — альм. «Сиротка» на 1831 г., М., стр. 21, под явно редакторским заглавием «Лазуновые очи» и с опечаткой в стихе 27. Печ. по изд. 1835 г., стр. 20.

Эпиграмма («Он вам знаком. Скажите, к стати..») (стр. 146). Впервые — «Литературная газета», 1830, № 32, 5 июня, стр. 258.

В прижизненные сборники не включалось. *Не дворянин* — купец по происхождению Н. А. Полевой. Написано в ответ на резкий антидворянский памфлет Полевого «Утро в кабинете знатного барина» («Новый живописец общества и литературы», 1830, № 10, май), направленный против Пушкина и пародирующий его послание «К вельможе».

Эпиграмма («Писачка в Фебов двор явился...») (стр. 147). Впервые — «Литературная газета», 1830, № 33, 10 июня, стр. 264. В прижизненные сборники не включалось. Направлено против Н. А. Полевого (см. примечание к предыдущему стихотворению). *Надоумко* — псевдоним Н. И. Надеждина, в 1828—1829 гг. ярого врага Полевого, постоянно нападавшего на него и на романтизм в «Вестнике Европы». Полевой ответил на эпиграммы Баратынского в № 13 «Нового живописца» за 1830 г. эпиграммой «Пришел поэт, и пущен на Парнас...»

«Бывало, отрок, звонким кликом...» (стр. 147). Впервые — изд. 1835 г., стр. 240. Датируется на основании свидетельства Баратынского в письме к Языкову в конце сентября 1831 г.: «Кстати — о стихах: я как-то от них отстал, и в уме у меня всё прозаические планы. Это очень грустно... Вот единственная пьеска, которую написал я с тех пор, как с тобой расстался <июль 1831. — Ред.>, стараясь в ней мое выразить горе» (Историко-литературный сборник. Посв. В. И. Срезневскому. Л., 1924, стр. 12—13). Автограф на обороте листа с автографом стихотворения «Где сладкий шепот...» (ИРЛИ, 26322/CLXXXIX б. 11 л. 102 об.).

Мой Элизий (стр. 148). Впервые — «Северные цветы» на 1832 г., СПб., стр. 98 (ценз. разр. 9 октября 1831 г.). Стихотворение навеяно смертью Дельвига (14 января 1831 г.), под впечатлением которой Баратынский писал П. А. Плетневу: «Потеря Дельвига для нас незаменима... потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная точного значения наших выражений» (сб. «Помощь голодающим», М., 1829, стр. 259—260). *Обманутый Орфей*. Орфей, мифический поэт и музыкант, потеряв надежду вывести свою умершую возлюбленную Эвридику из подземного царства, соединился с ней навеки в Элизии после собственной смерти (греч. миф.). *Вода забвенья* — река Лета (см. стр. 343).

Отрывок (стр. 148). Впервые — «Северные цветы» на 1832 г., СПб., стр. 70, под заглавием «Сцены из поэмы „Вера и неверие“». Печ. по изд. 1835 г., стр. 233, где отнесено к числу стихотворений. Представляет собой фрагмент неосуществленной поэмы. Очевидно, о «плане» именно этой поэмы Баратынский упоминает в одном из писем конца 1831 г. к И. В. Киреевскому (см. ТС, стр. 30).

«В дни безграничных увлечений...» (стр. 151). Впервые — «Европеец», 1832, № 1, стр. 52, под заглавием «Элегия». Печ. по изд. 1835 г., стр. 231, где помещено с незначительным разночтением. Датируется на основании письма, в котором было послано

Баратынским И. В. Киреевскому (см. ТС, стр. 28—29). В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 38) озаглавлено «Рассвет».

Н. М. Языкову («Языков, буйства молодого...») (стр. 152). Впервые — «Европеец», 1832, № 2, стр. 204. В прижизненные сборники не включалось. Препровождая послание адресату, Баратынский писал: «Вот тебе, милый Языков, несколько несладких рифм, которые, однако ж, показывают что я <о> тебе думал». На письме пометка Языкова: «Получено 1831, ноября 23-го» (Историко-литературный сборник. Посв. В. И. Срезневскому. Л., 1924, стр. 13—14). Вскоре Баратынский обратился к Языкову с другим посланием (см. «Бывало, свет позабывая...») и примечание к нему, стр. 362) и по этому поводу 18 января 1832 г. писал И. В. Киреевскому: «Если не напечатано первое мое послание к Языкову, не печатай его: оно мне кажется довольно слабо. Напечатай лучше второе, которым я более доволен» (ТС, стр. 31). С Языковым Баратынский сблизился в конце 20-х годов через семью Киреевских — Елагиных, с которыми Языков был в родстве. Общая оценка творчества Языкова дана Баратынским в письме к И. В. Киреевскому (начало 1832 г.): «Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение!» (там же, стр. 34).

Языкову («Бывало, свет позабывая...») (стр. 153). Впервые — изд. 1835 г., стр. 47. Датируется на основании письма, в котором было послано Баратынским Языкову с пометой последнего: «Получено 1832 г., января 13». Обращено к Н. М. Языкову и является откликом на его творческую декларацию, высказанную в стихотворении того же 1831 г.: «И. В. Киреевскому (В альбом)»

... Не в том вся жизнь и честь моя,
Что проповедую науку
Свободно-шумного житья
И сильно-пьяного веселья —
Ученье младости быллой.

Близка пора; мечты похмелья
Моей камены удалой
Пройдут; на новую дорогу
Она свой глас перенесет
И гимн отеческому богу
Благоговейно запоет,
И древность русскую, быть может,
Начнет она благословлять...

Посылая свое стихотворение Языкову, Баратынский писал: «Вот что внушило мне твое послание, исполненное свежести, и красоты, и грусти, и восторга... Твои студенческие элегии дойдут до потомства, но ты прав, что хочешь избрать другую дорогу. С возмужалостью поэта должна мужать и его поэзия, без того не будет истины и настоящего вдохновения...» (Литературно-библиологический сборник, П., 1918, стр. 70). Послание стилизовано в духе поэтической манеры

Языкова. Предназначалось Баратынским для «Европейца» (см. примечание к предыдущему стихотворению), но не успело в нем появиться, так как журнал был запрещен. *Злословный судия и хулитель* — очевидно, Н. А. Полевой, в своей полемике с «Литературной газетой» обвинявший Языкова в «единообразном удалстве» и бессодержательности его творчества. *Камена* — муза. *Менада* — вакханка. *Диадима* — корона.

«Где сладкий шепот...» (стр. 154). Впервые — изд. 1835 г., стр. 218. Автограф в тетради Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 26322/CLXXXIX б. 11, л. 102) дает значительные разночтения. Датируется по времени написания стихотворения «Бывало, отрок, звонким кликом...», автограф которого находится на том же листе тетради на обороте. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 4 об.) озаглавлено «Вьюга».

«Мой неискусный карандаш...» (стр. 155). Впервые — изд. 1835 г., стр. 199. Автограф в тетради С. Л. Энгельгардт (Государственный литературный музей в Москве) — под рисунком Баратынского, изображающим финляндский пейзаж (см. ПСС, т. 1, стр. 164). Здесь после 6-го стиха следует:

Там, так без друга, без подруги,
Мой тоскливые досуги
Мятежным песням посвящал...

а стих 10-й читается:

И другу, милой их рисуя...

То же — в автографе из альбома Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 26322/CLXXXIX б. 11, л. 103). Датируется предположительно по местоположению автографа в этом альбоме. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ 21733, «Элегии», л. 3 об.) озаглавлено «Воспоминание».

Эпиграмма («Кто непременный мой ругатель?») (стр. 156). Впервые — в не поступившем в продажу № 3 «Европейца» за 1832 г., стр. 397, без подписи. В прижизненные сборники не включалось. Посылая эпиграмму в начале 1832 г. И. В. Киреевскому, Баратынский писал: «Вот тебе в заключение эпиграмма, которую должно напечатать без имени» (ТС, стр. 35). По всей вероятности, направлено против Н. А. Полевого, в ответ на его резко отрицательный отзыв о поэме Баратынского «Наложница», задуманной как «ультраромантическое» произведение. В своих выводах отзыв Полевого совпал с уничтожающей статьей о «Наложнице» Н. И. Надеждина, заклятого врага «романтиков». Это обстоятельство, очевидно, и имеет в виду Баратынский, называя Полевого «родным», «предавшим» некогда объединявшие их романтические позиции.

На смерть Гете (стр. 156). Впервые — альм. «Новоселье», ч. 1, СПб., 1833, стр. 239. Упоминается в письме Баратынского к И. В. Киреевскому от 30 мая 1832 г.: «Это время я писал всё мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна на смерть Гете, кото-

рою я более доволен, чем другими» (ТС, стр. 46). Написано под свежим впечатлением известия о смерти Гете (ум. 22 марта 1832). Облик великого немецкого поэта обрисован в стихотворении в духе той шеллингианской трактовки его личности и творчества, которая была широко распространена в русской критике конца 20 — начала 30-х годов.

А. А. Фуксовой (стр. 157). Впервые — изд. 1835 г., стр. 147, под заглавием «А. А. Ф. .ой». Печ. по изд. 1884 г., стр. 206, где помещено в исправленном и сокращенном виде. Обращено к казанской знакомой Баратынских, бездарной поэтессе Александре Андреевне Фукс (ум. 1852). Восторженный тон послания продиктован требованиями светской вежливости и ни в какой мере не выражает действительного отношения поэта к А. А. Фукс. 16 мая 1832 г. Баратынский писал из Казани И. В. Киреевскому: «Прошу... пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязания на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать» (ТС, стр. 46). Стихотворение упоминается в письме Пушкина от 12 сентября 1833 г. из Казани к жене (Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 15. Изд. АН СССР, 1948, стр. 80).

Мадонна (стр. 158). Впервые — изд. 1835 г., стр. 193. Печ. по изд. 1884 г. 18 января 1832 г. Баратынский сообщал И. В. Киреевскому: «Я получил баллады Жуковского. В некоторых необыкновенное совершенство слога и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне даже дает охоту рифмовать легенды» (ТС, стр. 32). Очевидно, «Мадонна» и представляет собой такого рода «рифмованную легенду», написанную под влиянием «Повестей и баллад» Жуковского, вышедших в 1831 г. в 2 частях. На этом основании предположительно датировем стихотворение началом 1832 г. *Корреджий* — Антонино Корреджио (1494—1534), знаменитый итальянский живописец.

Кольцо (стр. 160). Впервые — альм. «Новоселье», ч. 1, СПб., 1833, стр. 464. Печ. по изд. 1835 г., стр. 228, где дано с исправлениями и без заглавия. В «Русской старине» (1870, ч. 8, стр. 316) указано, что стихотворение написано Баратынским «по поводу подаока кольца, сделанного супругой его Н. Л. Баратынской сестре, С. Л. Энгельгардт» (см. о ней стр. 358).

«К чему невольнику мечтания свободы?..» (стр. 161). Впервые — изд. 1835 г., стр. 24, с цензурным пропуском слов «и не ее ли глас в их гласе слышим мы». Восстанавливаем их по «Журналу заседаний СПб. цензурного комитета от 14 марта 1833 г.» (ЛМ, стр. 16). В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 2 об.) озаглавлено «Ропот».

«Сердечным нежным языком...» (стр. 162). Впервые — изд. 1835 г., стр. 46, с цензурным искажением в стихе 7: вместо: «осязаний» — «лобызаний». Восстанавливаем авторское чтение по «Журналу заседаний СПб. цензурного комитета от 14 марта 1833 г.» (ЛМ, стр. 16).

«Наслаждайтесь: всё проходит!..» (стр. 162). Впервые — изд. 1835 г., стр. 19. Как и следующие десять стихотворений, не могло быть написано позднее 1834 г., так как в ноябре этого года Баратынский держал последнюю корректуру изд. 1835 г., вышедшего в свет в середине апреля.

«Храни свое неопасенье...» (стр. 163). Впервые — изд. 1835 г., стр. 79. В изд. 1884 г., стр. 204 озаглавлено «Монастырке». Обращено к неизвестной нам воспитаннице Смольного института (Петербург), образованного из женского монастыря.

«Когда исчезнет омраченье...» (стр. 163). Впервые — изд. 1835 г., стр. 119. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 41 об.) озаглавлено «Омраченье».

«Я не любил ее, я знал...» (стр. 164). Впервые — изд. 1835 г., стр. 170. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 32) озаглавлено «Ошибка».

«Болящий дух врачует песнопенье...» (стр. 165). Впервые — изд. 1835 г., стр. 175. Близкие стихотворению мысли Баратынского высказаны в одном из его писем 1831 г. к П. А. Плетневу: «Мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалах жизни. Выразить чувство — значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранять бодрость духа» (сб. «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 260).

«О, верь: ты, нежная, дороже славы мне...» (стр. 165). Впервые — изд. 1835 г., стр. 197. Обращено к жене поэта Настасье Львовне, урожденной Энгельгардт. Автограф — в альбоме Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 20322/CLXXXIX б. 11, л. 143 об.).

«О мысли тебе удел цветка...» (стр. 165). Впервые — изд. 1835 г., стр. 188.

«Есть милая страна, есть угол на земле...» (стр. 166). Впервые — изд. 1835 г., стр. 210. В стихотворении запечатлены воспоминания поэта о первых посещениях Муранова, подмосковной усадьбы Энгельгардтов (Дмитровского уезда) в 1826 г., когда он был женихом Настасьи Львовны Энгельгардт. В садах Армидиных — инносказательно — в любовных мечтах. В поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим» волшебница Армида, влюбленная в Ринальдо, околдовывает его любовными чарами в волшебном саду. Она, которой нет — Наталья Львовна Энгельгардт, свояченица поэта, умершая в 1826 г. от чахотки.

К. А. Тимашевой (стр. 167). Впервые — изд. 1835 г., стр. 216. Тимашева Екатерина Александровна, урожденная Загряжская (1798—1881) — московская красавица и поэтесса.

«Весна, весна! как воздух чист!..» (стр. 167). Впервые — изд. 1835 г., стр. 223.

«Своенравное прозвание...» (стр. 168). Впервые — изд. 1835 г., стр. 225. Печ. по изд. 1884 г. стр. 225, где имеет авторские исправления и редакторское заглавие «Н. А. Баратынской». Обращено к жене поэта.

Запустение (стр. 169). Впервые — «Библиотека для чтения», 1835, т. 8, стр. 19 (ценз. разр. 28 декабря 1834 г.), под заглавием «Зажустение. Элегия». С разночтениями и без заглавия — изд. 1835 г., стр. 115. Печ. по изд. 1884 г., стр. 196. В стихотворении отражены впечатления Баратынского от посещения осенью 1833 г. имения Мара, Тамбовской губ., где он родился и провел детские годы. *Заглохший Элизей* — иносказательно — место дорогих для поэта воспоминаний о безвозвратно ушедшем прошлом. *Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен* — имеется в виду отец поэта Абрам Андреевич Баратынский, владелец Мары (умер в 1810 г. в Москве и там же похоронен).

«Сумерки»

Князю П. А. Вяземскому (стр. 172). Впервые — «Современник», 1836, т. 4, № 4, стр. 216. В «Сумерках» это стихотворение, в знак посвящения Вяземскому всего сборника, напечатано курсивом, а заглавие вынесено на шмуцтитул. Датируется на основании упоминания в письме Баратынского к С. Л. Энгельгардт; на автографе письма (Мурановский архив) приписка жены поэта о предстоящей свадьбе Е. П. Киндяковой и А. Н. Раевского, которая состоялась 11 ноября 1834 г. («Мурановский сборник», т. 1, М., 1928, стр. 30.¹ Послано Вяземскому вместе с изданием «Стихотворений Баратынского» 1835 г. *Судьбы суровой удары грозные*. Имеется в виду тяжелая болезнь дочери Вяземского Прасковьи Петровны (ум. 1835), с которой он находился тогда за границей. *Звезда разрозненной плеяды* — намек на судьбу Вяземского и других поэтов арзамасской ориентации, занимавших ведущее место в литературной жизни конца 10 — начала 20-х годов и утративших свое былое единство и популярность в последнедекабрьские годы. Посвящая «Сумерки» Вяземскому, Баратынский подчеркивал свою верность эстетическим традициям начала 20-х годов.

Последний поэт (стр. 173). Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, кн. 1, март, кн. 1, стр. 30. С незначительными разночтениями — «Сумерки», стр. 15. Печ. по экземпляру «Сумерек» с собственноручными поправками Баратынского (собрание К. В. Пигарева). Тема «Последнего поэта» — тема гибели искусства в условиях «промышленного», т. е. капиталистического, века имела для журнала «Московский наблюдатель» программное значение и усиленно развивалась его издателями и участниками (см. напечатанную в той же книге журнала статью С. П. Шевырева «Словесность и торговля», его же статью о «Чаттертоне» А. де Виньи, напечатанную во 2-й книге 4-й части «Московского наблюдателя» за тот же год, а также появившуюся еще в 1832 г. в № 1 «Европейца» программную статью

¹ Здесь письмо ошибочно отнесено к 1831 г.

И. В. Киреевского «Деятнадцатый век»). *Вновь Эллада ожила* и т. д. В 1830 г. Греция освободилась от турецкого владычества и стала самостоятельным государством. *Омир* — Гомер. *Оно шумит перед скалой Левкада* и след. По преданию, знаменитая древнегреческая поэтесса Сафо (конец VII — начало VI в. до н. э.) покончила с собой, бросившись в море с Левкадской скалы из-за неразделенной любви к юноше Фаону.

«Предрассудок! он обломок...» (стр. 175). Впервые — «Отечественные записки», 1841, т. 15, № 3, стр. 258 (ценз. разр. 28 февраля 1841 г.), под заглавием «Предрассудок». Печ. по «Сумеркам», стр. 21.

Новинское (стр. 176). Впервые — «Сумерки», стр. 23. *Новинское* — подмосковное село (впоследствии Новинский бульвар), место гуляний московского света. Раннюю редакцию стихотворения, адресованную неизвестной нам женщине, дает список в «Альбоме кухни Наталии» (Мурановский архив), где первые четыре стиха читаются так:

Как взоры томные свои
Ты на певце остановила,
Не думай, чтоб мечта любви
В его душе заговорила...

Список находится в альбоме среди списков других стихотворений Баратынского середины 20-х годов, а также стихотворений Пушкина и Языкова тех же лет. Очевидно, что в основе обеих редакций лежит определенный и памятный для современников факт биографии Пушкина, связанный с его первым появлением осенью 1826 г., после возвращения из Михайловского, на одном из гуляний в Новинском (об этом см. свидетельство М. П. Розенберга, приведенное в статье Н. О. Лернера «Одесса в 1830 году». — «Одесские новости», 1913, 26 февраля, № 8958, и стихотворение Е. П. Ростопчиной «Две встречи»), что и дало основание Баратынскому, перерабатывая стихотворение для «Сумерек», переадресовать его непосредственно Пушкину.

Приметы (стр. 176). Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1840 г., СПб., стр. 117 (ценз. разр. 14 октября 1839 г.). Печ. по «Сумеркам», стр. 25. Стихотворение является откликом на борьбу русских гегельянцев и шеллингянцев (см. вступ. статью), в которой видное место занимал вопрос о соотношении логического и интуитивного начала в познании и искусстве. Утверждая примат «чувства» над «умом» и «суеютой изысканий», Баратынский решает этот вопрос с шеллингианских позиций, точно сформулированных В. Ф. Одоевским в статье конца 30-х годов. «Наука инстинкта»: «Человек первобытный должен был более нашего знать природу чувством, бессознательно, как животные чувят грозу. пчелы понимают выгоды пятиугольника... Человек должен кончить тем, чем начал: он должен... ум возвысить до инстинкта» (П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма, т. 1, ч. 1, М., 1913, стр. 470, 482).

«Всегда и в пурпуре и в злате...» (стр. 177). Впервые — «Отечественные записки», 1840, т. 9, № 3, стр. 150. Печ. по «Сумеркам», стр. 28. В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 18 об.) озаглавлено «С. Ф. Т.». Раскрыть эти инициалы не удалось.

«Увы! Творец не первых сил...» (стр. 177). Впервые — «Сумерки», стр. 29. В одной из копий Н. Л. Баратынской, хранившейся в ИРЛИ и ныне утраченной, в стихе 2-м вместо «статейках» стоит «романах». *Неаполь возмутил рыбарь* и т. д. — эпизод из популярной оперы Обера «*La muette de Portici*» («Немая из Портичи»). шла в Петербурге на сцене немецкого театра с января 1834 г.), заимствованный из событий неаполитанской революции 1647 г., надолго освободившей город из-под испанского владычества. *Рыбарь*. Возглавлявший революцию рыбак Мазаниело захватил управление Неаполем в свои руки, но вскоре добровольно капитулировал перед испанским вице-королем и, по преданию, разорвав одежды, удалился в свою хижину. Как это установлено Б. Я. Бухштабом (см. Труды Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской, т. 1, 1956, стр. 233—235), эпиграмма направлена против И. И. Лажечникова, третий роман которого «Басурман» (1838) был напечатан по необычной орфографии.

Недоносок (стр. 178). Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 1, апрель, кн. 1, стр. 526, с опущенным впоследствии восьмистишием после стиха 8:

Весел я небес красой,
Но слепец я. В разумеень
Мне завистливой судьбой
Не дано их провиденье.
Духи высшие, не я,
Постигают тайны мира,
Мне лишь чувство бытия,
Средь пустых полей эфира.

Стихи 34—37, а также 55—56 опущены и заменены пробелами. В «Сумерки», стр. 31, вошло в окончательной редакции за исключением стиха 56, напечатанного с цензурным искажением:

В тягость твой простор, о вечность.

Печ. по изд. 1884 г., стр. 240, с исправлением опечатки (в стихе 19): «омрачившись» вместо «омрачивших» по «Московскому наблюдателю» и цензурного искажения в стихе 56 по цензурному экземпляру «Сумерек» (ИРЛИ, 21730/CL 6* 8, л. 13 об.), где имеются помета цензора и соответствующая тексту «Сумерек» поправка рукой Баратынского. Обычное в русском языке значение слова «недоносок» (рожденный ранее срока) не отвечает контексту стихотворения. Следует предположить, что Баратынский, как это было указано нам Б. В. Томашевским, употребляет слово «недоносок» в качестве перевода французского «*avorton*», наряду с значением «рожденный до срока» имеющим значение «мертворожденный». Соответственно следует думать, что тема стихотворения была подсказана Баратынскому известным в то время сонетом французского поэта Эно (ум. 1682) «*Sonnet sur avorton*», в начальных строках которого говорится о неполноценности, промежуточности бытия мертворожденного:

Toi qui meurs avant que de naître,
Assamblage confus de l'être et du néant;

Triste avorton, informe enfant,
Rebut du néant et de l'être...¹

Однако философская трактовка темы мертворожденного не имеет у Баратынского ничего общего с сонетом Эно, построенным на чисто внешнем, словесном обыгрывании этого мотива.

Алкивиад (стр. 179). Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 5, ноябрь, кн. 1, стр. 27. Печ. по «Сумеркам», стр. 36. *Алкивиад* (451—404 до н. э.) — один из замечательнейших афинских военачальников.

Ропот («Красного лета отрава, муха досадная, что ты...») (стр. 180). Впервые — «Отечественные записки», 1841, т. 17, № 7, стр. 155, без заглавия. Печ. по «Сумеркам», стр. 38.

Мудрецу (стр. 180). Впервые — «Современник», 1840, т. 18, № 2, стр. 253, без заглавия, вместе со стихотворением «Всё мысль да мысль...», в разделе «Антологические стихотворения». В «Сумерках», стр. 40, — с цензурным искажением стиха 3:

Нам, изволением Зевеса, брошенным в мир коловоротный!
Печ. по цензурному экземпляру «Сумерек» (ИРЛИ, 21730/CL б. 8, л. 15), где выражение «словом тревожным» отчеркнуто цензором.

Филида с каждою зимою... (стр. 180). Впервые — «Сумерки», стр. 42. Прообразом *Филиды* (условное поэтическое имя) является Елисавета Михайловна Хитрово (1783—1838), светская женщина, известная своими широкими литературными знакомствами, приятельница Пушкина. По свидетельству В. А. Соллогуба, «у Елисаветы Михайловны были знаменитые своей красотой плечи; она по моде того времени часто их показывала, и даже сильно их показывала» («Воспоминания», М.—Л., 1931, стр. 299). Эта слабость Хитрово, сохраненная ею до самой смерти, служила предметом постоянных шуток друзей и знакомых. Эпиграмму Баратынского отличает трагическое осмысление комической темы. Датируется предположительно годом смерти Е. М. Хитрово.

Бокал (стр. 181). Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 5, ноябрь, кн. 1, стр. 24. Печ. по «Сумеркам», стр. 43. *Au* — сорт шампанского.

Были бури, непогоды... (стр. 182). Впервые — «Современник», 1839, т. 15, № 3, стр. 158, вместе с «Благословен, святое возвестивший...» и «Еще, как патриарх, не древен я...», под общим заглавием «Антологические стихотворения». В «Сумерках», стр. 47, — с разночтениями и цензурным искажением в стихе 5: вместо «вольной песнью» — «бойкой песнью». Печ. по цензурному экземпляру «Сумерек» (ИРЛИ 21730/CL б. 8, л. 18), где все стихотворение отчеркнуто

¹ Ты, умерший прежде, чем родиться, Смутное смешение бытия и небытия, Жалкий выкидыш, невоплотившееся дитя, Отвергнутое небытием и бытием... — *Ред.*

карандашом цензора. Датируется на основании письма Баратынского 1839 г. к П. А. Плетневу: «Посылаю тебе несколько небольших пьес («Были бури, непогоды...», «Благословен святое возвестивший...», «Еще, как патриарх, не древен я...»), написанных мною на прошлой неделе» («Русская старина», 1904, № 6, стр. 520).

«На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» (стр. 183). Впервые — «Отечественные записки», 1840, т. 9, № 3, стр. 1. Печ. по «Сумеркам», стр. 49.

Коттерие (стр. 183). Впервые — «Русский архив», 1890, № 1, стр. 326, под заглавием «Е. А. Баратынский. Об одном литературном кружке». Печ. по цензурному экземпляру «Сумерек» (ИРЛИ, 21730/CL б. 8, л. 19 об.), где написано на одном листе с окончанием стихотворения «На что вы дни...» рукой Н. Л. Баратынской дважды: сначала в иной редакции (зачеркнуто) и ниже — в редакции, принятой нами. На основании наличия этой редакции в цензурном экземпляре «Сумерек», а также свидетельства Бартенева о том, что стихотворение не было пропущено в свое время цензурой, включаем его в состав «Сумерек», восстанавливая заглавие по копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21729/CL б. 7, л. 8). Обращено против некогда близкого Баратынскому круга московских литераторов (С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Д. Н. Свербеев и др.), утвердившихся к концу 30-х годов на славянофильских позициях и с 1841 г. издававших журнал «Москвитянин». О них Баратынский в мае 1842 г. писал С. Л. Пютяте: «Наши предположения оправдываются. Теперь уже не мы одни подозреваем существование организованной коттерии. На нее вопят в Москве новые ее жертвы». Из письма Н. Л. Баратынской к сестре (того же времени) выясняется, что «организованной коттерией» Баратынский называл круг «Москвитянина», намеревающийся «погубить» Белинского за его памфлет на Шевырева «Литературный педант» (оба письма не опубликованы. Находятся в собрании К. В. Пигарева). Коттерия (франц.) — объединение заговорщиков. *Аминь, аминь, вещал он вам* и т. д. С обратным значением применено евангельское изречение: «Истинно, истинно, говорю вам, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них».

Ахилл (стр. 184). Впервые — «Современник», 1841, т. 23, № 3, стр. 180, без заглавия. Печ. по «Сумеркам», стр. 51. Ахилл (Ахиллес) — один из героев «Илиады» Гомера. Младенцем был погружен матерью в воды подземной реки Стикс, что сделало его тело, кроме пятки, за которую его держала мать, неуязвимым в бою.

«Сначала мысль, воплощена...» (стр. 184). Впервые — «Современник», 1838, т. 9, № 1, стр. 154, под заглавием «Мысль». Печ. по «Сумеркам», стр. 53. Направлено против критиков и журналистов (Белинский, Н. А. Полевой и др.), приветствовавших «поворот» русской литературы 30-х годов от поэзии к прозе как несомненное свидетельство роста общественного самосознания. Отвечая на эпиграмму и подчеркивая приверженность ее автора к устаревшим литературным формам, Полевой писал: «Не плодя журнальной полемики, как не сказать, что такие стихи, как искусственная

жена, как темная дева, не подьемяют и не воплощают никакой мысли, кроме одной только: зачем писать стихи, если время их для нас прошло?» («Сын отечества», 1838, т. 2, отд. 4, стр. 165).

«Еще, как патриарх, не древен я; моей...» (стр. 185). Впервые — «Современник», 1839, т. 15, № 3, стр. 158, вместе с «Были бури, непогоды...» и «Благословен, святое возвестивший...», под общим заглавием «Антологические стихотворения». Печ. по «Сумеркам», стр. 55. Датируется письмом Баратынского к П. А. Плетневу (см. примечание к стихотворению «Были бури, непогоды...» стр. 369). В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21733, «Элегии», л. 17 об.) озаглавлено «К. Г.». Кто скрывается за этими инициалами — установить не удалось.

«Толпе тревожный день приветен, но страшна...» (стр. 185). Впервые — «Отечественные записки», 1839, т. 11, № 2, стр. 1. Печ. по «Сумеркам», стр. 56.

«Здравствуй, отрок сладкогласный!...» (стр. 186). Впервые — «Сумерки», стр. 58. В цензурном экземпляре «Сумерек» — разночтения в двух стихах. Обращено к сыну поэта Льву Евгеньевичу Баратынскому (1829—1906) «по поводу первой его стихотворной втуды» (изд. 1884 г., стр. 255).

«Что за звуки? Мимоходом...» (стр. 186). Впервые — «Отечественные записки», 1841, т. 16, № 5, стр. 71, под заглавием «Vanitas vanitatum» («Суета сует»). Печатается по «Сумеркам», стр. 60. Противопоставляя избранника художнику, Баратынский следует шеллингианско-романтическому представлению о божественной природе подлинно поэтического вдохновения.

«Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!...» (стр. 187). Впервые — «Современник», 1840, т. 18, № 2, стр. 254, в разделе «Антологические стихотворения», вместе со стихотворением «Мудрецу». Печ. по «Сумеркам», стр. 63. По своему философскому подтексту перекликается со стихотворением «Приметы» (см. примечание к нему, стр. 367).

Скульптор (стр. 187). Впервые — «Современник», 1841, т. 23, № 3, стр. 182. Печ. по «Сумеркам», стр. 65. Тема стихотворения восходит к греческому мифу о статуе морской нимфы Галатеи, изваянной скульптором Пигмалионом, ожившей и ставшей его возлюбленной.

Осень (стр. 188). Впервые — «Современник», 1837, т. 5, № 1, стр. 279. Печ. по «Сумеркам», стр. 67, где имеются многочисленные разночтения. Посылая «Осень» в феврале 1837 г. Вяземскому, Баратынский писал: «Препровождаю вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения... Многим в нем я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более, что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе» («Старина и новизна», кн. 5, 1902, стр. 54). Исходя из этого признания, следует думать, что

«Последние строфы» стихотворения, в которых говорится о равнодушии «толпы» к «глаголу» и судьбе истинного поэта, являются откликом на трагическую гибель Пушкина и равнодушное отношение к этому событию светских кругов. «Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием», — писал об этом Баратынский тому же Вяземскому 5 февраля 1837 г. («Старина и новизна», кн. 3, 1900, стр. 342). Образец «утекающей» с небесного горизонта «звезды» — символ гибели великого поэта — восходит к поэтической традиции 20-х годов, в частности к откликам на смерть Байрона. Так, говоря о тяжести этой утраты для литературы и человечества, А. А. Бестужев писал: «Теперь можно воскликнуть словами Библии: «Куда сокрылся ты, лучезарный Люцифер!» Смерть сорвала с неба эту золотую звезду, и какое-то отчаянное эхо его падения отозвалось в сердцах людей благомыслящих» (письмо Вяземскому от 17 июня 1824 г. — «Литературное наследство», № 60, 1956, стр. 219). То же в стихотворении Кюхельбекера «На смерть Байрона»:

...единая от звезд,
Отторгшись, мчится, лет сиянье
Чрез поле неизмерных мест,
И око, зря ее полет,
За ней боязненно течет!
Упала дивная комета!

«Благословен святое возвестивший!..» (стр. 193). Впервые — «Современник», 1839, т. 15, № 3, стр. 157, вместе с «Были бури, непогоды...» и «Еще, как патриарх, не древен я...», под общим заглавием «Антологические стихотворения». Датируется письмом Баратынского к П. А. Плетневу (см. примечание к стихотворению «Были бури, непогоды...», стр. 369). Защищая в данном стихотворении, так же как и в предисловии к поэме «Наложница», право художника на изображение «неправедных изгибов людских сердец», Баратынский положительно отвечает на вопрос о праве писателя на изображение темных, «низких» сторон действительности. С особой остротой этот вопрос встал в полемике о французском «неистовом» романе и о романах Бальзака. Баратынский увлекался в эти годы Бальзаком и в 1842 г. собирался писать «роман в его жанре».

Р и ф м а (стр. 193). Впервые — «Современник», 1841, т. 21, № 1, стр. 241 (ценз. разр. 24 декабря 1840 г.), с рядом разночтений и с цензурным пропуском, как это указано в копии Н. Л. Баратынской, в стихах 14—23 (ИРЛИ, 21733, л. 16). В «Сумерках», стр. 86, — с тем же пропуском и разночтением в стихе 2. Печ. по изд. 1884 г., стр. 268, с восстановлением не пропущенных цензурой строк. Стихи 24—33 читались ранее так:

А нынче кто у наших лир
Их дружелюбной тайны просит?
Кого за нами в горний мир
Опальный голос их уносит?
Меж нас не ведает поэт,
Его полет высок иль нет!

Сам судия и подсудимый,
Пусть молвит: песнопевца жар —
Смешной недуг иль высший дар?
Решит вопрос неразрешимый!

Образы «витни» и «оратора», выступающих на Олимпийских играх перед «окованной» и «рукоплещущей толпой», восходят к описанному Фукидидом эпизоду биографии Геродота. В «Эмилиевых письмах» М. Муравьева этот эпизод передан так: «Когда Геродот читал историю свою на Олимпийских играх, тогда всё несчетное множество греческих народов в глубоком молчании упивалось слушаньем и гром рукоплесканий увенчивал оное» (Сочинения М. Муравьева, ч. 1, 1819, стр. 171). Тот же образ встречаем в послании К. Н. Батюшкова «К Н. М. Карамзину» (1818), первый стих которого текстуально повторяет Баратынский:

Когда на играх Олимпийских
В надежде радостных похвал
Отец истории читал,
Как грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушал, —
Народ, любимец гордой славы,
Забыв ристанья и забавы,
Стоял и весь вниманье был.

По теме и настроению «Рифма» переключается с стихотворением Лермонтова «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...», 1837 г.). *Музыкальные* — музыкальные, поэтические (греч.).

Звезды (стр. 195). Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1840 г., СПб., стр. 226, с подписью «Е. Баратынский». *Звезды Мозга и звезды Аи* — марки шампанского.

Обеды (стр. 195). Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1840 г., СПб., стр. 184. Первоначальную черновую редакцию дает авторграф (ИРЛИ, 21718/CLб. 5), находящийся на обороте копии Н. Л. Баратынской стихотворения «Толпе тревожный день приветен...» *Хариты* — три сестры, богини грации (греч. миф.). *Камены* — девять богинь, покровительниц искусств и наук (римск. миф.).

«На всё свой ход, на всё свои законы...» (стр. 196). Впервые — изд. АН, т. 1, стр. 158, где опубликовано по копии Н. Л. Баратынской в альбоме «Souvenir» (ИРЛИ, 21731/CL. б. 9, л. 52). Написано, очевидно, в 1840 г. под петербургскими впечатлениями, о которых Баратынский 10 февраля того же года писал жене: «Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь себе о самом изящном, в молодости по книгам. Полная неприужденность и игривость, обратившаяся в нравственное чувство. В Москве об этом и понятия не имеют» (цит. по копии Н. Л. Баратынской в альбоме «Souvenir», л. 31 об.).

С книгою «Сумерки» С. Н. К. (стр. 196). Впервые — «Современник», 1842, т. 27, № 7, стр. 95, обращено к Софье Николаевне Карамзиной (1802—1856) — дочери историографа. Баратынский познакомился с Карамзиной и часто бывал у нее в Петербурге осенью 1840 г. Стихотворение датируется по времени выхода «Сумерек» и по письму Карамзиной, написанному 26 июня 1842 г. в ответ на получение экземпляра этого сборника (ИРЛИ, 21748/CL6. 14).

«Спасибо злобе хлопотливой...» (стр. 196). Впервые — «Русская беседа», 1859, кн. 2 (14), стр. 1, в неполном и искаженном виде, с редакционной заметкой: «Стихи эти посланы нам П. И. Бартеневым из Дрездена, при следующем замечании: «Живя в Москве, Баратынский несколько месяцев сряду не мог ничего писать и все жаловался на скуку. Вдруг журнальные рецензии, в которых почти никогда не отдавалось должной цены его произведениям, или какие-то другие неприятности, пробудили его из этого усыпления. Он снова и действительно принялся за работу, а когда его раз спросили, отчего произошла в нем такая быстрая перемена, он отвечал прилагательным осмыслением...» Датируется по содержанию, близкому к стихотворению «Коттерие». *Богоизбранный еврей* и т. д. По библейскому преданию, во время битвы предводительствуемых Иисусом Навином иудеев с филистимлянами солнце остановилось и не заходило до тех пор, пока филистимляне не были уничтожены. Флакк — Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), знаменитый римский поэт, воспевавший в своих дружеских посланиях любовь, дружбу, молодость.

Молитва (стр. 197). Впервые — «Современник», 1844, т. 36, № 12 (вышел после смерти поэта), стр. 368. В посмертных изданиях отнесено к 1842—1843 гг.

«Когда твой голос, о поэт...» (стр. 197). Впервые — «Современник», 1843, т. 32, № 4, стр. 354, под заглавием (явно редакционным) «Когда твой голос...» В копии Н. Л. Баратынской (ИРЛИ, 21729/CL6.7) озаглавлено «Память поэту». В стихотворении можно видеть косвенный ответ на критический отзыв Белинского о «Сумерках». Белинский писал: «Давно ли г. Баратынский, вместе с г. Языковым, составлял блестящий триумvirат, главой которого был Пушкин? А между тем как уже давно одинокою стоит колоссальная тень Пушкина и, мимо своих современников и сподвижников, подает руку поэту нового поколения (т. е. Гоголю. — *Ред.*), которого талант застал и оценил Пушкин еще при жизни своей!» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6. М., 1955, стр. 464). Называя Белинского «намеднишним зоилом», т. е. зоилом Пушкина,

Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом,

Баратынский напоминает о недобрительных отзывах Белинского о «Повестях, изданных Александром Пушкиным» («Молва», 1835, № 7) и IV части «Стихотворений Александра Пушкина» («Молва», 1836, № 3). Из этих конкретных фактов и вырастает отвлеченная тема стихотворения, тема трагической «судьбы поэта». Когда твой

голос, о повт. . .» было последним стихотворением Баратынского, напечатанным при его жизни, и единственным после статьи Белинского о «Сумерках».

На посев леса (стр. 198). Впервые — сб. «Вчера и сегодня», ч. 2, СПб., 1846, стр. 68. Печ. по изд. 1884 г., стр. 274, с исправлением в стихе 20 по черновому автографу (ИРЛИ, 21720/CL6.5, л. 14 об.): «падшей» вместо «грозной». Несмотря на явную недоработанность стихотворения (в тексте «Вчера и сегодня» в стихе 29 вместо 5-стопного ямба — 6-стопный, в посмертном издании в этом стихе нарушена цезура), оно занимает одно из центральных мест в поздней лирике Баратынского и связано единой темой со стихотворениями: «Коттерие», «Спасибо злобе хлопотливой. . .» и «Люблю я вас, богини пенья. . .» На этом основании включаем «На посев леса» в основной текст. В основу стихотворения легли конкретные факты биографии Баратынского начала 40-х годов. Поэт действительно подсаживал лес в своей мурановской роще, но только не «весной», а осенью 1842 г. Разъясняя смысл стихотворения Я. К. Гроту, П. А. Плетнев писал: «У Баратынского сокрытый ров означает намек на разные пакости, которые в Москве делала ему юные литераторы, злобствуя, что он не делит их дурачеств. . . Свои рога есть живописное изображение глупца в виде рогатой скотины. Все последние четыре стиха оттого непонятны, что я не припечтатал объяснения, бывшего в подлиннике. Баратынский это писал, насадивши в деревне рощу дубов и елей, которую и называет здесь дитятей поэзии таинственных скорбей, выражая последними словами мрачное расположение души своей, в каком он занимался и до которого довели его враги литературные» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2. СПб., 1896, стр. 728—729). Но, вопреки утверждению Плетнева, в стихотворении речь идет не о «юных литераторах» — т. е. кружке Станкевича, в то время уже распавшемся, а о круге «Москвитянина». Сам же Плетнев писал Гроту по поводу смерти поэта: «В «Москвитянине» не сказали ни слова о Баратынском. Такова злость литературных партий» (там же, стр. 232).

«Люблю я вас, богини пенья. . .» (стр. 199). Впервые — «Современник», 1844, т. 36, № 12, стр. 370 (вышел после смерти поэта). В черновой редакции (зачеркнутый автограф на обороте черновика стихотворения «На посев леса») (ИРЛИ, 21722/CL6, л. 10 об.) — первые два четверостишия читаются так:

Над дерзновенной головою,
Как над землей скопленный пар,
Нависли тучи надо мною,
И за ударом бьет удар.

Я бросил лирную порфиру,
Боюсь явленья бога струн,
Чтоб персты, падшие на лиру,
Не пробудили бы перун. . .

Проступающая здесь биографическая тема «ударов», преследующих поэта со стороны его литературных врагов, перерастает в окончатель-

ной редакции в отвлеченно-философскую тему нераздельности «любви камен» с «враждой Фортуны».

«Когда, дитя и страсти и сомненья...» (стр. 199). Впервые — «Современник», 1844, т. 36, № 10, стр. 109 (вышел после смерти поэта), с подписью: «***». Обращено к жене поэта Н. А. Баратынской. По свидетельству Н. В. Путьты, написано в Париже зимой 1844 г. (изд. 1884 г., стр. 480).

Пироскаф (стр. 200). Впервые — «Современник», 1844, т. 35, № 8, стр. 215 (вышел после смерти поэта), с пометой «Средиземное море. 1844». Написано весной 1844 г. во время переезда из Франции в Италию. Вместе с написанным вскоре в Италии посланием к «Дядьке-итальянцу» за несколько дней до кончины было отправлено Баратынским Н. В. Путьте со следующей припиской: «Посылаю вам два стихотворения, отдайте их Плетневу для его журнала» (изд. 1884 г., стр. 551). *Пироскаф* — пароход. *Фетида* — морская богиня (греч. миф.) *Элизий земной* — иносказательно — земной рай.

Дядьке-итальянцу (стр. 201). Впервые — «Современник», 1844, т. 35, № 8, стр. 217 (вышел после смерти поэта), с пометой «Неаполь. 1844». За несколько дней до смерти (см. примечание к предыдущему стихотворению) было отправлено Баратынским Н. В. Путьте для «Современника». На этом основании считаем текст «Современника» окончательным. Обращено к памяти давно умершего воспитателя поэта, итальянца Жьячинто Боргезе. *Москва нас приняла* и т. д. В 1808 г. семья Баратынских переселилась из имени Мара в Москву. *Оставил там могилу дорожную* и т. д. Речь идет о могиле отца поэта, А. А. Баратынского, скончавшегося в Москве в 1810 г., после чего Баратынские возвратились в Мару. *Где зрел, дивясь, суворовских солдат* и т. д. Русско-австрийские войска под командованием Суворова вошли в Италию в сентябре 1799 г. *Тебе предстал и он* и т. д. Подразумевается второй итальянский поход Наполеона, ознаменованный битвой при Маренго 14 июня 1800 г. *Кондотьери*. Так назывались в XIV—XV вв. в Италии предводители наемного войска, по большей части беспринципные авантюристы. *Едва ты узнику печальному британца Простил военную систему Корсиканца*. Наполеон, выходец с острова Корсики, окончил свои дни в 1821 г. на острове св. Елены в Атлантическом океане, где содержался англичанами на положении пленника с 1815 г. *В альпийских молниях приемлемый опалой*. Возвратившись в Россию после героического перехода русских войск через Альпы, Суворов был враждебно встречен Павлом I и принужден был выйти в отставку. *Цицерон* (106—43 до н. э.) — знаменитый римский оратор. *Великий прах властителя стихов* и т. д. — прах Публия Виргилия Марона (70—19 до н. э.), знаменитого римского поэта, автора эпической поэмы «Энеида». В VI песне «Энеиды» изгнанный троянский царевич Эней спускается в подземное царство мертвых, посещает Тенар (ад) и Элизий, где блаженствуют тени умерших героев, потопившие в реке забвенья Лете все земные тревожения и скорби. *Марий Гай* (155—86 до н. э.) — римский полководец и консул, сторонник народной партии. *Силла*, т. е. Сулла Люций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский полководец и

диктатор, сторонник аристократии, непримиримый враг и соперник Марья. *Сумрачный поэт* — Байрон, проведший последние годы своей жизни на юге Европы, преимущественно в Италии.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА НЕ ПЕЧАТАВШИЕСЯ

Хор, петый в день именин дяденьки Богдана Андреевича его маленькими племянницами Панчулидзевыми (стр. 207). Впервые — ТС, стр. 50, где опубликовано С. Рачинским по неизвестному нам автографу, с датой: «23 января 1817 г.» и с примечанием: «Вот самое раннее из сохранившихся его <Баратынского> стихотворений». Датировка Рачинского вызывает сомнение. Судя по несовершенству формы и наивности содержания, стихотворение написано много раньше — в детские годы поэта. *Богдан Андреевич* — Б. А. Баратынский (1769—1820), дядя поэта. *Племянницы Панчулидзевы* — Анна, Елизавета и Екатерина — дочери тетки поэта, М. А. Панчулидзевой, рожденной Баратынской.

Моя жизнь (стр. 208). Впервые — ПСС, т. 1 стр. 266. Печ. по автографу из альбома П. Л. Яковлева (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 16 об.). Датируется по времени написания находящихся в том же альбоме автографов стихотворений 1818—1819 гг. Дельвига, Пушкина и др.

«Полуразрушенный, я сам себе не нужен...» (стр. 209). Впервые — ПСС, т. 1, стр. 267. Печ. по автографу в альбоме П. Л. Яковлева (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 16). Датируется, как и следующие три стихотворения, по местонахождению в альбоме.

«Мы будем пить вино по гроб...» (стр. 209). Впервые — ПСС т. 1, стр. 268. Печ. по автографу из альбома П. Л. Яковлева (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 37).

«Здесь погребен армейский капитан...» (стр. 209). Впервые — ПСС, т. 1, стр. 269. Печ. по автографу из альбома П. Л. Яковлева (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 38). Автограф — в виде подписи к рисунку, на котором изображен надгробный камень с офицерской треуголкой, бутылкой и бокалами.

«В пустых расчетах, в грубом сне...» (стр. 209). Впервые — ПСС, т. 1, стр. 270. Печ. по автографу из альбома П. Л. Яковлева (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 38 об.).

«Так, он ленивец, он негодник...» (стр. 209). Впервые — изд. АН, т. 1, стр. 87, где опубликовано по копии Л. Пушкина из собрания П. Е. Щеголева. По смыслу и построению эпиграмма близка к эпиграмме Пушкина «Как брань тебе не надоела...», датируемой 1820 г. и обращенной против кн. Н. А. Щертелева, критика «Благонамеренного», представителя реакционного крыла «Вольного общества любителей российской словесности». На протяжении

1818—1820-х гг. Цертелев, под псевдонимом «Житель Васильевского острова», выступал против Пушкина и поэтов его круга, сляясь представить их легкомысленными бумагомарателями и бездельниками. Датируется предположительно по указанной эпиграмме Пушкина.

«Я унтер, други! Точно так...» (стр. 210). Впервые — «Отечественные записки», 1865, август, кн. 2, стр. 285, со следующим пояснением М. И. Семевского со слов А. В. Креницына: «Однажды над Баратынским, когда он служил унтер-офицером, вздумал запальчиво величаться и глумиться какой-то знакомый. Баратынский отвечал: «Я унтер, други!..» и т. д.» По справедливому соображению И. Н. Медведевой, эпиграмма могла быть ответом на эпиграмму О. М. Сомова «Подпись к портрету Баратынского» (ПСС, т. 1, стр. 286), где сказано:

Он унтер-офицер, но от побой
Дворянской грамотой избавлен.

В альбом («Когда б вы менее прекрасной...») (стр. 210). Впервые — «Вестник Европы», 1894, № 3, стр. 438, с исправлением опечатки в стихе 2-м по автографу из альбома С. Д. Пономаревой (Театральный музей им. А. А. Бахрушина). Адресовано С. Д. Пономаревой и на этом основании предположительно датируется 1822 г.

На смерть собаки (стр. 210). Впервые — «Современник», 1854, т. 13, № 1, стр. 34. По предположению опубликовавшего стихотворение В. П. Гаевского, написано, как и стихотворение Дельвига «На смерть Мальвины», по случаю смерти собаки С. Д. Пономаревой в 1822 г.

«Младые грации сплели тебе венок...» (стр. 211). Впервые — «Известия имп. Академии наук», 1911, № 7, стр. 522. Печ. по автографу из альбома А. В. Лутковской. На автографе — подпись «Евгений Бора<тынский>. Фридрихсгам» (ИРЛИ, М 1, 73, л. 13). Как и остальные стихотворения из альбома Лутковской, датируется 1823—1824 гг.

«Когда придется как-нибудь...» (стр. 211). Впервые — «Известия имп. Академии наук», 1911, № 7, стр. 523, с опечаткой в стихе 14. Печ. по автографу из альбома А. В. Лутковской. На автографе — подпись «Е. Баратынский. Рончельсам. Февраль 15 1824 г.» (ИРЛИ, М 1, 73, л. 43).

«Войной журнальною бесчестит без причины...» (стр. 212). Впервые — «Остафьевский архив князей Вяземских», т. 3. СПб., 1899, стр. 119, в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 2 мая 1825 г. В письме сказано: «Вот что пишет о тебе Баратынский в письме к — : «Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные времена междоусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне. (Далее приводится текст эпиграммы. — Ред.) Это „impromptu”» (т. е. экспромт).

«Простите, спорю невпопад...» (стр. 212). Впервые — «Старина и новизна», кн. 5, 1902, стр. 44, в письме Баратынского к Вяземскому. Письмо написано в 1825 г., вскоре после первой встречи поэтов в Москве. В эпиграмме Баратынский подчеркивает связь своего творчества с «арзамасскими» традициями, видным представителем и ярким защитником которых был Вяземский.

«Я был любим, твердила ты...» (стр. 212). Впервые — изд. АН, т. 1, стр. 58, где опубликовано по списку в альбоме «Кузины Натали» (Мурановский архив), исправленному рукой Баратынского. Под списком две пометы: «В Москве. Dim. on joua aujourd'hui „Freischutz“»¹ и «31 ноября 1825 г. Composé par Eugène Boratinsky, mon cousin, Nathalie».² (Материалы к биографии, стр. 4).

«В своих листах душонкой ты кривишь...» (стр. 213). Впервые — изд. 1884 г., стр. 527, в письме Баратынского к Н. В. Путьате, написанном в январе 1826 г. Как это явствует из письма, эпиграмма направлена против Ф. В. Булгарина, издателя «Северной пчелы».

«Откуда взял Василий непотешный...» (стр. 213). Впервые — «Архив братьев Тургеневых», т. 1, вып. 6. СПб., 1921, стр. 56, в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 6 января 1827 г. *Василий непотешный* — Василий Львович Пушкин (1767—1830), поэт-карамзинист. Его вялые, водянистые стихи постоянно осмеивались друзьями. *Потешный Буянов* — герой комической поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811), имевшей шумный успех.

«Хотите ль знать все таинства любви?..» (стр. 214). Впервые — «Архив братьев Тургеневых», т. 1, вып. 6, СПб., 1921, стр. 56, в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 6 января 1827 г.

«Убог умом, но не убог задором...» (стр. 214). Впервые — ПСС, т. 1, стр. 303, где опубликовано И. Н. Медведевой по черновому автографу (Исторический музей, собр. В. Г. Орлова), находящемуся на одном листе с другими автографами стихотворений Баратынского. Направлено, как и эпиграмма Пушкина «Лук звенит, стрела трепещет...», против Андрея Николаевича Муравьева (1805—1874), бездарного поэта и литератора. В 1827 г. на одном из вечеров в доме княгини Э. А. Волконской Муравьев нечаянно отбил руку у статуи Аполлона и тут же написал на пьедестале стихи по этому поводу.

«Прости, мой милый! так создать...» (стр. 214). Впервые — изд. 1884 г., стр. 531, в письме Баратынского к Н. В. Путьате (1827): «Я перед тобою совершенно виноват, мой милый Путьата!

¹ Воскресенье, сегодня исполнялся «Волшебный стрелок». — *Ред.*

² Сочинено Евгением Баратынским, моим кузеном. Наталья. — *Ред.*

отвечаю на письмо твое через три века; но лучше поздно, нежели никогда. Не думай, однако ж, чтобы я имел неблагодарное сердце: мне мила и дорога твоя дружба, но что ты станешь делать с природною неаккуратностью?

Прости, мой милый! так создать...» и т. д.

С. Л. Энгельгардт («Нежданное родство с тобой даря...») (стр. 214). Впервые — «Современник», 1854, т. 47, № 10, стр. 154, где опубликовано И. С. Тургеневым. Обращено к свояченице поэта (см. о ней стр. 358). В изд. 1884 г., стр. 182, отнесено к 1830 г.

«Не растравляй моей души...» (стр. 215). Впервые — изв. АН, т. 1, стр. 142. Печ. по автографу (ИРЛИ, 21717/CL6 3, л. 3 об.) На листе водяной знак: «1832». Находится среди черновигов второй редакции «Признания», над которой Баратынский работал в том же 1832 г., готовя к печати изд. 1835 г.

Н. Е. Б... («Двойною прелестью опасна...») (стр. 215). Впервые — «Современник», 1854, т. 47, № 10, стр. 155, где опубликовано И. С. Тургеневым. В изд. 1884 г., стр. 191, отнесено к 1832 г. К кому обращено стихотворение — неизвестно.

«Вот верный список впечатлений...» (стр. 215). Впервые — ПСС, т. 1, стр. 316, где опубликовано по автографу, принадлежавшему Ю. Н. Верховскому. Было написано Баратынским в виде предисловия к 1-й части издания сочинений поэта, вышедшей в марте 1835 г.

На *** («В руках у этого педанта...») (стр. 216). Впервые — «Современник», 1854, т. 47, № 10, стр. 160, где опубликовано И. С. Тургеневым. Написано по поводу привлечения в конце 1839 г. А. А. Краевским Белинского к сотрудничеству в «Отечественных записках». О том, как расценивался этот факт в кругу московских литераторов, свидетельствует письмо Н. Ф. Павлова к В. Ф. Одоевскому от 20 января 1840 г.: «Вы выписали Белинского. Ведь он известен. Этот мортус отправил похороны «Телескопа» и «Наблюдателя»... Белинские статьи отняли у вас много подписчиков, а если это продолжится, то на будущий год вы увидите справедливость моих нападений» («Русская старина», 1904, № 4, стр. 198—201). Из этих слов можно заключить, что под двумя «похороненными» журналами в эпиграмме подразумеваются «Телескоп» и «Московский наблюдатель» 1838—1839 гг., а под «третьим» журналом и «журнальным негоциантом» — «Отечественные записки» и их издатель Краевский. Надо думать, что Баратынский воздержался от опубликования эпиграммы, не желая нападать на Белинского в связи с его выступлениями против Шевырева, в котором поэт в это время видел одного из самых злостных своих врагов (см. примечание к стихотворению «Коттерие», стр. 370).

«Небо Италии, небо Торквата...» (стр. 217). Впервые — «Современник», 1854, т. 47, № 10, стр. 154, где опубликовано И. С. Тургеневым. «Италия, — писал Н. В. Путья в «Материалах

для биографии Баратынского», — более прочих стран привлекала поэта. . . Исторические воспоминания, роскошная природа и памятники искусств этой страны всегда манили его к себе. Однажды, еще в Москве, он воскликнул экспромтом:

Небо Италии, небо Торквата. . .» и т. д.

(изд. 1884 г., стр. 484). Выражение «еще в Москве» позволяет предположить, что стихотворение было написано незадолго до отъезда Баратынского за границу в сентябре 1843 г. Однако в посмертных изд. 1869 и 1884 гг. оно отнесено к 1831 г.

П О Э М Ы

П и р ы (стр. 221). Впервые — «Соревнователь», 1821, ч. 13, № 3, стр. 385. В другой редакции издано вместе с поэмой «Эда» отдельной книжкой: «Эда, финляндская повесть и Пиры, описательная поэма Евгения Баратынского». СПб., 1826 (ценз. разр. 26 ноября 1825 г.). В этом издании тексту «Пиров» предпослан эпиграф: «Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Серванта. Стерн», и предисловие: «Сия небольшая поэма писана в Финляндии. Это своенравная шутка, которая, подобно музыкальным фантазиям, не подлежит строгому критическому разбору. Сочинитель писал ее в веселом расположении духа: мы надеемся, что не будут судить его сердито». Этим предисловием несколько смягчалась резкость эпиграфа, заставлявшего читателя воспринимать «Пиры» в соотнесении с личной судьбой ее автора — «финляндского изгнанника». Однако, несмотря на это предисловие, выдававшее поэму за невинную литературную шутку, она с большими трудностями прошла через цензуру. Страница 51-я была по требованию цензуры вырезана из отпечатанного издания и заменена вклейкой, где вместо стихов 118—119:

Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена

напечатано:

Она отрадою кипит,
Как дикий конь, не терпит плена. . .

По этому поводу В. А. Жуковский писал П. А. Вяземскому: «Что говорить мне о новых надеждах, когда цензура глупее старого, когда Баратынскому не позволяют сравнивать шемпанского с пылким умом, не терпящим плена?» («Остафьевский архив князей Вяземских», т. 5, вып. 2. СПб., 1913, стр. 160). Печ. по изд. 1835 г., ч. 2, стр. 35, где имеет ряд новых разночтений, а искаженные цензурой в 1826 г. стихи читаются:

Как страсть, как мысль, она кипит;
В игре своей не терпит плена.

«Пирь» написаны в 1820 г. и 13 декабря того же года рассматривались и были «избраны» на заседании «Вольного общества любителей российской словесности» (Базанов, стр. 347). Тема «Пиров» восходит к эпикурейским мотивам и дидактическим жанрам так называемой «легкой» французской поэзии конца XVIII — начала XIX вв. Однако от французских образов и русских подражаний им «описательную» поэму Баратынского отличает, с одной стороны, ироническое, с другой — элегическое осмысление эпикурейской темы. Тем самым жанр описательной поэмы сочетается в «Пирах» с жанровыми элементами дружеского послания и унылой элегии. Эклектичность самого жанра «Пиров» вызвала со стороны современников ряд критических замечаний. Но в целом поэма была встречена сочувственно и утвердила за Баратынским славу «певца пиров и грусти томной». (Пушкин, III гл. «Евгения Онегина»). *Ком* — бог веселья и пиршеств (греч. и римск. миф.). *В улу безвестном Петрограда* и т. д. Речь идет о дружеских пирушках молодых поэтов, часто собиравшихся в 1819—1820 гг. у П. А. Яковлева и др. Авторское истолкование элегической концовки «Пиров» и их биографического подтекста дано Баратынским в послании 1821 г. «Булгарину», очевидно явившемся ответом на не дошедшее до нас критическое высказывание последнего о поэме.

Э да (стр. 227). Отдельные отрывки из поэмы печатались: «Мнемозина», ч. 4, М., 1825, стр. 215; «Полярная звезда» на 1825 г., СПб., стр. 573; «Московский телеграф», 1825, № 22, стр. 157. Отрывок, напечатанный в «Мнемозине», был вместе с эпилогом к поэме послан Баратынским Кюхельбекеру в феврале 1825 г. с Н. В. Путьтой. Цензура, однако, не пропустила эпилог (см. «Русский архив», 1905, № 3, стр. 524, — письмо Н. В. Путьты к А. Муханову от 9 марта 1825 г.), и Путьта переслал его Бестужеву и Рылеву для «Полярной звезды». Однако и здесь отрывки из «Эды» появились без эпилога, предназначавшегося издателями «Полярной звезды» для альманаха «Звездочка», издание которого было сорвано в связи с декабрьскими событиями. Впервые эпилог был напечатан в Сочинениях Д. Давыдова, т. 3, 1860, стр. 196, среди других стихотворений, посвященных Давыдову. Впервые в полном виде, но без эпилога — отдельной книжкой «Эда, финляндская повесть и Пирь, описательная поэма Евгения Баратынского». СПб., 1826 (ценз. разр. 26 ноября 1825 г.). Здесь поэме предпослан эпиграф: «On brouette là ou l'on est attaché. Proverbe»¹ и следующее предисловие: «Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии.

Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытную природою, совершенно отличною от русской. Обильная историческими воспоминаниями, страна сия была воспета Батюшковым, и камни ее звучали под коном Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины.

Жители отличаются простотою нравов, соединенною с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев.

¹ Где привязан, там и пасется. Поговорка (франц.). — Ред.

Сочинитель чувствует недостаток своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская и нравы жителей ее глубоко впечатлелись в его воображении. Что ж касается до остального, то сочинитель мог ошибиться, но ему казалось, что в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзией, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственною дорогою.

Печ. по изд. 1835 г., ч. 2, стр. 3, где дана в другой редакции; эпилог — по материалам альм. «Звездочка», опубликованным в «Русской старине», 1883, № 7, стр. 64. Поэма, включая эпилог, была написана в 1824 г. и стала известна в литературных кругах до своего опубликования в полном виде. Отзывы современников об «Эде» были разноречивы. Литераторы-декабристы осудили поэму за «ничтожество» ее «предмета», не отвечавшего высоким гражданственным задачам романтической поэзии (подробнее об этом см. во вступит. статье). С резкой критикой «Эды» выступил в печати Ф. В. Булгарин, находя «предмет поэмы вовсе не поэтическим», а рассказ... прозаическим и вялым («Северная пчела», 1826, № 20, 16 февраля). В противоположность Булгарину, Н. А. Полевой положительно отзывался о поэме, признав ее «обыкновенный предмет» вполне «достойным поэзии» («Московский телеграф», 1826, ч. 8, № 5, стр. 71). Наиболее высокую оценку поэмы дал Пушкин. Он откликнулся на нее специальным стихотворным обращением к Баратынскому, непосредственно заостренным против его «зоила» Булгарина:

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил — прямой чухонец.

Одновременно с этим, 20 февраля 1826 г., Пушкин пишет Дельвигу: «Что за прелесть эта «Эда»! Оригинальность рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описание лифляндской природы! А утро после первой ночи! А сцена с отцом! — чудо!» (Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, 1937, стр. 262). В набросках статьи о «Бале» Баратынского Пушкин назвал «Эду» произведением, не оцененным критикой и замечательным «оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок — и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных...» (там же, стр. 74). *Буйный швед Опять не соблюдает договоров* и т. д. Нежелание Швеции присоединиться к союзу России и Франции против Англии расценивалось как нарушение до-

говоров, заключённых между Россией и Швецией в 1780 и 1800 гг. об охране Балтийского моря, и послужило поводом для войны России с Швецией. Война началась в 1808 г. и закончилась в 1809 г. отторжением Финляндии от Швеции и присоединением ее к России. Непосредственно этому событию посвящен эпилог поэмы Баратынского. Тебе, Давыдов, петь ее и т. д. Д. В. Давыдов (см. о нем примечание к стихотворению «Давыдову», стр. 352) был участником русско-шведской войны.

Телема и Макар (стр. 244). Перевод сказки Вольтера «Thélème et Masage». Впервые — «Северные цветы» на 1827 г., СПб., стр. 297, с подзаголовком «С французского». С разночтениями — «Славянин», 1827, № 8, стр. 123. Здесь, в примечании к заглавию, сказано: «Телема — значит Желание, Макар — Счастье. Оба сии слова греческие». Тот же текст — изд. 1827 г., стр. 129, между разделами «Смесь» и «Послания», с подзаголовком в оглавлении: «Сказка (Подражание Вольтеру)». Печ. по изд. 1835 г., ч. 2, стр. 79, с исправлением цензурных искажений в стихах 29, 56, 57 и 83—86 по автографу в альбоме «Souvenir» (ИРЛИ, 21731/CL6. 9, лл. 10 об. — 14). В переводе опущена нравоучительная концовка сказки Вольтера. Кроме того, освобожденный от цензурных искажений текст отличается как от французского оригинала, так и от всех прижизненных печатных редакций некоторым приближением действия сказки к русским условиям. Так, вместо стиха

Приходит в Царское она...

в печатных текстах читается, в соответствии с французским текстом,

Приходит ко двору она...

Вместо «Лавры» в стихе 50 и «Совета» в стихе 84 в печатных редакциях стоит «обитель» и «магистрат». В стихе 56 вытравлен сатирический смысл, присущий ему в автографе («посты, раздор и скуку нам...»):

Приют от бурь житейских нам
В замену стены наши дали.

В стихе 58 вместо «неласковый чернец» стоит «задумчивый», и т. д. Цензурный характер всех этих изменений несомненен.

Бал (стр. 248). Отрывки из поэмы печатались — «Московский телеграф», 1827, ч. 18, № 1, стр. 3; «Северные цветы» на 1828 г., СПб., стр. 84; альм. «Звездочка» на 1826 г. (не вышел. — См. «Русская старина», 1883 г., № 7, стр. 84). Впервые — в полном виде — отдельной книжкой вместе с «Графом Нулиным» Пушкина «Две повести в стихах», СПб., 1828. (ценз. разр. 31 октября 1828 г.). Печ. по изд. 1835 г., ч. 2, стр. 45, где имеет разночтения. К работе над поэмой Баратынский приступил в начале 1825 г. и, согласно свидетельству Вяземского, окончил ее в первой половине октября 1828 г.

(см. «Остафьевский архив», СПб., 1899, т. 3, стр. 172, письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 15 октября 1828 г.). Прототипом образа главной героини поэмы, княгини Нины, послужила А. Ф. Закревская, «Клеопатра Невы», как назвал ее Пушкин в «Евгении Онегине», известная пылкостью своего характера и пренебрежением к условным правилам светской морали и показному приличию. Баратынский познакомился с Закревской осенью 1824 г. в Гельсингфорсе и пережил сильное увлечение ею. Оно отражено в стихотворениях «Как много ты в немного дней...» и «Надпись». Послав в феврале 1825 г. начало поэмы Н. В. Путяте, Баратынский 29 марта писал ему: «В самой поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления. Она моя героиня» (изд. 1951 г., стр. 480). Закревская явилась «героиней» не только «Бала», но и целого ряда других литературных произведений 20-х и начала 30-х годов, в том числе и прозаических набросков Пушкина «Гости съезжались на дачу» и «На углу маленькой площади» (образ Зинаиды Вольской); характеристика Закревской дана Пушкиным также в стихотворении 1828 г. «Портрет»:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленных светил.

В письмах 1825—1826 гг. к Н. В. Путяте Баратынский постоянно, с сочувствием и сожалением, упоминает Закревскую, характеризуя ее как прекрасную и несчастную женщину, испеленную бурными страстями и переживаниями. Разрушительное действие неукротимой страсти — такова основная тема и поэмы «Бал», воплощенная в образе княгини Нины. Страстность характера и трагизм судьбы Нины обрисованы в поэме на фоне сатирического изображения московского света и противостоят его пошлости и тупости. Это противопоставление было воспринято и истолковано критикой в духе традиционной романтической коллизии героя и среды, «противоречия светской жизни с природою» (Н. Полевой. — «Московский телеграф», 1828, № 24, стр. 475). Однако, по сути дела, подобной коллизии в «Бале» нет. В основе действия поэмы лежит сугубо психологический конфликт между Ниной и Арсением, являющимися носителями бурных романтических страстей, чуждых рядовым представителям московского света. Основное место в поэме занимает изображение трагического развития и действия любовной страсти, охватившей Нину и погубившей ее. Этим обусловлена и необычная композиция поэмы. Открывающие и заключающие повествование описания рокового для Нины бала являются только сюжетным обрамлением центральной и преимущественно психологической ее части. В целом поэма, единодушно одобренная «романтиками» и сурово раскритикованная их противниками, сохраняя все внешние признаки романтической поэмы, не укладывалась по существу в ее жанровые рамки. Образом Нины Баратынский уже преодолел условность романтического героя, вслед за Пушкиным

(«Евгений Онегин») намечал пути к его сближению с действительностью. То же значение имели точность и конкретность ряда бытовых зарисовок и обильно вкрапленная в авторскую речь и речь героев разговорная лексика и интонация, чуждые романтической приподнятости. Все это понял и оценил Пушкин. В наброске статьи о «Бале» Пушкин писал: «Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красок и прелести необыкновенной. Поэт с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шуточный и страстный, метафизику и поэзию... Нина исключительно занимает <нас>. Характер ее (совершенно) новый, развит соп апоге,¹ широко и с удивительным искусством, для него поэт наш создал совершенно сво<еобразный> язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики — для нее расточил он всю эгегическую негу, всю прелесть своей поэзии» (Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 11. 1949, стр. 75). *Медея* — колхидская царица, волшебница. Охваченная иступленной ревностью, отомстила изменившему мужу (Язону) убийством своих детей (греч. миф.). *Нинона* — Нинон де Ланкло (1616—1706) знаменитая в свое время французская куртизанка.

Переселение душ (стр. 265). Впервые — «Северные цветы» на 1829 г., СПб., стр. 13. Печ. по изд. 1835 г., ч. 2, стр. 85. Написано в духе шуточных дидактических сказок Вольтера, из которых Баратынский перевел «Телему и Макара». *Мемфис* — столица древнего Египта. *Озирис* (Озирис) — бог солнца (египетск. миф.). *Изида* — жена Озириса, богиня неба, земли и ада (египетск. миф.). *Адонис* — прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты (Венеры), олицетворение мужской красоты (греч. и римск. миф.). *Что я прибавлю, друг мой нежный* и т. д. Обращено к жене поэта Н. Л. Баратынской, урожденной Энгельгардт. Надо думать, что сказка была написана Баратынским в конце 1828 — начале 1829 г. после окончания поэмы «Бал» (октябрь 1828 г.), тесно связанной с «мятежным» прошлым поэта. Намекая на освобождение, которое принесла ему женитьба (1826), от этого тяжелого прошлого, Баратынский и назвал свою шутивную поэму «первым плодом новой жизни».

Цыганка (стр. 275). Отрывки из поэмы печатались — альм. «Денница» на 1830 г., М., стр. 136; альм. «Альциона» на 1831 г. СПб., стр. 85; «Северные цветы» на 1831 г., СПб., стр. 4 и 40. Впервые в полном виде — отдельной книжкой — «Наложница. Сочинение Евгения Баратынского». М., 1831 (ценз. разр. 26 марта 1831 г.), с посвящением Алексею Андреевичу Елагину² и пространном предисловием (см. его в «Приложениях», стр. 318). Без предисловия, с разнотечениями и под заглавием «Цыганка» — изд. 1835 г., ч. 2, стр. 103. Печ. по копии Н. Л. Баратынской с окончательной редакцией поэмы, переработанной поэтом в 1842 г. и при жизни поэта в печати не появившейся. От первоначальной редакции принятая нами отличается более кратким изложением некоторых отдельных эпизодов и тем, что из нее изъята следующая (IV в предыдущих изданиях) глава:

¹ Любовно (итал.). — Ред.

² Отчим И. В. Киреевского.

Глава IV

Когда из блеска жизни светской,
В котором с Верою своей
На миг так близок был Елецкой,
Отшельник, снова чуждый ей,
В своих стенах он очутился, —
Казалось грустному ему,
Что вновь, как узник, погрузился
Он в ненавистную тюрьму,
Из коей на одно мгновенье
Его исторгло сновиденье;
И Веры милый идеал
С тех пор его воображенье
Еще сильнее волновал.
Часы летучие мелькали,
И в томном сердце заставляли
Всё ту же думу, тот же лик.
«Чего надеяться могу я? —
Порою мыслил он, тоскуя, —
Нет! Заглушу сердечный крик!» —
Напрасно: о единой Vere
Мечта в душе его жила,
Одна внимаема была.
Когда бы мог, по крайней мере,
Свободно видеться он с ней,
Как всякий светский дуралей!

И, предан грустному томленью,
Досадою тайною яввим,
Он ищет способов к сближенью,
Но недоволен ни одним.
Мысль наконец ему блеснула,
Душа в нем весело вздрогнула:
«Прекрасно! — шепчет. — Я решон!
В театр они, сомненья нету,
Хоть раз поедут в зиму эту...
Гей, Черномор!» Явился он.
«Послушай-ка, — сказал Елецкой, —
Подъезд у нас точь-в-точь соседский,
Вход не походит ли?» — А что ж?
Ведь и поистине похож!
Да что вам в этом? — «Пригодится:
Незнание — тьма, а знание — свет.
Предупреди, когда случится
Им для театра взять билет».

Не слишком долго ждал Елецкой, —
Один предмет беседы светской,
Сердец чувствительных кумир,
Любимец лож, райка, партера,
Жоко влечет к себе весь мир.
В театр сегодня едет Вера.

Захлопотал Елецкой наш;
Кровь заиграла в нем живее,
Совет людей: «Найти скорее
Точь-в-точь соседский экипаж.
Теперь смотрите: слушать слово!
С ним у театра ближе стать,
К подъезду прежде всех подать,
Крича: «Карета Волховского!»
Вмиг посадить господ потом
И привезти ко мне их в дом».

Давно громада городская
Покрылась ночи темнотою;
Давно, прохожих окликаая,
Раздался буточников вой;
У моего повесы в доме,
Чтоб обмануть ему верней
Глаза ожидающих гостей,
Давно нигде нет света, кроме
Того покоя, в коем он
Один развязки приключенья
Ждет, полный странного волненья.
Невнятным стуком поражен
Кареты дальней, вспыхнет духом,
Векочив, к окну приникнет ухом:
Они!.. Неправда! Стихнул гул,
Иль в переулочек повернул.
Вот наконец пред самым домом
Карета покатила с громом.
Затрясся, зазвенел весь дом, —
И тишина тотчас потом.
«Да осветите, бога ради!» —
Раздался в зале голос дяди;
И наш услужливый герой
К нему выходит со свечой.
Гостям с притворным удивленьем
В глаза он пристально глядит:
«Чему обязан, — говорит, —
Я вашим лестным посещеньем?»
И осмотрелся дядя:

«Ба!
Какая странная судьба!
В чужом мы доме! Извините.
Обеспокоили мы вас,
Домой уедем сей же час!
Вы, негодяи! поглядите,
Куда заехал с вами я!..
Вот славно! Странности какие:
И люди у меня чужие!
Карета, верно, не моя?»

Елецкой мнения того же:
Ужель? — Да, так! на то похоже!

Теперь и чуда в этом нет:
В его карету сел сосед.
Своим жильцам, мужчине с дамой,
Он дал ее в тот вечер самый.
(Уж эта баснь у шалуна
Была давно сочинена.)
Он разговор не опускает;
Свой экипаж он предлагает
Доехать до дому; пока
Садиться просит старика;
Осведомляется учтиво,
С кем так случайно и счастливо
Он познакомлен? — Боже мой!
Иван Петрович Волховской!
Елецкой давнего почтенья
Исполнен к гостю своему,
И безо всякого сомненья
На днях представится ему.

Пока беседу вел такую
Со старым дядей наш герой,
Он на племянницу младую
Украдкой взглядывал порой.
Бесценный взор он думал встретить,
Узнанье думал в нем заметить,
Напрасная надежда! Он
Не на него был обращен.
Дверь в глубине туманной зала
Вниманье Веры привлекала.
Под ярко пурпурным платком
Оттуда, смуглая лицом,
Сверкая черными глазами,
Блестая белыми зубами,
Глядела Сара. Взоры их
Какая сила сопрягала?
В соображениях каких
Мысль у обеих утопала?

Елецкой, проводив гостей,
Был вне себя от восхищенья,
Ему не будет затрудненья
В свиданьях с Верою своей!
Зачем же способ этот странный
К знакомству с ней был избран им?
Иль он не мог путем другим
Достигнуть цели, им желанной?
Зачем со светом не искал
Он понемногу примиренья?
Он срок желанного сближенья
Надолго этим отлагал;
К тому ж, однажды свет оставив,
Свою вражду к нему ославив,
Он изменить себе краснел

И вновь искать в нем не хотел.
Но, может быть, причиной главной
Был дух, природно своенравный,
Противший завсегда идти
Ему по битому пути;
Сей дух, который отступленья
Незрелых лет его рождал,
Мог даже в годы размышленья
Им обладать — и обладал.

Поэма была начата Баратынским осенью 1829 г. в Маре. Посылая 29 ноября ее начало И. В. Киреевскому, Баратынский писал: «По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пьесах, и поэма ультраромантическая. Пишу ее очертя голову» (ТС, стр. 8). Баратынский не случайно назвал «Наложницу» «ультраромантической» поэмой. Она явилась своего рода ответом поэта на выступления Надеждина против романтизма вообще, в том числе и против изданных в 1828 г. отдельной книжкой «Бала» Баратынского и «Графа Нулина» Пушкина. В противоположность Надеждину, осуждавшему «иррегулярные», «чудовищные, отвратительные, грязные» «предметы изображения» романтических поэм («О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии» — «Вестник Европы», 1830, № 1, стр. 22—24), Баратынский утверждал своей поэмой, ее «грязной», с точки зрения Надеждина, фабулой и вызывающим заглавием право на художественное изображение темных, «низких» сторон действительности. В основном именно этому вопросу было посвящено предисловие к поэме, в котором Баратынский явно полемизировал с Надеждиным, не называя, однако, его имени. Основная мысль предисловия сжато сформулирована в письме Баратынского к И. В. Киреевскому: «Нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом. . . должно искать ее только в истине, или прекрасном, которое не что иное как высочайшая истина» (ТС, стр. 27). Отвечая реалистическим тенденциям развития русской литературы, эта точка зрения далеко не всегда реализовалась в романтических поэмах того времени, несвободных от элементов натурализма, против которого и протестовал Надеждин. Следуя в своей поэме натуралистическим тенденциям позднего русского романтизма и защищая их от нападок Надеждина, Баратынский предлагал видеть в литературе «науку, подобную другим наукам, искать в ней сведений, а ничего другого» (Предисловие). Поэма не имела у современников никакого успеха. Наиболее резкий отзыв о ней принадлежал Надеждину, справедливо заметившему, что в «мыслях» ее автора «понятие изящной литературы не отличается от понятия литературы в общем значении». Настаивая на антиэстетическом характере «изображения порока в его истинном отвратительном виде», Надеждин назвал «Наложницу» «ничтожным» произведением, «составленным кое-как из произвольного сцепления случаев» («Телескоп», 1831, № 10, стр. 231—236). Баратынский ответил Надеждину «Антикритикой», появившейся в № 2 «Европейца» за 1832 г. и оставленной Надеждиным без ответа. Отрицательную оценку поэме дали также Н. А. Полевой в «Московском телеграфе» (1831, № 6, стр. 235), князь П. И. Шаликов в «Дамском журнале» (1831, № 20,

стр. 111). «Литературная газета» (1831, № 27, 11 мая) откликнулась на поэму доброжелательным, но кратким отзывом, продиктованным дружескими связями ее издателей с Баратынским. Аналогичный характер носил и отзыв И. В. Киреевского, положительно оценившего поэму в «Обзрении русской литературы за 1831 год» («Европеец», 1832, № 2, стр. 259—269). Однако и Киреевский отметил, что в том «роде поэм», к которому принадлежит «Наложница», «как и в картинах Миериса, есть что-то бесполезно стесняющее, что-то условно ненужное, что-то мелкое, не позволяющее художнику развить вполне поэтическую мысль свою» (стр. 269). Белинский, обойдя поэму молчанием в отзыве об издании стихотворений Баратынского 1835 г., посетил ей несколько строк в статье о Баратынском 1842 г. Указав, что поэма была издана еще в 1831 г. «с предисловием, весьма умно и дельно написанным», Белинский писал: «„Цыганка“ исполнена удивительных красот поэзии, но опять-таки в частности: в целом же не выдержана». Однако вслед за этим Белинский отметил, что «Цыганка», «кроме хороших стихов и прекрасного рассказа, отличается еще и выдержанностью характеров» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6. М., 1955, стр. 485). Возможно, что этот относительно положительный отзыв Белинского и побудил Баратынского кардинально переработать поэму в 1842 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Стихотворения, написанные совместно с другими поэтами

«Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком...» (стр. 311). Впервые — «Исторический вестник», 1883, № 2, стр. 468, где ошибочно приписано Пушкину. Написано Баратынским и Дельвигом (см. К. А. Полевой, «Записки», в кн.: Н. Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики. Л., 1934, стр. 234) в 1819 г. в Петербурге, когда поэты жили на одной квартире в 5-й роте Семеновского полка (ныне Рувовская улица).

Певцы 15-го класса (стр. 311). Впервые — ПСС, т. 1, стр. 325. Печ. по списку, хранящемуся в ИРЛИ (№ 126 107, Як. 545). Написано совместно с Дельвигом в 1822 г., в ответ на выпады А. И. Измайлова, О. М. Сомова, В. И. Панаева в «Благонамеренном» против поэтов пушкинского круга. Авторство Баратынского и Дельвига устанавливается направленными против них и написанными на списке тою же рукой «Куплетами, прибавленными посторонними».

Барон я, баловень Парнаса,
В лицее не учился, спал,
И с Кюхельбекером попал
В певцы 15-го класса.

Я унтер, но я сын Пегаса;
В стихах моих: бывшее, даль,

Вино, иконы... очень жаль,
Что я 15-го класса.

Остер, как унтерский тесак;
Хоть мыслями я не обилен,
Но в эпитѣтах звучен, силен —
И Дельвиг сам не пишет так.

В том же списке находится и эпиграмма на Баратынского Ореста Сомова «Он щедро награжден судьбой...» (см. о ней примечание к стихотворению «Я унтер, други! Точно так...», стр. 378), озаглавленная «Надпись к портрету сочинителя куплетов». *Певцы 15-го класса* — т. е. не имеющие права именоваться поэтами. В табели о рангах самым низшим был 14-й класс. *Куплет 1.* В пьесе А. А. Шаховского «Новости из Парижа, или Торжество муз» (поставлена 10 июля 1823 г.) Водевиль, Журнал и Мелодрама, пытающиеся состязаться с музами, с позором изгоняются с Парнаса. *Куплеты 3—4.* Речь идет об издателе «Благонамеренного» А. Е. Измайлове (1779—1831), умевшем извлекать выгоду из расположения к себе гр. Д. И. Хвостова. В квартире Измайлова на Песках собирались участники «Благонамеренного», члены «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», председателем которого Измайлов стал по протекции Хвостова. *Куплет 5.* Подразумевается Н. Н. Остолопов (1782—1833) и его переводы из Тассо — «Тассовы мечтания», переизданные в 1819 г. *Куплет 6.* Имеется в виду В. И. Панаев (1792—1859), «Идиллии» которого вышли отдельной книгой в 1820 г. *Куплет 7.* Подозаумевается О. М. Сомов (1793—1833) и его корреспонденции из Парижа, печатавшиеся в «Благонамеренном». *Куплет 8* направлен против М. Е. Лобанова (1787—1846), в числе других сочинений Расина переведшего «Федру». *Куплет 9.* Имеется в виду Д. М. Княжевич (1788—1844), литератор и поэт круга «Благонамеренного». *Куплет 10.* Речь идет о бездарном поэте — Д. И. Хвостове (1757—1835), издававшем свои произведения на собственные деньги. *Куплет 11* направлен против А. М. Бирукова (1772—1844), личного приятеля Измайлова, с 1821 г. цензора Петербургского цензурного комитета.

Быль (стр. 313). Впервые — «Литературные прибавления к „Русскому Инвалиду“», 1831, № 6, 21 января, стр. 46, с подписью «Сталинский». Долгое время приписывалось Пушкину. В рукописном сборнике М. Н. Лонгинова, ныне утраченном, под списком стихотворения имеется пометка С. А. Соболевского: «Эти стихи написаны Е. А. Баратынским и мною в 1825 г., до приезда Пушкина из деревни» (изд. АН, т. 1, стр. 325). Под видом индейского петуха в стихотворении высмеивается М. М. Сонцев (1779—1884), муж тетки А. С. Пушкина Елизаветы Львовны. При дворе взял чин лакейский. В 1825 г. Сонцев получил пойдворный чин камергера. *Цаплей пара* — дочери Сонцевых Ольга и Екатерина.

«Князь Шаликов, газетчик наш печальный...» (стр. 313). Впервые — «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание сочинений его», Берлин, 1861, стр. 109. Соавторство Баратынского устанавливается записью от 15 мая 1827 г.

в «Журнале» И. М. Снегирева об обеде у М. П. Погодина: «За столом Пушкин с Баратынским написали на Шаликова следующее, по случаю рассказанного анекдота:

Князь Шаликов, газетчик наш печальный...» и т. д.
Печ. по «Журналу» Снегирева («Пушкин и его современники». Вып. 16, П., 1913, стр. 50).

Куплеты на день рождения княгини Зинаиды Волконской в понедельник 3-го декабря 1828 года, сочиненные в Москве кн. П. А. Вяземским, Е. А. Баратынским, С. П. Шевыревым, Н. Ф. Павловым и И. В. Киреевским (стр. 314). Впервые — «Собрание сочинений Э. А. Волконской», Париж и Карлсруэ, 1865, стр. 155 (о Волконской см. примечание к стихотворению «Княгине Э. А. Волконской», стр. 360).

Стихотворения, приписываемые Баратынскому

«С неба чистая...» (стр. 317). Впервые — Сочинения, М., 1869, стр. 394, в статье сына поэта, Л. Е. Баратынского, «Материалы для биографии Баратынского», со следующим замечанием: «В Петербурге Евгений Абрамович познакомился с некоторыми из декабристов... Баратынский, в молодых годах, не разделяя их цели, со всем увлечением своих лет сочувствовал тому, что заключается великодушного в обширном, неопределенном и гибком значении слова «свобода». Вот несколько стихов, дошедших до нас по воспоминанию, на эту тему, внушенных ему на одном из ужинов этой молодежи».

«Грузинский князь, газетчик русский...» (стр. 317). Впервые — «Русская старина», 1871, № 10, стр. 420, 440 (sic!), в иной редакции, в качестве эпиграммы, приписываемой Д. Давыдову. Печ. по «Литературному наследству», № 58, 1952, стр. 61, где опубликовано С. А. Рейсером по тексту, внесенному рукой Баратынского в письмо П. А. Вяземского к В. А. Жуковскому и А. Т. Тургеневу от 25 февраля — 12 марта 1827 г. В письме имеются также две приписки Баратынского, обращенные к Жуковскому (стр. 62), но об эпиграмме в них ничего не говорится, Вяземский же пишет о ней следующее: «Баратынский прервал мое письмо. Вот история эпиграммы его: князь Шаликов назвал где-то и как-то Дениса Давыдова трусом, а Денис воюет теперь с персианами» (стр. 62). Выражение «эпиграммы его» может быть понято двояко: как свидетельство об авторстве Баратынского и как упоминание стихотворения, написанного выше его рукой, им сообщаемого. Последнее тем более вероятно, что Баоатынский, будучи родственником Д. Давыдова, мог раньше других ознакомиться с его эпиграммой, сообщить ее Вяземскому, а попутно и Жуковскому, застав Вяземского за письмом к нему. Исходя из этих соображений, считаем авторство Баратынского хотя и возможным, но окончательно не доказанным, и потому относим эпиграмму к числу стихотворений, предположительно приписываемых поэту. *Грузинский князь* — П. И. Шаликов по национальности был грузин. *Героя трусом называл*. В № 17 издававшегося Шаликовым «Дамского журнала» за 1827 г. помещена следующая эпиграмма на Д. Давыдова:

Герой

Когда кипит с врагами бой
И росс вновь лавры пожинает,
Усатый грозный наш герой
В Москве на дрожках разъезжает.

На глас войны летит он к Куру. В 1827 г. Д. Давыдов принимал участие в русско-персидской войне (1826—1828), действия которой протекали на Кавказе, в районе реки Куры. *Держит корректуру реляционного листка.* Шаликов редактировал «Московские ведомости», где печатались сообщения (реляции) о военных действиях на Кавказе.

«Принес ты мирные трофеи...» (стр. 317). Впервые — Сочинения, М., 1869, стр. 397, в статье Л. Е. Баратынского «Материалы для биографии Баратынского», со следующим пояснением: «Вот четверостишие из стихотворения, набросанного им у себя на вечере, в Москве, по случаю посещения его живописцем Брюлловым». Предположительно датируется 1836 г., когда Брюллов, вернувшись в Россию из Италии, был восторженно встречен в Петербурге и Москве как автор прогремевшей картины «Последний день Помпеи». Однако сам Баратынский увидел эту картину в 1840 г. (см. его письмо к жене — изд. 1884 г., стр. 512).

Предисловие к поэме „Наложница“ („Цыганка“).

Впервые — «Наложница», М., 1831, стр. 1 (см. примечание к «Цыганке», стр. 386). *Панар Шарль-Франсуа (1674—1765)* — французский поэт. *Федра* — героиня одноименной трагедии Ж. Расина (1639—1765), падающая жертвой своей иступленной страсти к пасынку Ипполиту. *Квинт Курций (I в. н. э.)* — римский историк, оставивший жизнеописание Александра Македонского. *Хроники развращения* — романы Эжена Сю и других представителей «неистовой» французской словесности конца 20-х годов. *Киприду иногда являл без покрывала* — цитата из 1-го «Послания цензору» Пушкина (1822), тогда неизвестного в печати и опубликованного только в 1837 г. *Анакреон (VI—V вв. до н. э.)* — знаменитый греческий лирик, воспевавший в легких и изящных стихах любовь и пиршества. *Автор стихотворения «Счет поцелуев», в то же время творец «Ермака»* — поэт И. И. Дмитриев (1760—1837). *Высокие песни Давида* — религиозные древнееврейские песнопения (псалмы), приписываемые, по библейскому преданию, израильскому царю Давиду. *«Душенька»* — легкая, шутивная сказочная поэма И. Ф. Богдановича (1743—1803). *Проперций (род. ок. 50 г. до н. э.)* — римский поэт, автор многочисленных любовных элегий. *Виргилий* — см. примечание к стихотворению «Дядьке-итальянцу». *Шолье Гильом (1639—1720)* — французский поэт, представитель «легкой» эпикурейской поэзии.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Фронтиспис. Е. А. Баратынский. Литография Шевалье (начало 1820-х годов). (ИРЛИ).

Между стр. 112 и 113. Титульный лист сборника «Стихотворения Евгения Баратынского». М., 1827.

Между стр. 112 и 113. Автограф стихотворения «Звезда» с рисунком Баратынского. Из альбома «Souvenir». (ИРЛИ).

Между стр. 128 и 129. Е. А. Баратынский. Литография неизвестного художника. 1828. (ИРЛИ).

Между стр. 176 и 177. Титульный лист сборника Баратынского «Сумерки». М., 1842.

Между стр. 192 и 193. Черновой автограф стихотворения Баратынского «На посев леса». (ИРЛИ).

Между стр. 240 и 241. Титульный лист отдельного издания поэм Баратынского «Эда» и «Пиры». М., 1826.

Между стр. 256 и 257. Е. А. Баратынский. Литография А. И. Лебедева с портрета работы неизвестного художника. 1869. (ИРЛИ).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- А. А. В** — ой («Очарованье красоты...») 124
 А. А. Фуксовой («Вы ль дочь Евы, как другая...») 157
 Авроре Ш. («Видь, дохни нам упоенем...») 119
 Алине («Тебя я некогда любил...») 44
 Алкивиад («Облокотясь, перед медью, образ его отражавшей...») 179
 «Альбом походит на кладбище...» (В альбом) 141
 Ахилл («Влага Стикса закалила...») 184

- Бал** («Глухая полночь. Строем длинным...») 248
 Бдение («Один, и пасмурный душою...») 77
 «Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой...» (Дядьке-итальянцу) 201
 «Бежит неверное здоровье...» (Элизийские поля) 65
 Безнадежность («Желанье счастья в меня вдохнули боги...») 93
 Бесенок («Слышал я, добрые друзья...») 138
 «Благословен святое возвестивший!...» 193
 Богдановичу («В садах Элизия, у вод счастливой Леты...») 109
 Бокал («Полный влаги искрометной...») 181
 Больной («Други! радость изменила...») 72
 «Болящий дух врачует песнопенье...» 165
 «Братайтеса, к взаимной обороне...» (Коттерие) 183
 <Булгарину> («Приятель строгий, ты неправ...») 74
 Буря («Завыла буря; хлябь морская...») 112
 «Бывало, отрок, звонким кликом...» 147
 «Бывало, свет позабывая...» (Языкову) 153
 «Были бури, непогоды...» 182
 Быль («Встарь жил-был петух индейский...») 313

- В** альбом («Вы слишком многими любимы...») 78
 В альбом («Земляк! в стране чужой, суровой...») 47
 В альбом («Когда б вы менее прекрасной...») 210
 В альбом («Когда б избрать возможно было мне...») 128
 В альбом («Перелетай к веселью от веселья...») 127
 В альбом («Альбом походит на кладбище...») 141
 В альбом Софин («Мила, как грация, скромна...») 115

- «В борьбе с тяжелой судьбой...» (К*** при посылке тетради стихов) 120
- «В восторженном невежестве своем...» (Эпиграмма) 144
- «В глуши лесов счастлив один...» (Стансы) 118
- «В дни безграничных увлечений...» 151
- «В дороге жизни снаряжая...» (Дорога жизни) 119
- «В Италии где-то, но в поле пустом...» (Мадонна) 158
- «В небе нашем исчезает...» (К. А. Свербеевой) 143
- «В пустых расчетах, в грубом сне...» 209
- «В руках у этого педанта...» (На Н***) 216
- «В садах Элизия, у вод счастливой Леты...» (Богдановичу) 109
- «В свои расселины мы приняли певца...» (Финляндия) 62
- «В своих листах душонкой ты кривись...» 213
- «В своих стихах он скукой дышит...» (Эпиграмма) 67
- «В стране роскошной, благодатной...» (Леда) 107
- «Вам всё дано с щедротою пристрастной...» (К. А. Тимашевой) 167
- «Везде бранит поэт Клеон...» (Эпиграмма) 88
- «Век шествует путем своим железным...» (Последний поэт) 173
- «Венчали розы, розы Леля...» (Старик) 5
- Веселье и Горе («Рука с рукой Веселье, Горе...») 116
- Весна («На звук цевницы волосистой...») 87
- Весна (Элегия) («Мечты волшебные, вы скрылись от очей!...») 61
- «Весна, весна! как воздух чист!...» 167
- «Взгляни на звезды: много звезд...» (Звезда) 113
- «Взгляни на лик холодный сей...» (Надпись) 123
- «Взгляните: свежестью молодой...» (Женщине пожилой, но всё еще прекрасной) 43
- «Влага Стикса закалила...» (Ахилл) 184
- «Влюбился я, полковник мой...» (Лутковскому) 96
- Водопад («Шуми, шуми с крутой вершины...») 79
- <Воейковой А. А.> («Очарованье красоты...») 124
- Возвращение («На кровы ближнего селенья...») 86
- «Войной журнальною бесчестит без причины...» 212
- <Волконской Э. А.> («Из царства виста и зимы...») 144
- «Вот верный список впечатлений...» 215
- «Враг суетных утех и враг утех позорных...» (Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры) 101
- «Всегда и в пурпуре и в злате...» 177
- «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!...» 187
- «Встарь жил-был петух индейский...» (Быль) 313
- «Вчера ненастная ночь...» (Случай) 43
- «Выдь, дохни нам упоеньем...» (Авроре Ш.....) 119
- «Вы ль дочь Евы, как другая...» (А. А. Фуксовой) 157
- «Вы слишком многими любимы...» (В альбом) 78
- <Вяземскому П. А.> («Как жизни общие призывы...») 172
- «Где сладкий шепот...» 154
- «Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой...» (Послание к б<арону> Дельвигу) 59
- «Глубокий взор вперив на камень...» (Скульптор) 187
- «Глупцы не чужды вдохновенья...» 137
- «Глухая полночь. Строем длинным...» (Бал) 248

- Гмедичу, который советовал сочинителю писать сатиры («Враг суетных утех и враг утех позорных...») 101
 <Гмедичу Н. И.> («Так! для отрадных чувств еще я не погиб...») 93
 «Грузинский князь, газетчик русский...» 317
- Д.** Давыдову («Пока с восторгом я умею...») 123
 «Дай руку мне, товарищ добрый мой...» (Дельвигу) 83
 «Дало две доли providение...» (Две доли) 91
 «Дамон! ты начал — продолжай...» (Эпиграмма) 45
 Две доли («Дало две доли providение...») 91
 «Двойною прелестью опасна...» (Н. Е. Б.) 215
 Д — гу («Я безрассуден — и не диво!...») 116
 Девушке, которая на вопрос: как ее зовут? отвечала: не знаю («Не знаю? милая Незнаю!...») 56
 Делии («Зачем, о Делия! сердца младые ты...») 84
 <Дельвигу> («Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой...») 59
 Дельвигу («Дай руку мне, товарищ добрый мой...») 83
 Дельвигу («Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...») 71
 Дельвигу («Так, любезный мой Гораций...») 48
 Д <ельвиг> у («Я безрассуден, и не диво...») 116
 Деревня («Люблю деревню я и лето...») 136
 «Дикою, грозною ласкою полны...» (Пироскаф) 200
 «Дитя мое, — она сказала...» (Кольцо. С. Э — т) 160
 Добрый совет. К — ну («Живи смелей, товарищ мой...») 75
 Догадка («Любви приметы...») 85
 Дорога жизни («В дорогу жизни снаряжая...») 119
 «Дремала роща над потоком...» (Подражание Лафару) 56
 «Други! радость изменила...» (Большой) 72
 «Друзья мои! я видел свет...» (Пирь) 221
 «Друзья! теперь виденья в моде...» (Куплеты на день рождения княгини Зинаиды Волконской, сочиненные в Москве кн. П. А. Вяземским, Е. А. Баратынским, С. П. Шевыревым, Н. Ф. Павловым и И. В. Киреевским) 314
 «Душ холодных упованье...» (Лета) 91
 Дядьке-итальянцу («Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой...») 201
- Е**сть бытие; но именем каким...» (Последняя смерть) 129
 «Есть грот: Наяда там в полдневные часы...» (Наяда) 125
 «Есть милая страна, есть угол на земле...» 166
 «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней...» (Она) 129
 «Еще, как патриарх, не древен я; моей...» 185
- Ж**еланье счастья в меня вдохнули боги...» (Безнадежность) 93
 «Желтел печально знак полей...» (Падение листьев) 89
 Женщине пожилой, но всё еще прекрасной («Взгляните: свежестью молодой...») 43
 «Живи смелей, товарищ мой...» (Добрый совет. К — ну) 75
 Журналист Фиглярин и Истина («Он точно, он бесспорно...») 132
- З**авыла буря; хлябь морская...» (Буря) 112
 Запрос М — ву («Что скажет другу своему...») 119

Запустение («Я посетил тебя, пленительная сень...») 169

«Зачем, о Делия! сердца младые ты...» (Делии) 84

Звезда («Взгляни на звезды: много звезд...») 113

Звезды («Мою звезду я знаю, знаю...») 195

«Здесь погребен армейский капитан...» 209

«Здравствуй, отрок сладогласный!...» 186

«Зевес, любя семью людскую...» (Переселение душ) 265

«Земляк! в стране чужой, суровой...» (В альбом) 47

«И вот сентябрь! замедля свой восход...» (Осень) 188

«И ты покинула семейный мирный круг!...» (Сестре) 88

«И ты поэт, и он поэт...» (Эпиграмма) 126

«Идиллик новый на искус...» (Эпиграмма) 128

Из А. Шенье («Под бурею судеб, унылый, часто я...») 135

«Из царства виста и зимы...» (Княгине Э. А. Волконской) 144

Истина («О счастии с младенчества тоскуя...») 97

Историческая эпиграмма («Хвала, маститый наш Зоил!...») 140

«Итак, мой милый, не шутя...» (К**** при отъезде в армию) 54

Б... («Как много ты в немного дней...») 115

К... («Мне с упоением заметным...») 104

К*** («Не бойся едких осуждений...») 126

К... («Приятель строгий, ты неправ...») 74

К. А. Свербеевой («В небе нашем исчезает...») 143

К. А. Тимашевой («Вам всё дано с щедротою пристрастной...») 167

К Алине («Тебя я некогда любил...») 44

К Амуру («Тебе я младость шаловливу...») 124

К Аннете («Когда Климена подарила...») 122

К Д*** на другой день после его женитьбы («Ты распрощался с братством шумным...») 120

К жестокой («Неизвинительной ошибкой...») 88

К Креницыну («Товарищ радостей младых...») 46

К Кюхельбекеру («Прости, Повт! Судьбина вновь...») 58

К — ву («Любви веселый проповедник...») 61

К — ву. Ответ («Чтоб очаровывать сердца...») 81

К — ну («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...») 57

К...ну («Пора покинуть, милый друг...») 66

К...о («Приманкой ласковых речей...») 78

К**** при отъезде в армию («Итак, мой милый, не шутя...») 54

К*** при посылке тетради стихов («В борьбе с тяжелою судьбой...») 120

«К чему невольнику мечтания свободы?...» 161

«Как жизни общие призывы...» (Князю Петру Андреевичу Вяземскому) 172

«Как много ты в немного дней» (К...) 115

«Как описать тебя? я, право, сам не знаю!...» (Портрет В...) 45

«Как ревностно ты сам себя дурачишь!...» 137

«Как сладить с глупостью глупца?...» (Эпиграмма) 128

Княгине Э. А. Волконской («Из царства виста и зимы...») 144

«Князь Шаликов, газетчик наш печальный...» 313

«Князь Шаховской согнан с Парнаса...» (Певцы 15 класса) 311

Князю Петру Андреевичу Вяземскому («Как жизни общие призывы...») 172

- «Когда б вы менее прекрасной...» (В альбом) 210
 «Когда б избрать возможно было мне...» (В альбом) 128
 «Когда взойдет денница золотая...» (Песня) 125
 «Когда, дитя и страсти и сомненья...» 199
 «Когда исчезнет омраченье...» 163
 «Когда Климена подарила...» (К Аннете) 122
 «Когда на играх Олимпийских...» (Рифма) 193
 «Когда неопытен я был...» (Л — ой) 64
 «Когда, печалью вдохновенный...» (Подражателям) 141
 «Когда придется как-нибудь...» 211
 «Когда твой голос, о поэт...» 197
 Кольцо. С. Э — т («Дитя мое, — она сказала...») 160
 <Коншину> («Живи смелей, товарищ мой...») 75
 К<оншин>у («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...») 57
 К<оншим>у («Пора покинуть, милый друг...») 66
 Коттерие («Братайтесь, к взаимной обороне...») 183
 «Красного лета отравы, муха досадная, что ты...» (Ропот) 180
 «Кто непременно мой ругатель?..» (Эпиграмма) 156
 Куплеты на день рождения княгини Зинаиды Волконской в понедельник 3-го декабря 1828 года, сочиненные в Москве кн. П. А. Вяземским, Е. А. Баратынским, С. П. Шевыревым, Н. Ф. Павловым и И. В. Киреевским («Друзья! теперь виденья в моде...») 314

 Л. С. П — ну («Поверь, мой милый! твой повт...») 121
 Леда («В стране роскошной, благодатной...») 107
 Лета («Душ холодных упованье...») 91
 Лиде («Твой детский вызов мне приятен...») 73
 Л — ой («Когда неопытен я был...») 64
 Лутковскому («Влюбился я, полковник мой...») 96
 «Любви веселый проповедник...» (К — ву) 61
 «Любви приметы...» (Догадка) 85
 «Люблю деревню я и лето...» (Деревня) 136
 «Люблю за дружеским столом...» (Моя жизнь) 208
 «Люблю я вас, богини пенья...» 199
 «Люблю я красавицу...» 146
 Любовь («Мы пьем в любви отраву сладкую...») 108
 Любовь и дружба («Любовь и дружбу различают...») 44
 «Любовь и дружбу различают...» (Любовь и дружба) 44

 Мадонна («В Италии где-то, но в поле пустом...») 158
 «Мечты волшебные, вы скрылись от очей...» (Весна) (Элегия) 61
 «Мила, как грация, скромна...» (В альбом Софии) 115
 «Младые грации сплели тебе венок...» 211
 «Мне о любви твердила ты шутя...» (Размолвка) 92
 «Мне с упоением заметным...» (К...) 104
 Молитва («Царь небес! успокой...») 197
 «Мой дар убог, и голос мой не громок...» 137
 «Мой добрый пес, ты кончил уж свой век!..» (На смерть собаки) 210
 «Мой неискусный карандаш...» 155
 Мой Элизий («Не славь, обманутый Орфей...») 148
 «Мою звезду я знаю, знаю...» (Звезды) 195
 Моя жизнь («Люблю за дружеским столом...») 208

- Мудрецу («Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ...») 180
 Муза («Не ослеплен я музою моею...») 142
 «Мы будем пить вино по гроб...» 209
 «Мы пьем в любви отраву сладкую...» (Любовь) 108
 Мысль («Сначала мысль воплощена...») 184

- Н. Е. Б... («Двойною прелестью опасна...») 215
 Н. И. Гнедичу («Так! для отрадных чувств еще я не погиб...») 93
 Н. М. Языкову («Языков, буйства молодого...») 152
 На*** («В руках у этого педанта...») 216
 «На всё свой ход, на всё свои законы...» 196
 «На звук цевницы голосистой...» (Весна) 87
 «На кровы ближнего селенья...» (Возвращение) 86
 На посев леса («Опять весна; опять смеется луг...») 198
 На смерть Гете («Предстала, и старец великий смежил...») 156
 На смерть собаки («Мой добрый пес, ты кончил уж свой век!...») 210
 «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» 183
 Надпись («Взгляни на лик холодный сей...») 123
 Наложица (см. Цыганка)
 «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...» (Дельвигу) 71
 «Наслаждайтесь: всё проходит!...» 162
 Наяда («Есть грот: Наяда там в полдневные часы...») 125
 «Не бойся едких осуждений...» (К***) 126
 «Незнаю? милая Незнаю!...» (Девушке, которая на вопрос: как ее зовут? отвечала: не знаю) 56
 «Не искушай меня без нужды...» (Разуверение) 70
 «Не ослеплен я музою моею...» (Муза) 142
 «Не подражай: своеобразен гений...» 136
 «Не раз Гимена клеветали...» (Невесте) (А. Я. В.) 112
 «Не растравляй моей души...» 215
 «Не славь, обманутый Орфей...» (Мой Элизий) 148
 «Не трогайте парнасского пера...» (Эпиграмма) 125
 «Небо Италии, небо Торквата...» 217
 Невесте (А. Я. В.) («Не раз Гимена клеветали...») 112
 Недоносок («Я из племени духов...») 178
 «Нежданное родство с тобой дарюя...» (С. Л. Энгельгардт) 214
 «Неизвинительной ошибкой...» (К жестокой) 88
 «Непостоянна, своевольна...» (Телема и Макар) 244
 «Нет, не вывать тому, что было прежде!...» (Элегия) 70
 «Нет, обманула вас молва...» (Уверение) 114
 Новинское (А. С. Пушкину) («Она улыбкою своей...») 176

- «О, верь: ты, нежная, дороже славы мне...» 165
 «О мысли! тебе удел цветка...» 165
 «О своенравная София!...» 99
 «О смерти! твое именованье...» (Смерть) 355
 «О счастья с младенчества тоскуя...» (Истина) 97
 «О чем ни молимся богам...» 349
 Обеды («Я не люблю хвастливые обеды...») 195

- «Облокотясь, перед медью, образ его отражавшей...» (Алкивиад) 179
 «Один, и пасмурный душою...» (Бдение) 77
 Ожидание («Она придет! к ее устам...») 120
 «Окоченная летунья...» (Эпиграмма) 127
 «Он близок, близок день свиданья...» (Ропот) 55
 «Он вам знаком. Скажите, кстати...» (Эпиграмма) 146
 «Он точно, он бесспорно...» (Журналист Фиглярин и Истина) 132
 Она («Есть что-то в ней, что красоты прекрасней...») 129
 «Она придет! к ее устам...» (Ожидание) 120
 «Она улыбкою своей...» (Новинское. А. С. Пушкину) 176
 Оправдание («Решительно печальных строк моих...») 103
 «Опять весна; опять смеется луг...» (На посев леса) 198
 Осень («И вот сентябрь! Заменя свой восход...») 188
 «Откуда взял Василий непотешный...» 213
 Отрывки из поэмы «Воспоминания» («Посланица небес, бессмертных дар счастливый...») 49
 Отрывок («Под этой липою густою...») 148
 «Отчизны враг, слуга царя...» 116
 Отъезд («Прощай, отчизна непогоды...») 79
 «Очарованье красоты» (А. А. В — ой) 124

- П**адение листьев («Желтел печально знак полей...») 89
 Певцы 15 класса («Князь Шаховской согнал с Парнаса...») 311
 «Перелетай к веселью от веселья...» (В альбом) 127
 Переселение душ («Зевес, любя семью людскую...») 265
 Песня («Когда взойдет денница золотая...») 125
 Песня («Страшно воеет, завывает...») 72
 Пироскаф («Дикою, грозною ласкою полно...») 200
 Пирь («Друзья мои! я видел свет...») 221
 «Писачка в Фебов двор явился...» (Эпиграмма) 147
 «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...» (К — ну) 57
 «Поверь, мой милый! твой поэт...» (Л. С. П — ну) 121
 «Поверьте мне, Фиглярин-моралист...» (Эпиграмма) 142
 «Под бурю судеб, унылый, часто я...» (Из А. Шенье) 135
 «Под этой липою густою...» (Отрывок) 148
 Подражание Лафару («Свободу дав тоске моей...») 56
 Подражателям («Когда, печалью вдохновенный...») 141
 «Пока с восторгом я умею...» (Д. Давыдову) 123
 «Пока человек естества не пытал...» (Приметы) 176
 «Полный влагой искрометной...» (Бокал) 181
 «Полуразрушенный, я сам себе не нужен...» 209
 «Пора покинуть, милый друг...» (К...ну) 66
 «Порою ласковую Фею...» (Фея) 139
 «Порою утренней Людмила...» (Цветок) 80
 Портрет В... («Как описать тебя? я, право, сам не знаю!...») 45
 Послание к б<арону> Дельвигу («Где ты, беспечный друг, где ты, о Дельвиг мой...») 59
 «Посланица небес, бессмертных дар счастливый...» (Отрывки из поэмы «Воспоминания») 49
 Последний поэт («Век шестует путем своим железным...») 173
 Последняя смерть («Есть бытие; но именем каким...») 129

Поцелуй («Сей поцелуй, дарованный тобой...») 86
 «Поэт Писцов в стихах тяжеловат...» (Эпиграмма) 56
 Предисловие к поэме «Наложница» («Цыганка») 318
 «Предрасудок! он обломок...» 175
 «Предстала, и старец великий смежил...» (На смерть Гете) 156
 При послышке «Бала» С. Э. («Тебе ль, невинной и спокойной...») 139
 Признание («Притворной нежности не требуй от меня...») 100
 «Приманкой ласковых речей...» (К...о) 78
 Приметы («Пока человек естества не пытал...») 176
 «Принес ты мирные трофеи...» 317
 «Притворной нежности не требуй от меня...» (Признание) 100
 «Приятель строгий, ты неprav...» (К...) 74
 «Прости, мой милый! так создать...» 214
 «Прости, Поэт! Судбина вновь...» (К Кюхельбекеру) 58
 «Простите, милые досуги...» (Прощание) 45
 «Простите, спорю не попад...» 212
 Прощание («Простите, милые досуги...») 45
 «Прощай, Елецкой: ты невесел...» (Цыганка) 275
 «Прощай, отчизна непогоды...» (Отъезд) 79
 <Пушкину Л. С.> («Поверь, мой милый! твой поэт...») 122

Разлука («Расстались мы; на миг очарованьем...») 56
 Размолвка («Мне о любви твердила ты шутя...») 92
 Разуверение («Не искушай меня без нужды...») 70
 «Рассеивает грусть пиров веселый шум...» (Уныние) 67
 «Расстались мы; на миг очарованьем...» (Разлука) 56
 «Решительно печальных строк моих...» (Оправдание) 103
 Рим («Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель...») 76
 Рифма («Когда на играх Олимпийских...») 193
 Родина («Я возвращуся к вам, поля моих отцов...») 68
 «Родству приязни нежной...» (Хор, петый в день именин дяденьки
 Богдана Андреевича его маленькими племянницами Панчулид-
 зевыми) 207
 Ропот («Красного лета отрава, муха досадная, что ты...») 180
 Ропот («Он близок, близок день свиданья...») 55
 «Рука с рукой Веселье, Горе...» (Веселье и Горе) 116

«**С** восходом солнечным Людмила...» (Цветок) 80
 С книгою «Сумерки» С. Н. К. («Сближеньем с вами на
 мгновенье...») 196
 С. Л. Энгельгардт («Нежданное родство с тобой дарю...») 214
 «С неба чистая...» 317
 «Сближеньем с вами на мгновенье...» (С книгою «Сумерки»
 С. Н. К.) 196
 <Свербеевой К. А.> («В небе нашем исчезает...») 143
 «Свободу дав тоске моей...» (Подражание Лафару) 56
 «Своенравное прозвание...» 168
 «Свои стихи Тощев-пиит...» (Эпиграмма) 115
 «Сердечным нежным языком...» 162
 Сестре («И ты покинула семейный мирный круг!...») 88
 «Сей поцелуй, дарованный тобой...» (Поцелуй) 86

- Скульптор («Глубокий взор вперив на камень...») 187
 Случай («Вчера ненастная ночь...») 43
 «Слышал я, добрые друзья...» (Бесенок) 138
 Смерть («Смерть дочерью тьмы не назову я...») 134
 Смерть («О смерти! твоё именованье...») 355
 «Смерть дочерью тьмы не назову я...» (Смерть) 134
 «Сначала мысль, воплощена...» 184
 «Спасибо злобе хлопотливой...» 196
 Стансы («В глуши лесов счастлив один...») 118
 Стансы («Судьбой наложенные цепи...») 132
 «Старательно мы наблюдаем свет...» 136
 Старик («Венчали розы, розы Леля...») 135
 «Страшно воев, завывает...» (Песня) 72
 «Судьбой наложенные цепи...» (Стансы) 132
 Сумерки 172
- «Так — ваш язык ещё мне нов...» (Финским красавицам) 64
 «Так! для отрадных чувств ещё я не погиб...» (Н. И. Гнедичу) 93
 «Так! любезный мой Гораций...» (Дельвигу) 48
 «Так, он ленивец, он негодник...» 209
 «Так! отставного шалуна...» (Товарищам) 82
 «Там, где Семеновский полк, в пятой роте...» 311
 «Твой детский вызов мне приятен...» (Лиде) 73
 «Тебе ль, невинной и спокойной...» (При посылке «Бала» С. Э.) 139
 «Тебе я младость шаловливу...» (К Амуру) 124
 «Тебя я некогда любил...» (К Алине) 44
 Телема и Макар («Непостоянна, своевольна...») 244
 <Тимашевой К. А.> («Вам всё дано с щедротою прекрасной...») 167
 «Товарищ радостей младых...» (К Кренищину) 46
 Товарищам («Так! отставного шалуна...») 82
 «Толпе тревожный день приветен, но страшна...» 185
 «Тщетно меж бурною жизнью и холодной смертью, философ...»
 (Мудрецу) 180
 «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель...» (Рим) 76
 «Ты распрощался с братством шумным...» (К Д*** на другой день
 после его женитьбы) 120
 «Ты ропщешь, важный журналист...» (Эпиграмма) 124
- «У бог умом, но не убог задором...» 214
 Уверение («Нет, обманула вас молва...») 114
 «Увы! Творец не первых сил!..» 177
 Уныние («Рассеивает грусть пиров веселый шум...») 67
 «Усопший брат! кто сон твой возмутил?..» (Череп) 106
 Утешение (См. Подражание Лафару) 56
- Фея («Порою ласковую Фею...») 139
 «Филадель с каждою зимою...» 180
 Финляндия («В свои расселины вы приняли певца...») 62
 Финским красавицам («Так — ваш язык ещё мне нов...») 64
 <Фуксовой А. А.> («Вы ль дочерь Евы, как другая...») 157

- «Хвала, маститый наш Зоил!..» (Историческая эпиграмма) 140
 «Хор, петый в день именин дяденьки Богдана Андреевича его ма-
 ленькими племянницами Панчулидзевыми («Родству приятни
 нежной...») 207
 «Хотите ль знать все таинства любви?..» 214
 «Хотя ты малый молодой...» (Эпиграмма) 145
 «Храни свое неопасенье...» 163

- «Царь небес! успокой...» (Молитва) 197
 Цветок («С восходом солнечным Людмила...») 80
 Цыганка («Прощай, Елецкой: ты невесел...») 275

- «Чего робеешь ты при мне...» (Эда) 227
 Череп («Усопший брат! кто сон твой возмутил?..») 106
 «Что за звуки? Мимоходом...» 186
 «Что ни болтай, а я великий муж!..» (Эпиграмма) 122
 «Что пользы вам от шумных ваших прений?..» (Эпиграмма) 143
 «Что скажет другу своему...» (Запрос М — ву) 119
 «Чтоб очаровывать сердца...» (К — ву. Ответ) 81
 «Чувствительны мне дружеские пени...» (Эпилог) 90
 «Чудный град порой сольется...» 140

- «Шуми, шуми с крутой вершины...» (Водопад) 79

- Эда («Чего робеешь ты при мне...») 227
 Элегия («Нет, не бывать тому, что было прежде!..») 70
 Элизийские поля («Бежит неверное здоровье...») 65
 <Энгельгардт С. Л.> («Нежданное родство с тобой даруя...») 214
 Эпиграмма («В восторженном невежестве своем...») 144
 Эпиграмма («В своих стихах он скукой дышит...») 67
 Эпиграмма («Везде бранит поэт Клеон...») 88
 Эпиграмма («Дамон! ты начал — продолжай...») 45
 Эпиграмма («И ты поэт, и он поэт...») 126
 Эпиграмма («Идиллик новый на искус...») 128
 Эпиграмма («Как сладить с глупостью глупца?..») 128
 Эпиграмма («Кто непременный мой ругатель?..») 156
 Эпиграмма («Не трогайте парнасского пера...») 125
 Эпиграмма («Окогченная летунья...») 127
 Эпиграмма («Он вам знаком. Скажите, кстати...») 146
 Эпиграмма («Писачка в Фебов двор явился...») 147
 Эпиграмма («Поверьте мне, Фиглярин-моралист...») 142
 Эпиграмма («Поэт Писцов в стихах тяжеловат...») 56
 Эпиграмма («Свои стишки Тощев-пиит...») 115
 Эпиграмма («Ты ропщешь, важный журналист...») 124
 <Эпиграмма> («Хвала, маститый наш Зоил...») 140
 Эпиграмма («Хотя ты малый молодой...») 145
 Эпиграмма («Что ни болтай, а я великий муж!..») 122
 Эпиграмма («Что пользы вам от шумных ваших прений?..») 143
 Эпилог («Чувствительны мне дружеские пени...») 90

- «Я безрассуден — и не диво!..» (Д — гу) 116
«Я был любим, — твердила ты...» 212
«Я возвращуся к вам, поля моих отцов...» (Родина) 68
«Я из племени духов...» (Недоносок) 178
«Я не любил ее, я знал...» 164
«Я не люблю хвастливые обеды...» (Обеды) 195
«Я посетил тебя, пленительная сень...» (Запустение) 169
«Я унтер, други! Точно так...» 210
«Языков, буйства молодого...» (Н. М. Языкову) 152
Языкову («Бывало, свет позабывая...») 153
-

СОДЕРЖАНИЕ¹

Е. А. Баратынский. *Вступительная статья Е. Н. Купреяновой.* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПЕЧАТАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА

Женщине пожилой, но всё еще прекрасной	43 332
Случай	43 333
К Алине	44 333
Любовь и дружба. (<i>В альбом</i>)	44 333
Портрет В.	45 333
Эпиграмма («Дамон! ты начал — продолжай. . .»)	45 333
Прощание	45 333
К Креницыну	46 334
В альбом («Земляк! в стране чужой, суровой. . .»)	47 334
Дельвигу («Так, любезный мой Гораций. . .»)	48 334
Отрывки из поэмы «Воспоминания»	49 334
К*** при отъезде в армию	54 335
Ропот («Он близок. близок день свиданья. . .»)	55 335
Эпиграмма («Поэт Писцов в стихах тяжеловат. . .»)	56 335
Девушке, которая на вопрос: как ее зовут? отвечала: <i>не знаю.</i>	56 335
Разлука	56 335
Подражание Лафару	56 336
К — ну («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам. . .»).	57 336
К Кюхельбекеру	58 336
Послание к б<арону> Дельвигу («Где ты, беспечный друг, где ты, о Дельвиг мой. . .»)	59 336
К — ву («Любви веселый проповедник. . .»)	61 336
Весна (<i>Элегия</i>) («Мечты волшебные, вы скрылись от очей! . .»)	61 336
Финляндия	62 337
Финским красавицам (<i>Мадригал</i>)	64 337
Л — ой («Когда неопытен я был. . .»)	64 337

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Элизийские поля	65	337
К...ну («Пора покинуть, милый друг...»)	66	338
Эпиграмма («В своих стихах он скукой дышит...»)	67	338
Уныние	67	338
Родина	68	338
Элегия («Нет, не бывать тому, что было прежде!...»)	70	338
Разуверение	70	338
Дельвигу («Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...»)	71	338
Больной	72	339
Песня («Страшно воеет, завывает...»)	72	339
Лиде	73	339
К... («Приятель строгий, ты неправ...»)	74	339
Добрый совет (К — ну)	75	339
Рим	76	340
Бдение	77	340
В альбом («Вы слишком многими любимы...»)	78	340
К...о («Приманкой ласковых речей...»)	78	340
Водопад...	79	341
Отъезд	79	341
Цветок	80	341
К — ву. Ответ («Чтоб очаровывать сердца...»)	81	341
Товарищам	82	341
Дельвигу («Дай руку мне, товарищ добрый мой...»)	83	341
Делии	84	341
Догадка	85	342
Возвращение	86	342
Поцелуй	86	342
Весна («На звук цевницы голосистой...»)	87	342
Сестре	88	342
Эпиграмма («Везде бранит поэт Клеон...»)	88	342
К жестокой	88	342
Падение листьев	89	343
Эпилог	90	343
Лета	91	343
Две доли	91	343
Размовка	92	343
Безнадежность	93	343
Н. И. Гнедичу («Так! для отрадных чувств еще я не погиб...»)	93	343
Лутковскому	96	343
Истина	97	343
«О своенравная София!...»	99	344
Признание	100	344
Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры	101	344
Оправдание	103	345
К... («Мне с упоением заметным...»)	104	345
Череп	106	345
Леда	107	346
Любовь	108	346
Богдановичу	109	346
Невесте (А. Я. В.)	112	347
Буря	112	347
Звезда	113	348

Уверение	114 348
В альбом Софии	115 348
Эпиграмма («Свои стишки Тошев-пинт...»)	115 348
К... («Как много ты в немного дней...»)	115 348
«Отчизны враг, слуга царя...»	116 349
Веселье и Горе	116 349
Д — гу («Я безрассуден — и не диво!...»)	116 349
Стансы («В глуши лесов счастлив один...»)	119 349
Авроре Ш.	119 350
Запрос М — ву	119 350
Дорога жизни	119 350
К*** при посылке тетради стихов	120 350
Ожидание	120 351
К Д*** <i>На другой день после его женитьбы</i>	121 351
Л. С. П — ну	121 351
Эпиграмма («Что ни болтай, а я великий муж!...»)	122 351
К Аннете	122 351
Надпись	123 351
Д. Давыдову	123 352
К Амуру	124 352
Эпиграмма («Ты ропщешь, важный журналист...»)	124 352
А. А. В — ой.	124 352
Наяда	125 353
Эпиграмма («Не трогайте парнасского пера...»)	125 353
Песня («Когда взойдет денница золотая...»)	125 353
Эпиграмма («И ты поэт, и он поэт...»)	126 353
К*** («Не бойся едких осуждений...»)	126 353
Эпиграмма («Окогченная летунья...»)	127 354
В альбом («Перелетай к веселью от веселья...»)	127 354
Эпиграмма («Идиллик новый на искус...»)	128 354
Эпиграмма («Как сладить с глупостью глупца?...»)	128 354
В альбом («Когда б избрать возможно было мне...»)	128 354
Она	129 354
Последняя смерть	129 354
Журналист Фиглярин и Истина	132 354
Стансы («Судьбой наложенные цепи...»)	132 355
Смерть	134 355
Из А. Шенье	135 357
Старик	135 357
Деревня	136 357
«Старательно мы наблюдаем свет...»	136 357
«Не подражай: своеобразен гений...»	136 357
«Мой дар убог, и голос мой не громок...»	137 357
«Глупцы не чужды вдохновенья...»	137 358
«Как ревностно ты сам себя дурачишь!...»	137 358
Бесенок	138 358
При посылке «Бала» С. Э.	139 358
Фея	139 358
Историческая эпиграмма	140 358
«Чудный град порой сольется...»	140 359
В альбом («Альбом походит на кладбище...»)	141 359
Подражателям	141 359
Муза	142 359

Эпиграмма («Поверьте мне, Фиглярин-моралист...»)	142 359
Эпиграмма («Что пользы вам от шумных ваших прений?..»)	143 360
К. А. Свербеевой	143 360
Эпиграмма («В восторженной невежестве своем...»)	144 360
Княгине Э. А. Волконской	144 360
Эпиграмма («Хотя ты малый молодой...»)	145 360
«Люблю я красавицу...»	146 360
Эпиграмма («Он вам знаком. Скажите, кстати...»)	146 360
Эпиграмма («Писачка в Фебов двор явился...»)	147 361
«Бывало, отрок, звонким кликом...»	147 361
Мой Элизий	148 361
Отрывок	148 361
«В дни безграничных увлечений...»	151 361
Н. М. Языкову («Языков, буйства молодого...»)	152 362
Языкову («Бывало, свет позабывая...»)	153 362
«Где сладкий шепот...»	154 363
«Мой неуксусный карандаш...»	155 363
Эпиграмма («Кто неременный мой ругатель?..»)	156 363
На смерть Гете	156 363
А. А. Фуксовой	157 364
Мадонна	158 364
Кольцо. С. Э — т	160 364
«К чему невольнику мечтания свободы?..»	161 364
«Сердечным нежным языком...»	162 364
«Наслаждайтесь: всё проходит!..»	162 365
«Храни свое неопасенье...»	163 365
«Когда исчезнет омраченье...»	163 365
«Я не любил ее, я знал...»	164 365
«Болящий дух врачует песнопенье...»	165 365
«О, верь: ты, нежная, дороже славы мне...»	165 365
«О мысль! тебе удел цветка...»	165 365
«Есть милая страна, есть угол на земле...»	166 365
К. А. Тимашевой	167 365
«Весна, весна! как воздух чист!..»	167 365
«Своенравное прозванье...»	168 366
Запустение	169 366

С у м е р к и

Князю Петру Андреевичу Вяземскому...	172 366
Последний поэт	173 366
«Предрассудок! он обломок...»	175 367
Новинское. А. С. Пушкину	176 367
Приметы	176 367
«Всегда и в пурпуре и в злате...»	177 367
«Увы! Творец не первых сил!..»	177 368
Недоносок	178 368
Алкивиад	179 369
Ропот («Красного лета отрава, муха досадная, что ты...»)	180 369
Мудрецу	180 369
«Филида с каждою зимою...»	180 369
Бокал	181 369
«Были бури, непогоды...»	182 369

«На что вы, дни! Юдольный мир явленья...»	183 370
Коттерие	183 370
Ахилл	184 370
«Сначала мысль, воплощена...»	184 370
«Еще как патриарх, не древен я; моей...»	185 371
«Толпе тревожный день приветен, не страшна...»	185 371
«Здравствуй, отрок сладкогласный!..»	186 371
«Что за звуки? Мимоходом...»	186 371
«Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..»	187 371
Скульптор	187 371
Осень	188 371
«Благословен святое возвестивший!..»	193 372
Рифма	193 372
Звезды («Мою звезду я знаю, знаю...»)	195 373
Обеды	195 373
«На всё свой ход, на всё свои законы...»	196 373
С книгой «Сумерки» С. Н. К.	196 374
«Спасибо злобе хлопотливой...»	196 374
Молитва	197 374
«Когда твой голос, о поэт...»	197 374
На посев леса	198 375
«Люблю я вас, богини пенья...»	199 375
«Когда, дитя и страсти и сомненья...»	199 376
Пирискаф	200 376
Дядьке-итальянцу	201 376

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИ ЖИЗНИ ПОЭТА НЕ ПЕЧАТАВШИЕСЯ

Хор, петый в день именин дяденьки Богдана Андреевича его маленькими племянницами Панчулидзевыми	207 377
Моя жизнь	208 377
«Полуразрушенный, я сам себе не нужен...»	209 377
«Мы будем пить вино по гроб...»	209 377
«Здесь погребен армейский капитан...»	209 377
«В пустых расчетах, в грубом сне...»	209 377
«Так, он ленивец, он негодник...»	209 377
«Я унтер, други! Точно так...»	210 378
В альбом («Когда б вы менее прекрасной...»)	210 378
На смерть собаки	210 378
«Младые грации сплели тебе венок...»	211 378
«Когда придется как-нибудь...»	211 378
«Войной журнально бесчестит без причины...»	212 378
«Простите, спорю невопад...»	212 379
«Я был любим, твердила ты...»	212 379
«В своих листах душонкой ты кривишь...»	213 379
«Откуда взял Василий непотешный...»	213 379
«Хотите ль знать все таинства любви?..»	214 379
«Убог умом, но не убог зазором...»	214 379
«Прости, мой милый! так создать...»	214 379
С. Л. Энгельгардт	214 380
«Не растравляй моей души...»	215 380

Н. Е. Б.	215 380
«Вот верный список впечатлений...»	215 380
На*** («В руках у этого педанта...»)	216 380
«Небо Италии, небо Торквата...»	217 380

ПОЭМЫ

Пиры	221 381
Эда	227 382
Телема и Макар	244 384
Бал	248 384
Переселение душ	265 386
Цыганка	275 386

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стихотворения, написанные совместно с другими поэтами

«Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком...»	311 391
Певцы 15-го класса	311 391
Быль	313 392
«Князь Шаликов, газетчик наш печальный»	313 392
Куплеты на день рождения княгини Зинаиды Волконской в понедельник, 3-го декабря 1828 года, сочиненные в Москве кн. П. А. Вяземским, Е. А. Баратынским, С. П. Шевыревым, Н. Ф. Павловым и И. В. Киреевским	314 393

Стихотворения, приписываемые Баратынскому

«С неба чистая...»	317 393
«Грузинский князь, газетчик русский...»	317 393
«Принес ты мирные трофеи...»	317 394

Предисловие к поэме «Наложница» («Цыганка»)	318 394
---	---------

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания	327
К иллюстрациям	395
Алфавитный указатель произведений	396

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов
А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, В. О. Перцов,
А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский, В. М. Саянов,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)*

**БАРАТЫНСКИЙ
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ**

Редактор Л. Я. Гинзбург

Художник И. С. Серов

Худож. редактор М. Е. Новиков

Техн. редактор С. И. Брусиловская

Корректор Э. Н. Петрова

**Сдано в набор 19/VIII 1957 г. Под-
писано к печати 19/XI 1957 г. Бумага
84 × 108^{1/2} Печ. л. 26,88 (22,04). Уч.-изд.
л. 20,27. Тираж 30 000. Цена 7 р. 85 к.
Заказ № 756.**

**Ленинградское отделение
издательства «Советский писатель»
Ленинград. Невский пр., 28.**

**Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград. Красная ул. 1/3.**

„БИБЛИОТЕКА ПОЭТА“

**БОЛЬШАЯ СЕРИЯ
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ**

Вышли из печати

Былины

Антиох Кантемир

А. П. Сумароков

В. А. Жуковский

А. И. Полежаев

Важа Пшавела

Иван Бунин

Сергей Есенин

Выходят из печати

И. Ф. Богданович

Г. Р. Державин

Федор Глинка

«Поэты-петрашевцы»

„БИБЛИОТЕКА ПОЭТА“

**МАЛАЯ СЕРИЯ
ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ**

Вышли из печати

Давид Гурамишвили

И. И. Козлов

М. Ю. Лермонтов

(тт. I—II)

А. Н. Майков

Я. П. Полонский

Э. Г. Багрицкий

Янка Купала

Песни русских поэтов

Выходят из печати

А. Н. Плещеев

С. Я. Надсон

Демьян Бедный
